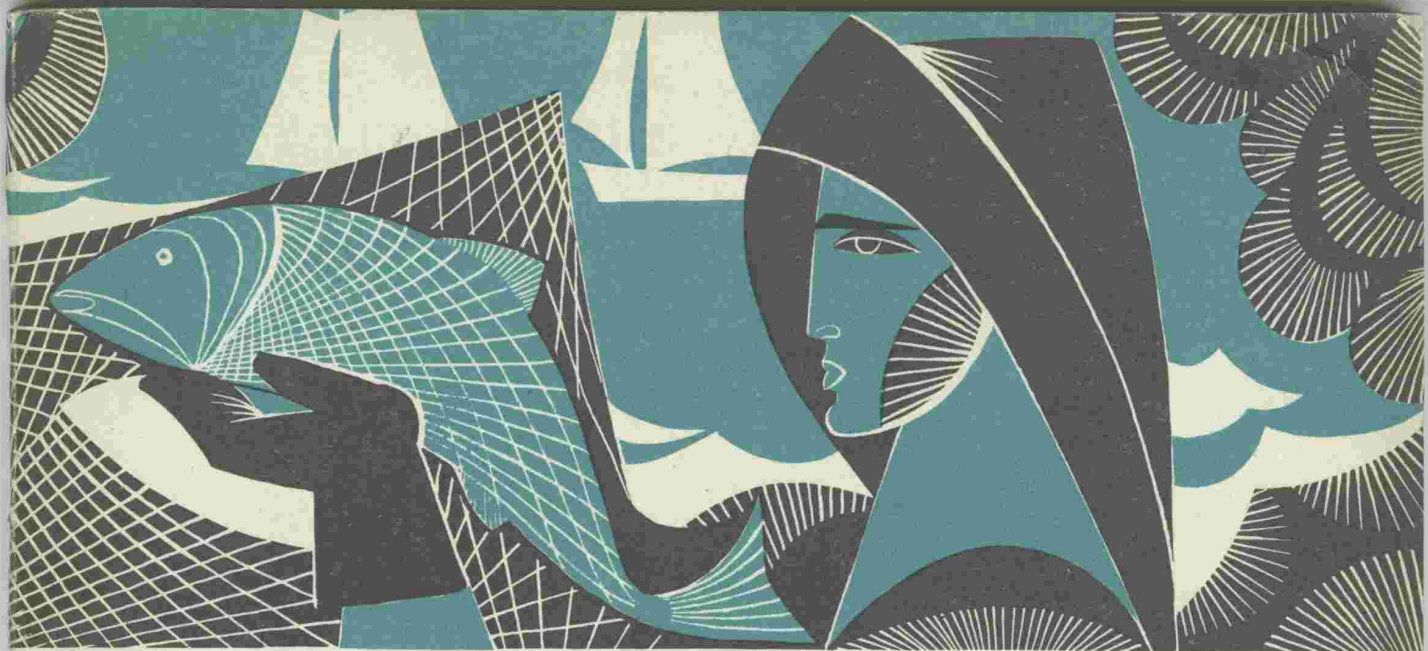
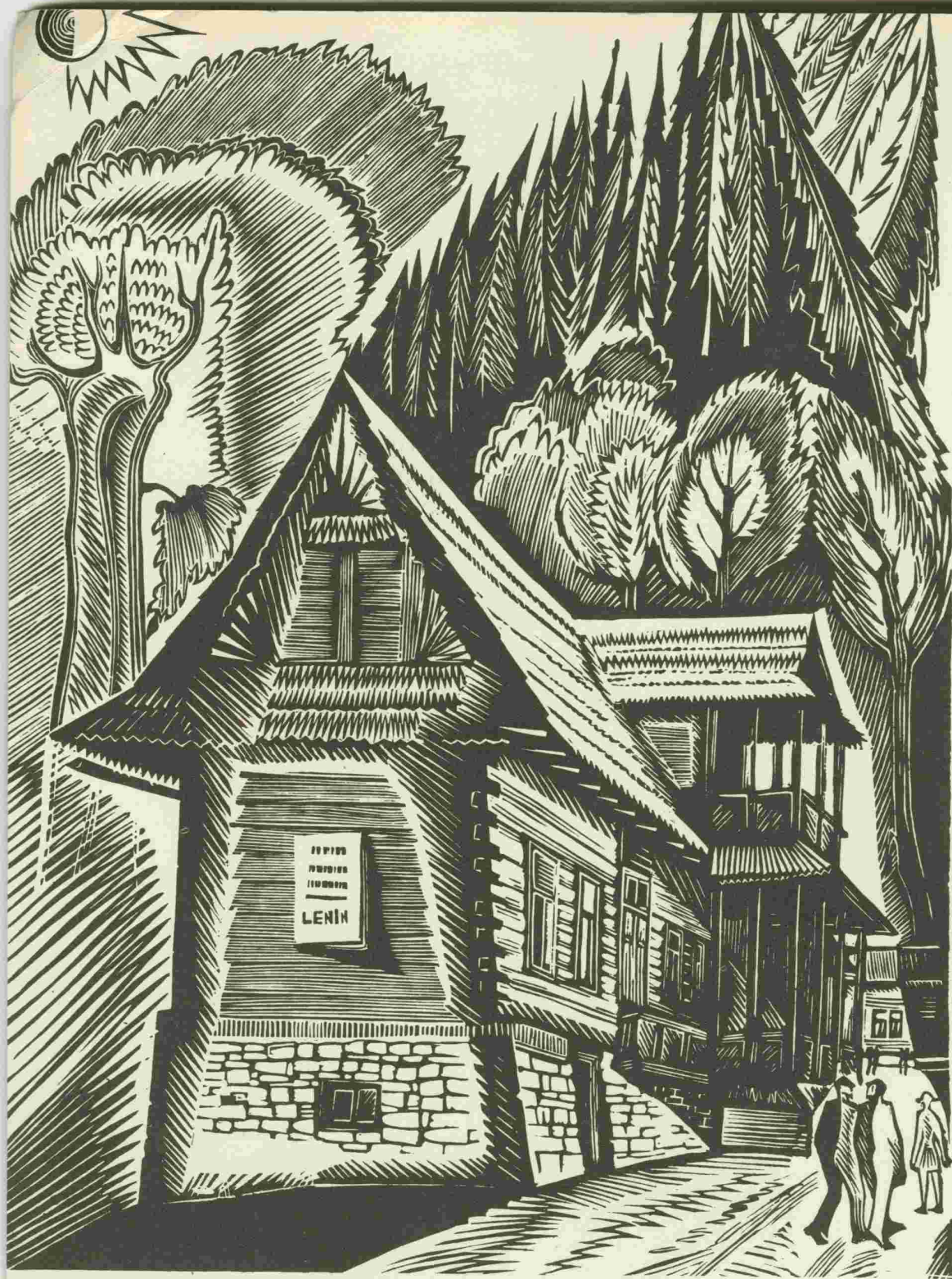




ЮНОСТЬ

8

1969



Н. БЛАГОВОЛИН

Дом-музей В. И. Ленина в Поронине
[Польская Народная Республика].

В этом доме В. И. Ленин жил накануне первой мировой войны
[1913—1914 гг.] и отсюда руководил работой большевистской партий-
ной организации в России.



1870-
-1970

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



год издания
пятнадцатый

8

[171]

АВГУСТ

1969

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

● ПРОЗА

- Борис ВАСИЛЬЕВ. А зори здесь тихие... Повесть 2
Сергей АНТОНОВ. Царский двугривенный. Повесть. 45

● ПОЭЗИЯ

- Геннадий БУРАВКИН. Воспоминание о ночлеге. «Я в тихий лес вхожу, как будто в хату...». «Убегают парни в города...». Родная хата. «Вдоль дороги гудят столбы». Перевел с белорусского Валентин Тарас 40
Яков КОЗЛОВСКИЙ. Родине. Память. В осенней чаще. Усыновленные слова. «Сказал Маршак однажды так...» 41
Евгений ВИНУКОВ. Мы были молодыми. Формула. Фортуна 42
Алексей ПЬЯНОВ. «А море похоже на прачку...». Кижы. Соловки. Дом колхозника 43
Инна КАШЕЖЕВА. «Однажды кто-то говорил кому-то...». Зимняя Молдавия. 44
Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ. Птицы. «Завидую, кто быстро пишет...». «Эта тряпка, эта качка...». Воспоминание о скрипке. Дети. Сон о забытой роли 69

● ПУБЛИЦИСТИКА

- Иван ЗЮЗЮКИН. Мать 71
Татьяна КОПЫЛОВА. Иди смелее! 92

● СРЕДИ КНИГ

- Маленькие рецензии и аннотации 76

● К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

- Корней ЧУКОВСКИЙ. Илья Ефимович. К 125-летию со дня рождения И. Е. Репина 78

● ДНЕВНИК КРИТИКА

- Владимир СОЛОВЬЕВ. Четыре дебюта 81

● ТЫ И ТВОЕ ПРИЗВАНИЕ

- Станислав ДОЛЕЦКИЙ. Кто нас будет лечить завтра... 86

● НАУКА И ТЕХНИКА

- Феликс ЗИГЕЛЬ. У порога невиданных встреч 97

● ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

- * Г. ХАЧКОВАНЯН. Улица Вестерброгаде, дом № 112 * А. ПЧЕЛЯКОВ. Разговор с Сашей Двораном 105

● СПОРТ

- Как угодно, только не защищайся! (Беседа с чемпионкой мира по настольному теннису Зоей Рудновой) 107

● «ПЫЛЕСОС»

- Борис ЛАСКИН. Привет от Димки 109
Р. БАУМВОЛЬ. Миниатюры 111

На 1-й — 4-й страницах обложки рисунок В. БЫЛИНКИНА

Художественный редактор Ю. Цишевский.

Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Тел. 291-62-47.
Рукописи не возвращаются.

А 06080. Подп. к печати 22/VII — 1969 г. Формат бумаги 84 × 108¹/₁₆.
Объем 12,18 усл. печ. л. 17,62 учетно-изд. л. Тираж 2 100 000 экз.
Изд. № 1429. Заказ № 1714.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

СОДРУЖЕСТВО ТАЛАНТОВ

Ильф и Петров, Куприянов, Крылов и Соколов. Я умышленно перечисляю всех вместе, потому что время неразрывно связывает современников, если они талантливы и объединены стилем, направлением творчества. Пятерых талантливых молодых людей породила сама жизнь. Они сотрудничали, делая стенгазету «За душевное слово», шаржи в Доме литераторов и на I съезде писателей. «Кукрыниксы» и «Ильф и Петров» давно обнаружили общность добродушно-органического восприятия жизни, а дружеские шаржи в альбомах художников так похожи на записные книжки писателей, что удивительно, как до сих пор не догадались объединить их в одном издании.

Ильф и Петров, как известно, по желанию читателей «оживили» главного героя «12 стульев» и написали «Золотого тельника».

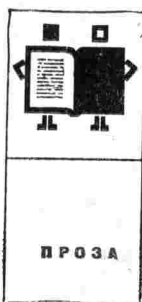
Кукрыниксы «оживили» своих героев только сейчас. «12 стульев» были проиллюстрированы сразу после создания романа, а рисунки к «Золотому тельнику» сделаны недавно и впервые появятся в издании Государственного издательства художественной литературы.

«12 стульев» еще иллюстрировались как бы с натуры. Герои легко узнавались на бульваре, в вагоне железной дороги, в коммунальной квартире. Типы легко перекочевывали в книгу из альбома, и в этом было одно из главных достоинств первого издания.

Рисунки, сделанные сейчас, уже основаны на образцах, взятых из воспоминаний. Новые иллюстрации оказались обогащенными, а бы сказан, поэтическим содержанием. В книге много хороших пейзажей. Сатирические герои действуют в обстановке, которая делает действие достоверным, благодаря опозитизированному пейзажу. Так, во всяком случае, пережил книгу я, просматривая новые иллюстрации.

Улицы провинциальных городов, среднерусские проселки, пустыня Каракум изображены художниками тонким перовым штрихом, и легкая подкраска делает изображение наполненным светом, что соответствует оптимистической интонации всей книги.

Вит. ГОРЯЕВ



Борис Васильев

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...



ПОВЕСТЬ

Рисунки
М. Лисогорского.

На 171-м разъезде уцелело двенадцать дворов, пожарный сарай да приземистый длинный пакгауз, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. В последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держало там две зенитные счетверенки.

Шел май 1942 года. На западе (в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии) обе стороны, на два метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне; на востоке немцы день и ночь бомбили канал и мурманскую дорогу; на севере шла ожесточенная борьба за морские пути; на юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград.

А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной, а в двенадцати дворах оставалось еще достаточно молодых и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. Три дня солдаты отсыпались и присматривались; на четвертый начинались чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача.

Комендант разъезда, хмурый старшина Васков, писал рапорты по команде. Когда число их достигало десятка, начальство вкатывало Васкову очередной выговор и сменяло опухший от веселья полушубок. С

1

неделю после этого комендант кое-как обходился своими силами, а потом все повторялось сначала настолько точно, что старшина в конце концов прилажился переписывать прежние рапорты, меняя в них лишь числа да фамилии.

— Чепушиной занимаетесь! — гремел прибывший по последним рапортам майор. — Писанину разве! Не комендант, а писатель какой-то!..

— Шлите непьющих, — упрямо твердил Васков: он побаивался всякого громогласного начальника, но талдычил свое, как пономарь. — Непьющих и это... Чтоб, значит, насчет женского пола.

— Евнухов, что ли?

— Вам виднее, — осторожно говорил старшина.

— Ладно, Васков!.. — расслабляясь от собственной строгости, сказал майор. — Будут тебе непьющие. И насчет женщин тоже будут, как положено. Но гляди, старшина, если ты и с ними не справишься...

— Так точно, — деревянно согласился комендант.

Майор увез не выдержавших искуса зенитчиков, на прощание еще раз пообещав Васкову, что пришлет таких, которые от юбок и самогонки нос будут воротить живее, чем сам старшина. Однако выполнить это обещание оказалось не просто, поскольку за три дня не прибыло ни одного человека.

— Вопрос сложный, — пояснил старшина квартирной своей хозяйке Марии Никифоровне. — Два отделения — это же почти что двадцать человек непьющих. Фронт перетряси, и то — сомневаюсь...

Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. В тоне ее звучало что-то вредное, но

старшина со сна не разобрался, а спросил о том, что тревожило:

— С командиром прибыли?

— Не похоже, Федот Евграфыч.

— Слава богу! — Старшина ревниво относился к своему комендантскому положению. — Власть делить — это хуже нету.

— Погодите радоваться, — загадочно улынулась хозяйка.

— Радоваться после войны будем, — резонно сказал Федот Евграфыч, надел фуражку и вышел.

И оторопел: перед домом стояли две шеренги сонных девчат. Старшина было решил, что спросонку ему померещилось, поморгал, но гимнастерки на бойцах по-прежнему бойко торчали в местах, солдатским уставом не предусмотренных, а из-под пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фанонов.

— Товарищ старшина, первое и второе отделения третьего взвода пятой роты. Отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта, — тусклым голосом отпортовала старшая. — Докладывает помкомвзвода сержант Кирьянов.

— Та-ак, — совсем не по-уставному сказал комендант. — Нашли, значит, непьющих...

Целый день он стучал топором: строил нары в пожарном сарае, поскольку зенитчицы на постой к хозяйкам становиться не согласились. Девушки таскали доски, держали, где велел, и трещали, как сороки. Старшина хмуро отмалчивался: боялся за авторитет.

— Из расположения без моего слова ни ногой, — объявил он, когда все было готово.

— Даже за ягодами? — бойко спросила рыжая. Васков давно уже приметил ее.

— Ягод еще нет, — сказал он.

— А щавель можно собирать? — поинтересовалась Кирьянова. — Нам без приварка трудно, товарищ старшина, — отощаем.

Федот Евграфыч с сомнением повел глазом по туго натянутым гимнастеркам, но разрешил:

— Не дальше речки. Аккурат в пойме прорва его.

На разъезде наступила благодать, но коменданту от этого легче не стало. Зенитчицы оказались девахами шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, что попал в гости в собственный дом: боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтобы войти куда без стука, не могло теперь быть и речи, и если он забывал когда об этом, сигнальный визг немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Пуще же всего Федот Евграфыч страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний и поэтому всегда ходил, уставясь в землю, словно потерял денежное довольствие за последний месяц.

— Да не бычьтесь вы, Федот Евграфыч, — сказала хозяйка, понаблюдав за его общением с подчиненными. — Они вас промеж себя старичком величают, так что глядите на них соответственно.

Федоту Евграфычу этой весной исполнилось тридцать два, и стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что все это есть лишь меры, предпринятые хозяйкой для упрочения собственных позиций: она-таки растопила лед комендантского сердца в одну из весенних ночей и теперь, естественно, стремилась укрепиться на завоеванных рубежах.

Ночами зенитчицы азартно лупили из всех восьми стволов по пролетающим немецким самолетам, а днем развешивали бесконечные постирушки: вокруг по-

жарного сарая вечно сушились какие-то их тряпочки. Подобные украшения старшина считал неуместными и кратко информировал об этом сержанта Кирьянова:

— Демаскирует.

— А есть приказ, — не задумываясь, сказала она.

— Какой приказ?

— Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах.

Комендант промолчал: ну их, этих девок, к ляду! Только свяжись: хихикать будут до осени...

Дни стояли теплые, безветренные, и комара народилось такое количество, что без веточки и шагу не ступишь. Но веточка — это еще ничего, это еще вполне допустимо для военного человека, а вот то, что вскоре комендант начал на каждом углу хрипеть да кхекать, словно и вправду был стариком, — вот это было совсем уж никуда не годно.

А началось все с того, что жарким майским днем завернул он за пакгауз и обмер: в глаза брызнуло таким неистово белым, таким тугим да еще восьмикратно помноженным телом, что Васкова аж в жар кинуло: все первое отделение во главе с командиром младшим сержантом Осяниной загорало на казенном брезенте в чем мать родила. И хоть бы завизжали, что ли, для приличия, так нет же: уткнули носы в брезент, затаились, и Федоту Евграфычу пришлось пятиться, как мальчишке из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу, будто коклюшный.

А эту Осянину он еще раньше выделил: строга. Не засмеется никогда, только что поведет чуть губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была Осянина, и поэтому Федот Евграфыч острожно навел справки через свою хозяйку, хоть и понимал, что той поручение это совсем не для радости.

— Вдовая она, — поджав губы, через день доложила Мария Никифоровна. — Так что полностью в женском звании состоит: можете игры заигрывать.

Старшина промолчал: бабе все равно не докажешь. Взял топор, пошел во двор: лучше нету для дум времени, как дрова колоть. А дум много накопилось, и следовало их привести в соответствие.

Ну, прежде всего, конечно, дисциплина. Ладно, не пьют бойцы, с жительницами не любезничают — это все так. А внутри — беспорядок:

— Люда, Вера, Катенька — в караул! Катя — разводная.

Разве это команда? Развод караулов полагается по всей строгости делать, по уставу. А это насмешка полная, это надо порушить, а как? Попробовал он насчет этого со старшей, с Кирьяновой, поговорить, да у нее один ответ:

— А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего. Лично.

Смеются, черти...

— Стараешься, Федот Евграфыч?

Обернулся: соседка во двор заглядывает, Полина Егорова. Самая беспутная из всего населения: именины в прошлом месяце четыре раза справляла.

— Ты не очень-то утруждайся, Федот Евграфыч. Ты теперь один у нас остался, вроде как на племя. Хохочет. И ворот не застегнут: вывалила на плетень прелести, точно булки из печи.

— Ты теперь по дворам ходить будешь, как пастих. Неделю в одном дворе, неделю в другом. Такая у нас, у баб, договоренность насчет тебя.



— Ты, Полина Егорова, совесть поимей. Солдатка ты или дамочка какая? Вот и ведем соответственно.
— Война, Евграфыч, все спешит. И с солдат и с солдаток.

Вот ведь петля какая! Выселить надо бы, а как? Где они, гражданские власти? А ему она не подчинена: он этот вопрос с крикуном-майором провентилировал.

Да, дум набралось кубометра на два, не меньше. И с каждой думой совершенно особо разобраться надо. Совершенно особо...

Все-таки большая помеха, что человек он почти что без образования. Ну, писать-читать умеет и счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в конце этого, четвертого, у него медведь отца заломал. Вот девкам бы этим смеху было, если б про медведя узнали! Это ж надо: не от газов в мировую, не от клинка в гражданскую, не от кулацкого обреза, не своей смертью даже — медведь заломал! Они, поди, медведя этого в зверинцах только и видели...

Из дремучего угла ты, Федот Васков, в коменданты выполз. А они, не гляди что рядовые — наука: упреждение, квадрант, угол сноса. Классов семь, а то и все девять, по разговору видно. От девяти четыре отнять — пять останется. Выходит, он от них на больше отстал, чем сам имеет...

Невеселыми думы были, и от этого рубал Васков дрова с особой яростью. А кого винить? Разве что медведя того, невежливого...

Странное дело: до этого он жизнь свою удачливой считал. Ну не то чтоб совсем уж двадцать одно выходило, но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими неполными четырьмя классами полковую

школу окончил и за десять лет до старшинского звания дослужился. По этой линии ущерба не было, но с других концов, случалось, судьба флажками обкладывала и два раза прямо в упор из всех стволов саданула, но Федот Евграфыч устоял все ж таки. Устоял...

Незадолго перед финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая бабенка попалась: все бы ей петь, да плясать, да винцо попить. Однако мальчонку родила. Игорьком назвали: Игорь Федотыч Васков. Тут финская началась, Васков на фронт уехал, а как вернулся назад с двумя медалями, так его в первый раз и шарахнуло: пока он там в снегах загибался, жена вконец завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Федот Евграфыч развелся с нею немедля, мальчика через суд вытребовал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер, и с той поры Васков улыбнулся-то всего три раза: генералу, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча вытащившему, да хозяйке своей Марии Никифоровне, за догадливость.

Вот за тот осколок и получил он свой теперешний пост. В пакгаузе имущество кое-какое осталось, часовых не ставили, но, учредив комендантскую должность, поручили ему пакгауз тот блюсти. Трижды в день обходил старшина объект, замки пробовал и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись: «Объект осмотрен. Нарушений нет». И время осмотра, конечно.

Спокойно служилось старшине Васкову. Почти до сего дня спокойно. А теперь...

Вдохнул старшина.



2

Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер — встречу с героями-пограничниками. И хоть не было на этом вечере Карацупы, а собаку звали совсем не Индус, Рита помнила этот вечер так, словно он только-только окончился и застенчивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького приграничного городка. Лейтенант еще никаким не был героем, в состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся.

Рита тоже была не из бойких: сидела в зале, не участвуя ни в приветствиях, ни в самодеятельности, и скорее согласилась бы провалиться сквозь все этажи до крысиного подвала, чем первой заговорить с кем-либо из гостей моложе тридцати. Просто они с лейтенантом Осяниным случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться и глядя строго перед собой. А потом школьные затейники организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был общий фант: станцевать вальс — и они станцевали. А потом стояли у окна. А потом... Да, потом он пошел ее провожать.

И Рита страшно схитрила: повела его самой дальней дорогой. А он все равно молчал и только курил, каждый раз робко спрашивая у нее разрешения. И от этой робости сердце Риты падало прямо в колени.

Они даже простились не за руку: просто кивнули друг другу, и все. Лейтенант уехал на заставу и каждую субботу писал ей очень короткое письмо. А она каждое воскресенье отвечала длинным. Так продолжалось до лета: в июне он приехал в городок на три

дня, сказал, что на границе беспокойно, что отпусков больше не будет и поэтому им надо немедленно пойти в загс. Рита нисколько не удивилась, но в загсе сидели бюрократы и отказались регистрировать, потому что до восемнадцати ей не хватало пяти с половиной месяцев. Но они пошли к коменданту города, а от него — к ее родителям и все-таки добились своего.

Рита была первой из их класса, кто вышел замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть.

На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась перевязывать раненых и стрелять, скакать на лошади, метать гранаты и защищаться от газов. Через год она родила мальчика (назвали его Альбертом — Аликом), а еще через год началась война.

В тот первый день она оказалась одной из немногих, кто не растерялся, не ударился в панику. Она вообще была спокойная и рассудительная, но тогда ее спокойствие объяснялось просто: Рита еще в мае отправила Алика к своим родителям и поэтому могла заниматься спасением чужих детей.

Застава держалась семнадцать дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу. Застава жила, а с нею жила и надежда, что муж цел, что пограничники продержатся до прихода армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар: на заставе так любили петь: «Ночь пришла, и тьма границу скрыла, но ее никто не перейдет, и врагу мы не позволим рыло сунуть в наш советский огород...» Но шли дни, а помощи не было, и на семнадцатые сутки застава замолчала.

Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой запикивали в теплушки, но на-

слышная жена заместителя начальника заставы старшего лейтенанта Осянина через день снова появилась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную школу.

А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда с павшей заставы чудом прорвался сержант-пограничник.

Начальство ценило неувлечивую вдову героя-пограничника: отмечало в приказах, ставило в пример и поэтому уважало личную просьбу — направить по окончании школы на тот участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного: зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей девятого «Б»...

Теперь Рита была довольна: она добила того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый тайный уголок памяти: у нее была работа, обязанности и вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно, и хоть не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий аэростат прошить ей все-таки удалось. Он вспыхнул, съехался; корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз.

— Стреляй, Рита!.. Стреляй! — кричали зенитчицы.

А Рита ждала, не сводя перекрестия с падающей точки. И когда немец перед самой землей рванул парашют, уже благодаря своего немецкого бога, она плавно нажала гашетку. Очередь из четырех стволов начисто разрезала черную фигуру, девчонки, крича от восторга, целовали ее, а она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло. Помкомвзвода Кирьянова отпаивала чаем, утешала:

— Пройдет, Ритуха. Я, когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился, гад...

Кирьянова была боевой девахой: еще в финскую исползала с санитарной сумкой не один километр передовой, имела орден. Рита уважала ее за характер, но особо не сближалась.

Впрочем, Рита вообще держалась особняком: в отделении у нее были сплошь девчонки-комсомолки. Не то, чтобы младше, нет: просто — зеленые. Не знали они ни любви, ни материнства, ни горя, ни радости, болтали о лейтенантах да поцелуйчиках, а Риту это сейчас раздражало.

— Спать!.. — коротко бросала она, выслушав очередное признание. — Еще услышу о глупостях — настоишься на часах вдоволь.

— Зря, Ритуха, — лениво пеняла Кирьянова. — Пусть себе болтают: занято.

— Пусть влюбляются — слова не скажу. А так, лизаться по углам — этого я не понимаю.

— Пример покажи, — улыбалась Кирьянова.

И Рита сразу замолкала. Она даже представить не могла, что такое может случиться: мужчин для нее не существовало. Один был мужчина — тот, что вел в штыковую поредевшую заставу на втором рассвете войны. Жила, затянутая ремнем. На самую последнюю дырочку затянутая.

Перед маем расчету досталось: два часа вели бой с юркими мессерами. Немцы заходили с солнца, пикировали на счетверенки, плотно поливая огнем. Убили поднощицу — курносую, некрасивую толстуху, всегда что-то жевавшую втихомолку, легко ранили еще двоих. На похороны прибыл комиссар части, девчонки ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом комиссар отозвал Риту в сторону.

— Пополнить отделение нужно.

Рита промолчала.

— У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщина на фронте, сами знаете, — объект, так сказать, пристального внимания. И есть случаи, когда не выдерживают.

Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно:

— Один из штабных командиров — семейный, между прочим, — завел себе, так сказать, подругу. Член Военного совета, узнав, полковника того в оборот взял, а мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить. В хороший коллектив.

— Давайте, — сказала Рита.

Наутро увидела и залюбовалась: высокая, рыжая, белокожая. А глаза детские: зеленые, круглые, как блюдца.

— Боец Евгения Комелькова в ваше распоряжение...

Тот день банным был, и когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую, как на чудо, глядели:

— Женька, ты русалка!

— Женька, у тебя кожа прозрачная!

— Женька, с тебя скульптуру лепить!

— Женька, ты же без лифчиков ходить можешь!

— Ой, Женька, тебя в музей нужно! Под стекло на черном бархате...

— Несчастная баба! — вздохнула Кирьянова. — Такую фигуру в обмундирование паковать — это ж сдохнуть легче.

— Красивая, — осторожно поправила Рита. — Красивые редко счастливыми бывают.

— На себя намекаешь? — усмехнулась Кирьянова.

И Рита опять замолчала: нет, не выходила у нее дружба с помкомвзвода Кирьяновой. Никак не выходила.

А с Женькой вышла. Как-то сама собой, без подготовки, без прощупывания: взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укорить хотела отчасти, а отчасти пример показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать. Сказала коротко:

— Значит, и у тебя личный счет имеется.

Сказано было так, что Рита — хоть и знала про полковника досконально — спросила:

— И у тебя тоже?

— А я одна теперь. Маму, сестру, братишку — всех из пулемета уложили.

— Обстрел был?

— Расстрел. Семьи комсостава захватили и — под пулемет. А меня эстонка спрятали в доме напротив, и я видела все. Все! Сестренка последней упала — специально добивали...

— Послушай, Женька, а как же полковник? — шепотом спросила Рита. — Как же ты могла, Женька...

— А вот могла!.. — Женька с вызовом тряхнула рыжей шевелюрой. — Сейчас воспитывать начнешь или после отбоя?

Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность, и — странное дело! — Рита словно бы чуть оттаяла, словно бы дрогнула где-то, помягчела. Даже смеялась иногда, даже пела с девчонками, но самой собой была только с Женькой наедине.

Рыжая Комелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь до онемения доведет, то на перерыве под девичье «ляля» цыганочку спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет — заслушаешься.

— На сцену бы тебя, Женька! — вздыхала Кирьянова. — Такая баба пропадает!

Так и кончилось Ритино старательное охраняемое одиночество: Женька все перетряхнула. В отделении

у них замухрышка одна была, Галка Четвертак. Худючая, остроносая, косички из пакли и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, прическу соорудила, гимнастерку подогнала — расцвела Галка. И глазки вдруг засверкали, и улыбка появилась, и грудки, как грибы, выросли. И поскольку Галка эта от Женьки больше и на шаг не отходила, стали они теперь троим: Рита, Женька и Галка.

Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штыки. Только Рита промолчала: сбегала в штаб, поглядела карту, сказала:

— Пошлите мое отделение.

Девушки удивились, Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменялась: стала за разъезд агитировать. Почему, отчего — никто не понимал, но примолкли: значит, надо, Женьке верили. Разговоры сразу утихли, начали собираться. А как прибыли на разъезд, Рита, Женька и Галка стали вдруг пить чай без сахара.

Через три ночи Рита исчезла из расположения. Скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла сонный разъезд и растаяла в мокром от росы ольшанике. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе и остановила первый грузовик.

— Далеко собралась, красавица? — спросил уса-тый старшина: ночью в тыл ходили машины за припасами, и сопровождали их люди, далекие от строевой и уставов.

— До города подбросите?

Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и вмиг оказалась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник.

— Подремли, деваха, часок...

А утром была на месте.

— Лида, Рая — в наряд!

Никто не видал, а Кирьянова узнала: доложили. Ничего не сказала, усмехнулась про себя:

— Завела кого-то, гордячка. Пусть ее, может, от-тает...

И Васкову — ни слова. Впрочем, Васкова никто из девушек не боялся, а Рита — меньше всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый: в запасе двадцать слов, да и те из уставов. Кто же его всерьез-то принимать будет?

Но форма есть форма, а в армии особенно. И форма эта требовала, чтобы о ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки да Галки Четвертак.

Откочевывали в городишко сахар, галеты, пшенный концентрат, а когда и банки с тушенкой. Шальная от удач Рита бегала туда по две-три ночи в неделю: почернела, осунулась. Женька укоризненно шипела в ухо:

— Зарвалась ты, мать! Налетишь на патруль, либо командир какой заинтересуется — и сгоришь.

— Молчи, Женька, я везучая!

У самой от счастья глаза светятся: разве с такой серьезно поговоришь? Женька только расстраивалась:

— Ой, гляди, Ритка!

То, что о ее путешествиях Кирьянова знает, Рита быстро догадалась: по взглядам да усмешечкам. Обожгли ее эти усмешечки, словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнела, хотела одернуть — Женька не дала. Уцепилась, уволок в сторону:

— Пусть, Рита, пусть что хочет думает!

Рита опомнилась: правильно. Пусть любую грязь сочиняет, лишь бы помалкивала, не мешала, Васкову бы не донесла. Занудит, запилит — света не взвидишь. Пример был: двух подружек из первого отде-



ления старшина за рекой поймал. Четыре часа — с обеда до ужина — мораль читал: устав наизусть цитировал, инструкции, наставления. Довел девчонок до третьих слез: не то, что за реку, — со двора за-реклись выходить.

Но Кирьянова пока молчала.

Стояли безветренные белые ночи. Длинные — от зари до зари — сумерки дышали густым настоем

зацветающих трав, и зенитчицы до вторых петухов пели песни у пожарного сарая. Рита тайлась теперь только от Васкова, исчезала через две ночи на треть-то вскоре после ужина, а возвращалась перед подъемом.

Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасться на глаза патрулю была уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли росе, забросив связанные ушками сапоги за спину. Шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей само-волке. И от того, что следующее свидание она может планировать сама, не завися или почти не завися от чужой воли, Рита была счастлива.

Но шла война, распоряжаясь по своему усмотрению человеческими жизнями, и судьбы людей переплетались причудливо и непонятно. И, обманывая коменданта тихого 171-го разъезда, младший сержант Маргарита Осянина и зная не зная, что директива имперской службы СД за № С219/702 с грифом «ТОЛЬКО ДЛЯ КОМАНДОВАНИЯ» уже под-писана и принята к исполнению.

З

А зори здесь были тихими-тихими. Рита шлепала босиком: сапоги раскачивались за спиной. С болот полз плотный туман, холодил ноги, оседал на одежде, и Рита с удовольствием думала, как сядет перед разъездом на знакомый пенек, наденет сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что долго ловила попутную машину. Старшина же Васков вставал ни свет, ни заря и сразу шел щупать замки на пакгаузе. А Рита как раз туда должна была выходить: пенек ее был в двух шагах от бревенчатой стены, за кустами.

До пенька осталось два поворота, потом напрямик, через ольшаник. Рита миновала первый и — замерла: на дороге стоял человек.

Он стоял, глядя назад: рослый, в пятнистой плащ-палатке, горбом выпиравшей на спине. В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток; на груди висел автомат.

Рита шагнула в куст; вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала. Почти не дыша, смотрела сквозь редкую еще листву на чужого, недвижимо, как во сне стоявшего на ее пути.

Из лесу вышел второй: чуть пониже, с автоматом на груди и с точно таким же тучком в руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими шнурованными башмаками по росистой траве.

Рита сунула в рот кулак, до боли стиснула его зубами. Только не шевельнуться, не закричать, не броситься напролом сквозь кусты! Они прошли рядом: крайний коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени. И скрылись.

Рита обождала — никого. Осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в куст, прислушалась.

Тишина.

Задыхаясь, кинулась напролом: сапоги били по спине. Не таясь, пронеслась по поселку, забарабанила в сонную, наглухо заложенную дверь:

— Товарищ комендант!.. Товарищ старшина!..

Наконец открыли. Васков стоял на пороге — в

галифе, тапочках на босу ногу, в нижней бязевой рубашке с завязками. Хлопал сонными глазами.

— Что?

— Немцы в лесу!

— Так... — Федот Евграфыч подозрительно сощурился: не иначе, разыгрывают. — Откуда известно?

— Сама видала. Двое. С автоматами, в маскировочных накидках...

Нет, вроде не врет. Глаза испуганные...

— Погоди тут.

Старшина метнулся в дом. Натянул сапоги, накинул гимнастерку, второпях, как при пожаре. Хозяйка в одной рубашке сидела на кровати, разинув рот:

— Что там, Федот Евграфыч?

— Ничего. Вас не касается.

Выскочил на улицу, затягивая ремень с наганом на боку. Осянина стояла на том же месте, по-прежнему держа сапоги за плечом. Старшина машинально глянул на ее ноги: красные, мокрые, к большому пальцу прошлогодний лист прилип. Значит, по лесу босиком шастала, а сапоги за спиной носила: так, стало быть, теперь воюют.

— Команду — в ружье: боевая тревога! Кириянову ко мне. Бегом!

Бросились в разные стороны: деваха — к пожарному сараю, а он — в будку железнодорожную, к телефону. Только бы связь была!..

— Сосна, Сосна!.. Ах, ты, мать честная!.. Либо спят, либо полонка... Сосна!.. Сосна!..

— Сосна слушает.

— Семнадцатый говорит. Давай Третьего. Срочно давай, чепе!..

— Даю, не ори. Чепе у него...

В трубке что-то долго сипело, хрюкало, потом далекий голос спросил:

— Ты, Васков? Что там у вас?

— Так точно, товарищ Третий. Немцы в лесу возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух...

— Кем обнаружены?

— Младшим сержантом Осяниной...

Кириянова вошла, без пилотки, между прочим. Кивнула, как на вечерке.

— Я тревогу объявил, товарищ Третий. Думаю лес прочесать...

— Погоди чесать, Васков. Тут подумать надо: объект без прикрытия оставим — тоже по головке не погладят. Как они выглядят, немцы твои?

— Говорит, в маскнакидках, с автоматами. Разведка...

— Разведка? А что ей там, у вас, разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь?

Вот всегда так, всегда Васков виноват. Все на Васкове отыгрываются.

— Чего молчишь, Васков? О чем думаешь?

— Думаю, надо ловить, товарищ Третий. Пока далеко не ушли.

— Правильно думаешь. Бери пять человек из команды и дуй, пока след не остыл. Кириянова там?

— Тут, товарищ...

— Дай ей трубку.

Кириянова говорила коротко: сказала два раза «слушаю» да раз пять поддакнула. Положила трубку, дала отбой:

— Приказано выделить в ваше распоряжение пять человек.

— Ты мне ту давай, которая видала.

— Осянина пойдет старшей.

— Ну, так. Стройте людей.

— Построены, товарищ старшина.

Строй, нечего сказать. У одной волосы, как грива, до пояса, у другой какие-то бумажки в голове. Вояки! Чеши с такими лес, лови немцев с автоматами! А у них тут, между прочим, одни родимые, образца 1891 дробь тридцатого года...

— Вольно!

— Женя, Галя, Лиза...

Сморщился старшина:

— Погодите, Осянина! Немцев идем ловить — не рыбу. Так чтоб хоть стрелять умели, что ли...

— Умеют.

Хотел Васков рукой махнуть, но спохватился:

— Да, вот еще. Может, немецкий кто знает?

— Я знаю.

Писклявый такой голосишко, прямо из строя. Федот Евграфыч вконец расстроился:

— Что — я? Что такое я? Докладывать надо!

— Боец Гурвич.

— Ох-хо-хо! Как по-ихнему — руки вверх?

— Хенде хох.

— Точно, — махнул-таки рукой старшина. — Ну, давай, Гурвич...

Выстроились эти пятеро. Серьезные, как дети, но испуга вроде пока нет.

— Идем на двое суток, так надо считать. Взять сухой паек, патронов... по пять обойм. Подзаправиться... Ну, поесть, значит, плотно. Обуться по-человечески, в порядок себя привести, подготовиться. На все — сорок минут. Рразойдись!.. Кирьянова и Осянина — со мной.

Пока бойцы завтракали и готовились к походу, старшина увел сержантский состав к себе на совещание. Хозяйка, по счастью, куда-то уже смоталась, но постель так и не прибрала: две подушки рядышком, полюбовно... Федот Евграфыч угощал сержантов похлебкой и разглядывал старенькую, истертую на сгибах карту-трехверстку.

— Значит, на этой дороге встретила?

— Вот тут. — Палец Осяниной слегка колупнул карту. — А прошли мимо меня, по направлению к шоссе.

— К шоссе?.. А чего ты в лесу в четыре утра делала?

Промолчала Осянина.

— Просто по ночным делам, — не глядя, сказала Кирьянова.

— Ночным?.. — Васков разозлился: вот ведь врут! — Для ночных дел я вам самолично нужник поставил. Или не вмещаетесь?

Насупились обе.

— Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана, — опять сказала Кирьянова.

— Нету здесь женщин! — крикнул комендант и даже слегка пристукнул ладонью по столу. — Нету! Есть бойцы, и есть командиры, понятно? Война идет, и покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем...

— То-то у вас до сих пор постелька распахнута, товарищ старшина среднего рода...

Ох, и язва же эта Кирьянова! Одно слово: петля!

— К шоссе, говоришь, пошли?

— По направлению...

— Черта им у шоссе делать: там по обе стороны еще в финскую лес сведен, там их живо прищучат. Нет, товарищи младшие командиры, не к шоссе их тянуло... Да вы хлебайте, хлебайте.



— Там кусты и туман, — сказала Осянина. — Мне казалось...

— Креститься надо было, если казалось, — проворчал комендант. — Тючки, говоришь, у них?

— Да. Вероятно, тяжелые: в правой руке несли. Очень аккуратно упакованы.

Старшина свернул сигарку, закурил, прошелся. Ясно все вдруг для него стало, так ясно, что он даже застеснялся.

— Мыслю я, тол они несли. А если тол, то маршут у них совсем не на шоссе, а на железку. На Кировскую дорогу, значит.

— До Кировской дороги неблизко, — сказала Кирьянова недоверчиво.

— Зато лесами. А леса здесь погибельные: армия спрятаться может, не то что два человека.

— Если так... — заволновалась Осянина. — Если так, то надо охране на железную дорогу сообщить.

— Кирьянова сообщит, — сказал Васков. — Мой доклад — в двадцать тридцать ежедневно, позывной «17». Ты ешь, ешь, Осянина. Топать-то весь день придется...

Через сорок минут поисковая группа построилась, но вышли только через полтора часа, потому что старшина был строг и придирчив:

— Разуться всем!..

Так и есть: у половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портянки намотаны, словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь, потому как через три километра ноги эти вояки собьют до кровавых пузырей. Ладно, хоть командир их, младший сержант Осянина, правильно обуто. Однако почему подчиненных не учит?..

Сорок минут преподавал, как портянки наматывать. А еще сорок — винтовки чистить заставил. Они в них, ладно, если мокриц не развели, а ну как стрелять придется?..

Остаток времени старшина посвятил небольшой лекции, вводящей, по его мнению, бойцов в курс дела:

— Противника не бойтесь. Он по нашим тылам идет, значит, сам боится. Но близко не подпускайте, потому как противник все же мужик здоровый и вооружен специально для ближнего боя. Если уж случится, что рядом он окажется, тогда затаитесь лучше. Только не бегите, упаси бог: в бегущего из автомата попасть — одно удовольствие. Ходите только по двое. В пути не отставать и не разговаривать. Если дорога попадется, как надо действовать?

— Знаем, — сказала рыжая. — Одна — справа, другая — слева.

— Скрытно, — уточнил Федот Евграфыч. — Порядок движения такой будет: впереди — головной дозор в составе младшего сержанта с бойцом. Затем в ста метрах — основное ядро: я... — он оглядел свой отряд, — с переводчицей. В ста метрах за нами — последняя пара. Идти, конечно, не рядом, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного... Кто по-звериному или там по-птичьему кричать может?

Захихикали, дуры...

— Я серьезно спрашиваю! В лесу сигналы голосом не подашь: у немца тоже уши есть.

Примолкли.

— Я умею, — робко сказала Гурвич. — По-ослиному: и-а, и-а!..

— Ослы здесь не водятся, — с неудовольствием заметил старшина. — Ладно, давайте кричать учиться. Как утки.

Показал, а они засмеялись. Чего им вдруг весе-

ло стало, Васков не понял, но и сам улыбки не сдержал.

— Так селезень утицу подзывает, — пояснил он. — Ну-ка, попробуйте.

Крякали с удовольствием. Особенно эта рыжая старалась, Евгения (ох, хороша девка, не приведи бог влюбиться, хороша!). Но лучше всех, понятное дело, у Осяниной получалось: способная, видать. И еще у одной неплохо, у Лизы, что ли. Коренастая, плотная, то ли в плечах, то ли в бедрах — не поймешь, где шире. А голос лихо подделывает. И вообще ничего, такая всегда пригодится: здорова, хоть паши на ней.

Не то что пигалицы городские — Галя Четвертак да Соня Гурвич, переводчица.

— Идем на Воль-озеро. Смотрите сюда. — Стоп! — лисы у карты, дышали в затылок, в уши: смешно. — Ежели немцы к железке идут, им озера не миновать. А пути короткого они не знают: значит, мы раньше их там будем. До места нам верст двадцать — к обеду придем. И подготовиться успеем, потому как немцам, обходным порядком да таясь, не мене, чем полста, отшагать надо. Все понятно, товарищи бойцы?

Посерьезнели его бойцы:

— Понятно...

Им бы телешом загорать да в самолеты пулять — вот это война...

— Младшему сержанту Осяниной проверить припас и готовность. Через пятнадцать минут выступаем.

Оставил бойцов: надо было домой забежать. Хозяйке еще до этого поручил сидор собрать, да и захватить кое-чего требовалось. Немцы — вояки злые, это только на карикатурах их пачками бьют. Требовалось подготовиться.

Мария Никифоровна собрала, что велел, даже больше: сала шматок положила да рыбки вяленой. Хотел ругнуть, но передумал: орава-то, что на свадьбе. Сунул в сидор патронов побольше для винтовки и нагана, пару гранат прихватил: мало ли что может случиться.

Хозяйка глядела испуганно, тихо: глаза — на мокром месте. И тянулась, уж так вся тянулась к нему, хоть и не двигалась с места, что Васков не выдержал, руку на голову ее положил:

— Послезавтра вернусь. Либо — крайний срок — в среду.

Заплакала. Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ! Мужикам война эта — как зайцу курево, а уж вам-то...

Вышел на околицу, оглядел свою «гвардию»: винтовки чуть прикладом по земле не волочатся.

Вздыхнул Васков.

— Готовы?

— Готовы, — сказала Рита.

— Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Сигналы напоминаю: два крика — внимание, вижу противника. Три крика — все ко мне.

Засмеялись девчонки. А он нарочно так говорил: два крика, три крика. Нарочно, чтоб засмеялись, чтоб бодрость появилась.

— Головной дозор, шагом марш!

Двинулись.

Впереди — Осянина с толстой. Васков обождал, пока они скрылись в кустах, отсчитал про себя до ста, пошел следом. С переводчицей, что под винтовкой, подсумком, скаткой да сидором гнулась, как тростинка... Сзади — Комелькова и Галя Четвертак.

За бросок к Воль-озеру Васков не беспокоило: прямую дорогу туда немцы знать не могли, потому что дорогу эту он открыл сам еще в финскую. На всех картах здесь топи обозначались, и у немцев был один путь: в обход, по лесам, а потом к озеру на Синюхину гряде, и миновать гряде эту им было никак невозможно. И как бы ни шли его бойцы, как бы ни чухались, немцам идти все равно дольше. Раньше чем к вечеру они туда не выйдут, а к тому времени он уже успеет перекрыть все ходы-выходы. Положит своих девчат за камни, укроет понадежнее, пальнет разок для бодрости, а там и поговорит. В конце концов одного и прикончить можно, а с немцем один на один Васков схватки не боялся.

Бойцы его шагали бодро и вроде вполне соответственно: смеху и разговоров комендант не обнаружил. Как уж они там наблюдали, про это он знать не мог, но под ноги себе глядел, как при медвежьей облоге, и засек-таки легкий следок с чужими рубчиками. Следок этот тянул на добрый сорок четвертый размер, из чего Федот Евграфыч заключил, что оставил его детина под два метра и весом пудов на шесть с гаком. Конечно, с таким сбормотом встречаться девчатам с глазу на глаз, даже если они и вооружены, никак не годилось, но вскоре старшина углядел еще отпечаток и по двум сообразил, что немец топал в обход топи. Все вышло так, как он замыслил.

— Хорошо немчура побегает, — сказал он своей напарнице. — Здорово очень даже побегает — верст на сорок.

Переводчица на это ничего не сказала, потому как сильно умаялась, аж приклад по земле волочил. Старшина несколько раз глянул, урывками ухватывая остренькое, некрасивое, но уж очень серьезное личико ее, подумал жалостливо, что при теперешнем мужском дефиците не видать ей семейной бытности, и спросил неожиданно:

— Тятя с маманей живы у тебя? Или сиротствуешь?

— Сиротствую?.. — Она улыбнулась. — Пожалуй, знаете, сиротствую.

— Сама, что ль, не уверена?

— А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина?

— Резон...

— В Минске мои родители. — Она подергала тощим плечом, поправляя винтовку. — Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут...

— Известия имеешь?

— Ну, что вы...

— Да... — Федот Евграфыч еще покосился: прикинул, не обидит ли. — Родители еврейской нации?

— Естественно.

— Естественно... — Комендант сердито посопел. — Было бы естественно, так и не спрашивал бы.

Переводчица промолчала. Шлепала по мокрой траве корявыми кирзачами, хмурилась. Вдохнула тихо:

— Может, уйти успели...

Полоснуло Васкова по сердцу от вздоха этого. Ах, заморыш ты воробыный, по силам ли горе на горбу-то у тебя? Матюкнуться бы сейчас в полную возможность, покрыть бы войну эту в двадцать девять накатов с переборами. Да заодно и майора того, что девчат в погоню отрядил, прополоскать бы в щело-



ке. Глядишь, и полегчало бы, а вместо этого надо улыбку из всех сил к губам прилаживать.

— А ну, боец Гурвич, крикни три раза!

— Зачем это?

— Для проверки боевой готовности. Ну? Забыла, как учил?

Сразу заулыбалась. И глазки живые стали.

— Нет, не забыла!

Кряк, конечно, никакой не получился: баловство одно. Как в театре. Но и головной дозор и замыкающее звено все-таки сообразили, что к чему: поднялись. А Осянина просто бегом примчалась — и винтовка в руке:

— Что случилось?

— Коли б что случилось, так вас бы уже архангелы на том свете встречали, — выговорил ей комендант. — Растолпалась, понимаешь, как телушка. И хвост трубой.

Обиделась — аж вспыхнула вся, как заря майская. А как иначе: учить-то надо.

— Устали?

— Еще чего!

Рыжая выпалила: за Осянину расстроилась, ясное дело.

— Вот и хорошо, — миролюбиво сказал Федот Евграфыч. — Что в пути заметили? По порядку: младший сержант Осянина.

— Вроде ничего... — Рита замялась. — Ветка на повороте сломана была.

— Молодец, верно. Ну, замыкающие. Боец Комелькова!

— Ничего не заметила, все в порядке.

— С кустов роса сбита, — торопливо сказала вдруг Лиза Бричкина. — Справа еще держится, а слева от дороги сбита.

— Вот глаз! — довольно сказал старшина. — Молодец, красноармеец Бричкина. А еще было на дороге два следа. От немецкого резинового ботинка, что ихние десантники носят. По носкам ежели судить, то держат они вокруг болота. И пусть себе держат, потому что мы болото это возьмем напрямки. Сейчас пятнадцать минут покурить можно, опраться...

Хихикнули, будто он глупость какую сказал. А это команда такая, в уставе она записана. Васков нахмурился:

— Не реготать! И не разбегаться. Все!..

Показал, куда вещмешки сложить, куда — скатки, куда винтовки составить, и распустил свое воинство. Враз все в кусты шмыгнули, как мыши.

Старшина достал топорик, вырубил в сухостое шесть добрых слег и только после этого закурил, присев у вещей. Вскоре все тут собрались: шушукались, переглядывались.

— Сейчас внимательнее надо быть, — сказал комендант. — Я первым пойду, а вы гуртом за мной, но след в след. Тут слева, справа трясины: маму позвать не успеете. Каждая слегу возьмет и прежде, чем ногу поставить, слегой дрыгну пусть пробует. Вопросы есть?

Промолчали на этот раз: рыжая только головой дернула, но воздержалась. Старшина встал, затоптал во мху окурки.

— Ну, у кого силы много?

— А чего? — неуверенно спросила Лиза Бричкина.

— Боец Бричкина понесет вещмешок переводчицы.

— Зачем?.. — пискнула Гурвич.

— А затем, что не спрашивают!.. Комелькова!

— Я.

— Взять мешок у красноармейца Четвертак.

— Давай, Четвертак, заодно и винтовочку...

— Разговорчики! Делать, что велят: личное оружие каждый несет сам...

Кричал и расстраивался: не так, не так надо! Разве горлом сознательности добьешься? До кондрашки доораться можно, а дела от этого не прибудет. Однако разговаривать стали больно. Щебетать. А щебет военному человеку — штык в печенку. Это уж так точно...

— Повторяю, значит, чтоб без ошибки. За мной в затылок. Нogu ставить след в след. Слегой топь...

— Можно вопрос?

Господи, твоя воля! Утерпеть не могут.

— Что вам, боец Комелькова?

— Что такое — слегой? Слегка, что ли?

Дурака валяет, рыжая, по глазам видно. Опасные глазищи, как омути.

— Что у вас в руках?

— Дубина какая-то...

— Вот она и есть слега. Ясно говорю?

— Теперь прояснилось. Даль.

— Какая еще даль?

— Словарь такой, товарищ старшина. Вроде разговорника.

— Евгения, перестань! — крикнула Осянина.

— Да, маршрут опасный, тут не до шуток. Порядок движения: я головной. За мной Гурвич, Бричкина, Комелькова, Четвертак. Младший сержант Осянина — замыкающая. Вопросы?

— Глубоко там?

Четвертак интересуется. Ну, понятно: при ее росте и ведро — бочажок.

— Местами будет по... Ну, по это самое. Вам по пояс, значит. Винтовки берегите.

Шагнул с ходу по колени — только трясина чвакнула. Побрел, раскачиваясь, как на пружинном матрасе. Шел, не оглядываясь, по вздохам да испуганному шепоту определяя, как движется отряд.

Сырой, стоялый воздух душно висел над болотом. Цепкие весенние комары тучами вились над разгоряченными телами. Остро пахло прелой травой, гниющими водорослями, болотом.

Всей тяжестью налегая на шесы, девушки с трудом вытягивали ноги из засасывающей холодной топи. Мокрые юбки липли к бедрам, ружейные приклады волочились по грязи. Каждый шаг давался с напряжением, и Васков брел медленно, приравливаясь к маленькой Гале Четвертак.

Он держал курс на островок, где росли две низкие, исковерканные сыростью сосенки. Комендант не спускал с них глаз, ловя в просвет между кривыми стволами дальнюю сухую березу, потому что и вправо и влево брода уже не было.

— Товарищ старшина!..

А, леший!.. Комендант крепче вогнал шест, с трудом повернулся: так и есть, растянулись, стали.

— Не стоять! Не стоять, засосет!..

— Товарищ старшина, сапог с ноги снялся!..

Четвертак с самого хвоста кричит. Торчит, как кочка, и юбки не видно. Осянина подобралась, подхватила ее. Тыкают шестом в трясины: сапог, что ли, нащупывают?

— Нашла?

— Нет!..

Комелькова слегу перекинула, качнулась вбок. Хорошо, он заметил вовремя. Заорал, аж жилы на лбу вздулись:

— Куда?! Стоять!..

— Я помочь...

— Стоять!.. Нет назад пути!..

Господи, свссем он с ними запутался: то не стоять, то стоять. Как бы не испугались, в панику не ударились. Паника в трясине — смерть.

— Спокойно, спокойно только! До островка пу-
стяк остался, там передохнем. Нашли сапог?

— Нет!.. Вниз тянет, товарищ старшина!

— Идти надо! Тут зыбко, долго не простоим.

— А сапог как же?

— Да разве найдешь его теперь? Вперед!.. Впе-
ред, за мной!.. — повернулся, пошел, не оглядыва-
ясь. — След в след. Не отставать!..

Это он нарочно кричал, чтоб бодрость появилась.
У бойцов от команды бодрость появляется, это он
по себе знал. Точно.

Добрели наконец. Он особо за последние метры
боялся: там поглубже. Ног уже не вытянешь, телом
дрыгну эту проклятую раздвигать приходится. Тут
и силы нужны и сноровка. Но обошлось.

У островка, где уже стоять можно было, Васков
задержался. Пропустил мимо всю команду свою, по-
мог на твердую землю выбраться.

— Не спешите только. Спокойно. Здесь передох-
нем.

Девушки выходили на остров, валились на жухлую
прошлогоднюю траву. Мокрые, облепленные грязью,
задышающиеся. Четвертак не только сапог, а и пор-
тянку болоту подарила: вышла в одном чулке.
В дырку большой палец торчит, синий от холода.

— Ну что, товарищи бойцы, умаялись?

Промолчали бойцы. Только Лиза поддакнула:

— Умаялись...

— Ну, отдыхайте покуда. Дальше легче будет: до
сухой березы добредем — и шабаш.

— Нам бы помыться, — сказала Рита.

— На той стороне протока чистая, песчаный берег.
Хоть купайтесь. Ну, а сушиться, конечно, на ходу
придется.

Четвертак вздохнула, спросила несмело:

— А мне как же без сапога?

— А тебе чуню сообразим, — улыбнулся Федот
Евграфыч. — Только уж за болотом, не здесь. Потер-
пишь?

— Потерплю.

— Растрепан ты, Галка, — сердито сказала Комель-
кова. — Надо было пальцы вверх загибать, когда ногу
вытаскиваешь.

— Я загибалась, а он все равно слез.

— Холодно, девочки.

— Я мокрая до самых-самых...

— Думаешь, я сухая? Я раз оступилась да как ся-
ду!..

Смеются. Значит, ничего, отходят. Хоть и женский
пол, а молодые, силенка какая-никакая, а имеется.
Только бы не расхворались: вода — лед...

Федот Евграфыч еще раз затянулся, кинул в боло-
то окуроч, встал. Сказал бодро:

— А ну, разбирай следи, товарищи бойцы. И за
мной прежним порядком. Мыться-греться там бу-
дем, на бережку.

И шарахнул с корня прямо в бурое месиво.

Этот последний бродок тоже был не приведи гос-
подь. Жижа, что овсяный кисель: и ногу не держит
и поплыть не дает. Пока ее распахнешь, чтоб вперед
продвинуться, семь потов сойдет.

— Как, товарищи?

Это он для поднятия духа крикнул, не оглядыва-
ясь.

— Пивавки тут есть? — задышавшись, спросила Гур-
вич.

Она следом за ним шла, уже по проломленному:
ей полегче было.

— Нету тут никого. Мертвое место, погибельное.
Слева вспучился пузырь. Лопнул, и разом гулко
вдохнуло болото. Кто-то сзади ойкнул испуганно, и
Васков пояснил:

— Газ болотный выходит, не бойтесь. Потревожи-
ли мы его... — Подумал маленько, добавил: — Стари-
ки бают, что аккурат в таких местах хозяин живет,
лешак, значит. Сказки, понятное дело...

Молчит его гвардия. Пыхтит, ойкает, задыхается.
Но лезут. Упрямо лезут, зло.

Полегче стало: кисель пожиже, дно попрочнее, да-
же кочки кой-где появились. Старшина нарочно хо-
да не убыстрял, и отряд подтянулся: в затылок шли.
К березе почти разом выбрались; дальше лесок на-
чинался, кочки да мшаник. Это уж совсем пустяком
выглядело, тем более что и почва все повышалась
и в конце незаметно переходила в сухой беломош-
ный бор. Тут они загалдели разом, обрадовались и
слегки побросали. Однако Федот Евграфыч слегки ве-
лел поднять и все к одной приметной сосне присло-
нить:

— Может, кому сгодится.

А отдыхать не дал ни минуты. Даже босую Галю
Четвертак не пожалел:

— Чуть, товарищи красноармейцы, осталось, под-
натужьтесь. У протоки отдохнем.

Влезли на взгорбок — сквозь сосенки протока от-
крылась. Чистая, как слеза, в золотых песчаных бе-
регах.

— Ура!.. — закричала рыжая Женька. — пляж, де-
вочки!

Девушки заорали что-то счастливое, кинулись к
реке по откосу, на ходу сбрасывая с себя скатки,
вещмешки...

— Отставить!.. — гаркнул комендант. — Смирно!..

Враз замерли. Смотрят удивленно, даже обижен-
но.

— Песок!.. — сердито продолжал старшина. — А вы
в него винтовки суете, вояки. Винтовки к дереву при-
слонить, понятно? Сидора, скатки — в одно место. На
мытье и приборку даю сорок минут. Я за кустами
буду на расстоянии звуковой связи. Вы, младший
сержант Осянина, за порядок мне отвечаете.

— Есть, товарищ старшина.

— Ну, все. Через сорок минут чтоб все были гото-
вы. Одеты, обуты — и чистые.

Спустился пониже. Выбрал местечко, чтоб и пе-
сок был, и вода глубокая, и кусты кругом. Снял
амуницию, сапоги, разделся. Где-то неразборчиво пе-
реговаривались девушки: только смех да отдельные
слова долетали до Васкова, и, может, по этой при-
чине он все время и прислушивался.

Первым делом Федот Евграфыч галифе, портянки
да белье выстирал, отжал, сколь мог, и на кусты ра-
скинул для просушки. Потом намылился, повздыхал,
потопал по бережку, волю в себе скапливая, да и
сиганул с обрыва в омут. Вынырнул — вздохнуть не
мог: ледяная вода сердце стиснула. Крикнуть хоте-
лось во всю мочь, но убоился «гвардию» свою напу-
гать: покрывал почти что шепотом, без удовольст-
вия, смысл мыло — и на берег. И только уж когда
суровым полотенцем растерся докрасна, отдышался,
снова прислушиваться стал.

А там гомонили, как на побеседушках: все враз
и каждая свое. Только смеялись дружно, да Чет-
вертак радостно выкрикнула:

— Ой, Женечка! Ай, Женечка!

— Только вперед!.. — заорала вдруг Комелькова, и
старшина услышал, как-то плеснула за кустами во-
да.

— Ишь ты, купаются... — уважительно подумал он.
Восторженный визг заглушил все звуки разом: хо-

рошо, немцы далеко были. Сперва в этом визге ничего разобрать было невозможно, а потом Осянина резко крикнула:

— Евгения, на берег!.. Сейчас же!..

Улыбаясь, Федот Евграфыч свернул потолще самокрутку, почикал «катушкой» по кремню, прикурил от затлевающего фитиля и стал неспешно, с удовольствием курить, подставив теплому майскому солнцу голую спину.

За сорок минут, понятное дело, ничего не высохло, но ждать было нельзя, и Васков, поеживаясь, натянул на себя волглые кальсоны и галифе. Портянки, к счастью, запасные имелись, и ноги он вогнал в сапоги сухими. Надел гимнастерку, затянулся ремнем, подхватил вещи. Крикнул зычно:

— Готовы, товарищи бойцы?

— Подождите!..

Ну, так и знал! Федот Евграфыч усмехнулся, покрутил головой и только разинул рот, чтоб шугануть их, как Осянина опять прокричала:

— Идите! Можно!..

Это старшему-то по званию «можно» кричат бойцы! Насмешка какая-то над уставом, если вдуматься. Непорядок.

Но это он так, между прочим подумал, потому что после купания и отдыха настроение у коменданта было прямо первомайское. Тем более что и «гвардия» ждала его в виде аккуратном, чистом и улыбаивом.

— Ну как, товарищи красноармейцы, порядок?

— Порядок, товарищ старшина. Евгения вон купалась у нас.

— Молодец, Комелькова. Не замерзла?

— Так ведь все равно погреть некому...

— Остра! Давайте, товарищи бойцы, перекусим маленько да двинем, пока не засиделись.

Перекусили хлебом с селедкой: сытное старшина пока придерживал. Потом чуню непутевой этой Четвертак соорудили: запасной портянкой обмотали, сверху два шерстяных носка (хозяйки его рукоделие и подарок), да из свежей бересты Федот Евграфыч кузовок для ступни свернул. Подогнал, прикрутил бинтом:

— Ладно ли?

— Очень даже. Спасибо, товарищ старшина.

— Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги глушить. Да и там оглядеться надо, подготовиться, как да где гостей встречать...

Гнал он девчат своих ходко: надо было, чтоб юбки да прочие их вещички на ходу высохли. Но девахи ничего, не сдавались, раскраснелись только.

— А ну, нажмем, товарищи бойцы! За мной бегом!..

Бежал, пока у самого дыхания хватало. На шаг переводил, давал отдышаться и снова:

— За мной!.. Бегом!..

Солнце уже клонилось, когда вышли к Воль-озеру. Тихо плескалось оно о валуны, и сосны уже по-вечернему шумели на берегах. Как ни вглядывался старшина в горизонт, не видно было на воде лодок; как ни внюхивался в шепотливый ветерок, ниоткуда не тянуло дымом. И до войны края эти не очень-то людными были, а теперь и вовсе одичали, словно все — и лесорубы, и охотники, и рыбаки, и смолокуры — все ушли на фронт.

— Тихо-то как... — шепотом сказала звонкая Евгения. — Как во сне.

— От левой косы Синюхина гряды начинается, — пояснил Федот Евграфыч. — С другой стороны эту гряду второе озеро поджигает, Легонтово называется. Монах тут жил когда-то, Легонт прозвищем. Безмолвия искал.

— Безмолвия здесь хватает, — вздохнула Гурвич.

— Немцам один путь: меж этими озерами, через гряду. А там известно что: бараньи лбы да камень с избу. Вот в них-то мы и должны позиции выбрать: основную и запасную, как тому устав учит. Выберем, поедим, отдохнем и будем ждать. Так, что ли, товарищи красноармейцы?

Примолкли товарищи красноармейцы. Задумались...

5

С роду Васков чувствовал себя старше, чем был. Не ворочай он в свои четырнадцать за иного женатика — по миру пошла бы семья. Тем более, голодно тогда было, неустройства много. А он единственным в семье мужиком остался — и кормильцем, и поильцем, и добытчиком. Летом крестьянствовал, зимой зверя бил и о том, что людям выходные положены, узнал к двадцати годам. Ну, потом армия: тоже не детский сад... В армии солидность уважают, а он армию уважал. Так и получилось, что и на данном этапе он опять же не помолодел, а, наоборот, старшиной стал. А старшина — старшина и есть: он всегда для бойцов старый. Положено так.

И Федот Евграфыч позабыл о своем возрасте. Одно знал: он старше рядовых и лейтенантов, равня всем майорам и всегда младше любого полковника. Дело тут не в субординации было — в мироощущении.

Поэтому и на девчат, которыми командовать пришлось, он смотрел словно бы из другого поколения. Словно был он участником гражданской войны и лично чай пил с Василием Ивановичем Чапаевым под городом Лбищенском. И не по выкладкам ума, не по зарoku какому-нибудь получилось так, а от естества, от сути его старшинской.

Мысли насчет того, что старше он самого себя, никогда Васкову в голову не приходили. И только ночью этой, тихой да светлой, шевельнулось что-то сомнительное.

Но тогда до ночи еще далеко было, еще позицию выбирали. Бойцы его скакали по камням, что козы, и он вдруг заскакал с ними, и у него ловко так все получалось, что он и сам удивился. А удивившись, нахмурился и сразу стал и ходить степенно и на валуны влезать в три приема.

Впрочем, не это главное было. Главное — отличную он позицию выискал. Глубокую, с укывистыми подходами, с обзором от леса до озера. Глухими бараньими лбами тянулась она вдоль озерного плеса, оставляя для прохода лишь узкую открытую полосу у берега. По этой полосе в случае чего немцам надо было часа три гряду огибать, а он мог напрямки отходить, через камни, и занимать запасную позицию задолго до подхода противника. Ну, это он так, для перестраховки выбрал, потому что с двумя-то диверсантами наверняка мог справиться здесь, у основной.

Выбрав позицию, Федот Евграфыч, как положено, произвел расчет времени. По расчету этому выходило, что немцев ждать оставалось еще часа четыре, и поэтому разрешил он своей команде сготовить горячее из расчета котелок на двоих. Кухарить Лиза Бричкина сама вызвалась: он ей в помощь двух пигалиц выделил и дал указание, чтоб костер был без дыма.

— Замечу дым, вылью в огонь все варево в тот же момент. Ясно говорю?

— Ясно,— упавшим голосом сказала Лиза.

— Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда у меня топор попросишь да подручных своих пошлешь сухостоя нарубить. И накажи им, чтобы тот рубили, который еще без лишая стоит. Чтоб звонкий был. Тогда дыма не будет, а будет один жар.

Приказ приказом, а для примера сам наломал им сушняка, сам развел костер. Потом, когда с Осяниной на местности занимался, все туда поглядывал, но дыма не было: только воздух дрожал над камнями, но про то знать надо было или глаз иметь наметанный, а у немцев, понятное дело, глаза такого быть не могло.

Пока там тройка эта кашеварила, Васков с младшим сержантом Осяниной и бойцом Комельковой всю гряду излазили. Определили места, сектора обстрела, ориентиры. Расстояние до ориентиров Федот Евграфыч лично парами шагов проверил и занес в стрелковую карточку, как того требовал устав.

К тому времени обедать кликнули. Расселись попарно, как шли, и коменданту котелок достался пополам с бойцом Гурвич. Она, конечно, заскромничала, ложкой уж слишком часто постукивать начала, самое варево ему сбрасывая. Старшина сказал неодобрительно:

— Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Я тебе, понимаешь ли, не дролюшка, и нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено.

— Я наворачиваю,— улыбнулась она.

— Вижу! Худющая, как весенний грач.

— У меня конституция такая.

— Конституция?... Вон у Бричкиной такая же конституция, как у нас у всех, а — в теле. Есть на что приятно поглядеть...

После обеда чайку напились: Федот Евграфыч еще на марше брусничного листа насобирав, его и заварили. Отдохнули полчаса, и старшина приказал построиться.

— Слушай боевой приказ! — торжественно начал он, хотя где-то внутри сомневался, что поступать правильно насчет этого приказа. — Противник силою до двух вооруженных до зубов фрицев движется в район Воль-озера с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве шести человек поручено держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен. Сосед слева — Воль-озеро, сосед справа — Легонтово озеро... — Старшина помолчал, откашлялся, расстроено подумал, что приказ, пожалуй, следовало бы сначала написать на бумажке, и продолжал: — Я решил: встретить врага на основной позиции и, не открывая огня, предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все ж таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца Четвертак. Боевые действия начинать только по моей команде. Своими заместителями назначаю младшего сержанта Осянину, а ежели и она выйдет из строя, то бойца Гурвич. Вопросы?

— А почему это меня в запасные? — обиженно спросила Четвертак.

— Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и выполняйте.

— Ты, Галка, наш резерв, — сказала Осянина.

— Вопросов нет, все ясноенько, — бодро отозвалась Комелькова.

— А ясноенько, так прошу пройти на позицию.

Он развел бойцов по местам, что загодя прикинул вместе с Осяниной, указал каждой ориентиры, еще раз лично предупредил, чтоб лежали, как мыши.

— Чтоб и не шевельнулся никто. Первым я с ними говорить буду.

— По-немецки? — съехидничала Гурвич.

— По-русски! — резко сказал старшина. — А вы переведете, ежели не поймут. Ясно говорю?

Все молчали.

— Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нету. И мамань тоже.

Насчет мамань он напрасно сказал, совсем напрасно. И рассердился поэтому ужасно: ведь всерьез же все будет, не на стрельбище!

— С немцем хорошо издала воевать. Пока вы свою трехлинейку передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично «огонь!» не скамандую. А то не погляжу, что женский род... — Тут Федот Евграфыч осекся, махнул рукой. — Все. Кончен инструктаж.

Выделил сектора наблюдения, распределил попарно, чтоб в четыре глаза смотрели. Сам повыше забрался, биноклем кромку леса обшаривал, пока слеза не прошибла.

Солнце уже совсем за вершины цеплялось, но камень, на котором лежал Васков, еще хранил накопленное тепло. Старшина отложил бинокль и закрыл глаза, чтоб отдохнули. И сразу камень этот теплый плавно качнулся и поплыл куда-то в тишину и покой, и Федот Евграфыч не успел сообразить, что дремлет. Вроде и ветерок чувствовал и слышал все шорохи, а казалось, что лежит на печи, что забыл дерюжку подстелить и надо бы об этом мамане сказать. И маманю увидел: шуструю, маленькую, что много уж лет спала урывками, кусочками какими-то, будто воруя их у крестьянской своей жизни. Увидел руки, худые до невозможности, с пальцами, которые давно уж не разгибались от сырости и работы. Увидел морщинистое, будто печеное лицо ее, слезы на жухлых щеках и понял, что доселе плачет маманя над помершим Игорьком, доселе виноватит себя и изводит. Хотел он ласковое ей сказать, да тут вдруг кто-то его за ногу тронул, и он почему-то решил, что это тятка, и испугался до самого сердца. Открыл глаза: Осянина на камень лезет и за ногу его трогает.

— Немцы?..

— Где?... испуганно откликнулась она.

— Фу, леший... Показалось.

Рита длинно посмотрела на него, улыбнулась:

— Подремлите, Федот Евграфыч. Я шинель вам принесу.

— Что ты, Осянина. Это так, сморило меня. Покурить надо.

Спустился вниз — под скалой Комелькова волосы распустила. Распустила — спины не видно. Стала гребенку вести — руки не хватает: перехватывать приходится. А волос густой, мягкий, медью отливают. И руки у нее плавно так ходят, неторопливо, покойно.

— Крашенные, поди? — спросил старшина и испугался, что съязвит сейчас и кончится вот это вот, простое.

— Свои. Растрепанная я?

— Это ничего.

— Вы не думайте, там у меня Лиза Бричкина наблюдает. Она глазастая.

— Ладно, ладно. Оправляйся...

О леший, опять это слово выскочило! Потому

ведь из устава оно. Навеки врубленное. Медведь ты, Васков, медведь глухоманный!..

Насупись старшина. Закурил, дымом укутался.

— Товарищ старшина, а вы женаты?

Глянул: сквозь рыжее пламя зеленый глаз проглядывает. Неимоверной силы глаз, как стопятидесятидвухмиллиметровая пушка-гаубица.

— Женатый, боец Комелькова.

Соврал, само собой. Но с такими оно к лучшему. Позиции определяет, кому где стоять.

— А где ваша жена?

— Известно где — дома.

— А дети есть?

— Дети?... вздохнул Федот Евграфыч. — Был мальчонка. Помер. Аккурат перед войной.

— Умер?..

Отбросила назад волосы, глянула — прямо в душу глянула. Прямо в душу. И ничего больше не сказала. Ни утешений, ни шуточек, ни пустых слов. Поэтому-то Васков и не удержался, вздохнул:

— Да, не уберегла маманя...

Сказал и пожалел. Так пожалел, что тут же вскочил, гимнастерку одернул, как на смотрю.

— Как там у тебя, Осянина?

— Никого, товарищ старшина.

— Продолжать наблюдение!

И пошел от бойца к бойцу.

Солнце давно уже село, но было светло, словно перед рассветом, и боец Гурвич читала за своим камнем книжку. Бубнила нараспев, точно молитву, и Федот Евграфыч послушал, прежде чем подойти:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забывать не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы
Кровавый отсвет в лицах есть...

— Кому читаешь-то? — спросил он, подойдя.

Переводчица смутилась (все ж таки наблюдать приказано было, наблюдать!), отложила книжку, хотела встать. Старшина махнул рукой.

— Кому, спрашиваю, читаешь?

— Никому. Себе.

— А чего ж в голос?

— Так ведь стихи.

— А-а... Васков не понял. Взял книжку — тонюсенькая, что наставление по гранатомету, — полистал. — Глаза портишь.

— Светло, товарищ старшина.

— Да я вообще... И вот что, ты на камнях-то не сиди. Они остынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть, а ты и не заметишь. Ты шинельку подстилай.

— Хорошо, товарищ старшина. Спасибо.

— А в голос все-таки не читай. В вечеру воздух сырой тут, плотный, а зори здесь тихие, и потому слышно аж за пять верст. И поглядывай. Поглядывай, боец Гурвич.

Ближе к озеру Бричкина располагалась, и еще издали Федот Евграфыч довольно заулыбался: вот толковая девка! Наломала лапнику елового, устелила ложбинку меж камней, шинелью прикрыла: бивалый человек. Даже поинтересовался:

— Откуда будешь, Бричкина?

— С Брянщины, товарищ старшина.

— В колхозе работала?

— Работала. А больше отцу помогала. Он лесник, на кордоне мы жили.

— То-то крикаешь хорошо.

Засмеялась. Любят они смеяться, не отвыкли еще.

— Ничего не заметила?

— Пока тихо.

— Ты все примечай, Бричкина. Кусты не качаются ли, птицы не шебуршатся ли. Человек ты лесной, все понимаешь.

— Понимаю.

— Вот-вот...

Потоптался старшина: вроде все сказал, вроде дал указания, вроде уходить надо, а ноги не шли. Уж больно девка своя-то была, лесная, уж больно устроилась уютно, уж больно теплом от нее тянуло, как от той русской родимой печки, что привиделась ему сегодня в дреме.

— Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привета, что ж ты дроле не поешь, аль твой дроля не пригож, — с ходу, казенным голосом отбарабанил комендант и пояснил: — Это припевка в наших краях такая.

— А у нас...

— После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем.

— Честное слово? — улыбнулась Лиза.

— Ну, сказал ведь.

Старшина вдруг залихватски подмигнул ей, сам же первым смутился, поправил фуражку и пошел. Бричкина крикнула вслед:

— Ну, глядите, товарищ старшина! Обещались!..

Ничего он ей не ответил, но улыбался всю дорогу, пока через гряды на запасную позицию не вышел. Тут он улыбку с лица смахнул и стал искать, куда запрягалась боец Четвертак.

А боец Четвертак сидела под скалой на мешках, укутавшись в шинель и сунув руки в рукава. Поднятый воротник прятал ее голову вместе с пилоткой, и между казенных оборотов уныло торчал красный хрящеватый носик.

— Ты чего скукожилась, товарищ боец?

— Холодно...

Протянул руку, а она отпрянула: решила сдурю, что хватать он ее пришел, что ли...

— Да не рвись ты, господи! Лоб давай. Ну?..

Высунула шею. Старшина лоб ее стиснул, прислушался: горит. Горит, лешак тебя задави совсем!

— Жар у тебя, товарищ боец. Чувешь?

Молчит. И глаза печальные, как у телушки: любого обвиноватят. Вот оно, болотце-то, товарищ старшина Васков. Вот он, сапог, потерянный бойцом, твоя поспешаловка и майский сиверко. Получи в натуре одного небоеспособного — обузу на весь отряд и лично на твою совесть.

Федот Евграфыч сидор свой вытащил, лямки сбросил, нырнул: в укромном местечке наиважнейший его энзе лежал — фляга со спиртом, семьсот пятьдесят грамм, под пробку. Плеснул в кружку.

— Так примешь или разбавить?

— А что это?

— Микстура. Ну, спирт, ну?

Замахала руками, отодвинулась:

— Ой, что вы, что вы...

— Приказываю принять!.. — Старшина подумал маленько, разбавил чуть водой. — Пей. И воды сразу.

— Нет, что вы...

— Пей, без разговору!..

— Ну, что вы в самом деле! У меня мама — медицинский работник...

— Нету мамы. Война есть, немцы есть, я есть, старшина Васков. А мамы нету. Мамы у тех будут, кто войну переживет. Ясно говорю?

Выпила, давась, со слезой пополам. Закашлялась. Федот Евграфыч ее ладонью по спине постукал слегка. Отошла. Слезы ладонями размазала, улыбнулась:

— Голова у меня... побежала!..

— Завтра догонишь.
Лапнику ей приволок. Устелил, шинелью своей покрыв:

— Отдыхай, товарищ боец.

— А вы как же без шинели-то?

— Я здоровый, не боись. Выздоровей только к завтраму. Очень тебя прошу, выздоровей.

Стихло кругом. И леса, и озера, и воздух самый — все на покой отошло, затаилось. За полночь перевернуло, завтрашний день начинался, а никаких немцев не было и в помине. Рита то и дело поглядывала на Васкова, а когда одни оказались, спросила:

— Может, зря сидим?

— Может, и зря, — вздохнул старшина. — Однако не думаю. Если ты фрицев тех с пеньками не спутала, конечно.

К этому времени комендант отменил позиционное бдение. Отправил бойцов на запасную позицию, приказал лапнику наломать и спать, пока не подымет. А сам здесь остался, на основной, и Осянина за ним увязалась.

То, что немцы не появлялись, сильно озадачивало Федота Евграфыча. Они ведь и вообще могли здесь не оказаться, могли в другом месте на дорогу нацелиться, могли какое-либо иное задание иметь, а совсем не то, которое он за них определил. Могли уже бед натворить уйму: стрелнуть кого из начальства или взорвать что важное. Поди тогда объясняй трибуналу, почему ты вместо того, чтобы лес прочесать да немцев прищучить, черт-те куда попер. Бойцов пожалел? Испугался в открытый бой их кинуть? Это не оправдание, если приказ не выполнен. Нет, не оправдание.

— Вы бы поспали пока, товарищ старшина. На зорьке разбужу...

Какой там, к лешему, сон! Даже холода комендант не чувствовал, даром что в одной гимнастерке...

— Погоди ты со сном, Осянина. Будет мне, понимаешь ли, вечный сон, ежели фрицев проворонил.

— А может, они спят сейчас, Федот Евграфыч?

— Спят?

— Ну да. Люди же они. Сами говорили, что Синюхина гряда — единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им...

— Погоди, Осянина, погоди! Полста верст, это точно, даже больше. Да по незнакомой местности. Да каждого куста пугаясь... А?.. Так мыслю?

— Так, товарищ старшина.

— А так, то могли они, свободное дело, и отдыхать завалиться. В буреломе где-нито. И спать будут до солнышка. А с солнышком... А?..

Рита улыбнулась. И опять посмотрела длинно, как бабы на ребятню смотрят.

— Вот и вы до солнышка отдохните. Я разбужу.

— Нету мне сна, товарищ Осянина... Маргарита, как по батюшке?

— Зовите просто Ритой, Федот Евграфыч.

— Закурим, товарищ Рита?

— Я не курю.

— Да, насчет того, что и они тоже люди, это я как-то недопонял. Правильно подсказала: отдыхать должны. И ты ступай, Рита. Ступай.

— Я не хочу спать.

— Ну, так приляг пока, ноги вытяни. Гудят с непривычки, небось?

— Ну, у меня как раз хорошая привычка, Федот Евграфыч, — улыбнулась Рита.

Но старшина все-таки уговорил ее, и Рита легла тут же, на будущей передовой, на лапнике, что Лиза



Бричкина для себя заготовила. Укрылась шинелью, думала передумать до зари — и заснула. Крепко, без снов, как провалилась. А проснулась, когда старшина за шинель потянул:

— Что?

— Тише! Слышишь?

Рита скинула шинель, одернула юбку, вскочила. Солнце уж оторвалось от горизонта, зарозовели скалы. Выглянула: над дальним лесом с криком перелетали птицы.

— Птицы кричат...

— Сороки!.. — тихо смеялся Федот Евграфыч. — Сороки-белобоки шебуршат, Рита. Значит, идет кто-то, беспокоит их. Не иначе — гости. Крой, Осянина, подымай бойцов. Мигом! Но скрытно, чтоб ни-ни!..

Рита убежала.

Старшина залег на свое место — впереди и повыше остальных. Проверил наган, дослал в винтовку патрон. Шарил биноклем по освещенной низким солнцем лесной опушке.

Сороки кружили над кустами, громко трещали, перещелкивались.

Подтянулись бойцы. Молча разошлись по местам, залегли.

Гурвич к нему пробралась:

— Здравствуйте, товарищ старшина.

— Здорово. Как там Четвертак эта?

— Спит. Будить не стали.

— Правильно решили. Будь рядом, для связи. Только не высывайся.

— Не высунусь, — сказала Гурвич.

Сороки подлетали все ближе и ближе, кое-где уже вздрагивали верхушки кустов, и Федоту Евграфычу показалось даже, будто хрустнул валежник под тяжелой ногой идущего. А потом вроде замерло все, и сороки вроде как-то успокоились, но старшина знал, что на самой опушке, в кустах, сидят люди. Сидят, вглядываясь в озерные берега, в лес на той стороне, в гряды, через которую лежал их путь и где укрывался сейчас и он сам и его румяные со сна бойцы.

Наступила та таинственная минута, когда одно событие переходит в другое, когда причина сменяется следствием, когда рождается случай. В обычной жизни человек никогда не замечает ее, но на войне, где нервы напряжены до предела, где на первый жизненный срез снова выходит первобытный смысл существования — уцелеть, — минута эта делается реальной, физически ощутимой и длинной до бесконечности.

— Ну, идите же, идите, идите... — беззвучно шептал Федот Евграфыч.

Колыхнулись далекие кусты, и на опушку осторожно выскользнули двое. Они были в пятнистых серо-зеленых накидках, но солнце светило им прямо в лица, и комендант отчетливо видел каждое их движение.

Держа пальцы на спусках автоматов, пригнувшись, легким, кошачьим шагом они двинулись к озеру...

Но Васков уже не глядел на них. Не глядел, потому что кусты за их спинами продолжали колыхаться, и оттуда, из глубины, все выходили и выходили серо-зеленые фигуры с автоматами наизготовку.

— Три... пять... восемь... десять... — шепотом считала Гурвич. — Двенадцать... четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... Шестнадцать, товарищ старшина...

Замерли кусты.

С далеким криком отлетали сороки.

Шестнадцать немцев, озираясь, медленно шли берегом к Синюхиной гряде...

Всю свою жизнь Федот Евграфыч выполнял приказания. Выполнял буквально, быстро и с удовольствием, ибо именно в этом пунктуальном исполнении чужой воли видел весь смысл своего существования. Как исполнителя, его ценило начальство, а большего от него и не требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма: вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено и чем заканчивается.

А немцы медленно и неуклонно шли берегом Воль-озера, шли прямо на него и на его бойцов, что лежали сейчас за камнями, прижав, как велено, тугие щеки к холодным прикладам винтовок.

— Шестнадцать, товарищ старшина, — почти беззвучно повторила Гурвич.

— Вижу, — сказал он, не оборачиваясь. — Давай в цепь, Гурвич. Осяниной скажешь, чтоб немедленно бойцов на запасную позицию отводила. Скрытно чтоб, скрытно!.. Стой, куда ты?.. Бричкину ко мне пришлешь. Ползком, товарищ переводчик. Теперь, покуда что, ползком жить будем.

Гурвич уползла, старательно виляя между камней. Комендант хотел что-то придумать, что-то немедленно решить, но в голове было отчаянно пусто, и только одно годами воспитанное желание назойливо тревожило: доложить. Сейчас же, сию секунду доложить по команде, что обстановка изменилась, что своими силами ему уже не заслонить ни Кировской железной дороги, ни канала имени товарища Сталина.

Отряд его начал отход: где-то брякнула винтовка, где-то сорвался камень. Звуки эти физически отдавались в нем, и, хотя немцы были еще далеко и ничего не могли слышать, Федот Евграфыч переживал самый настоящий страх. Эх, пулемет бы сейчас с полным диском и толковым вторым номером! Даже бы и не дегтарь — автоматов бы тройку да к ним мужиков посноровистей... Но не было у него ни пулеметов, ни мужиков, а была пятерка смешливых девчат да по пять обойм на винтовку. Оттого-то и обливало потом старшина Васков в то росистое майское утро...

— Товарищ старшина... Товарищ старшина...

Комендант рукавом старательно вытер пот, только потом обернулся. Глянул в близкие, растопыренные донельза глаза, подмигнул:

— Веселей дыши, Бричкина. Это ж даже лучше, что шестнадцать их. Поняла?

Почему шестнадцать диверсантов лучше, чем два, этого старшина объяснять не стал, но Лиза согласно покивала ему и неуверенно улыбнулась.

— Дорогу назад хорошо помнишь?

— Ага, товарищ старшина.

— Гляди: левее фрицев сосняк тянется. Пройдешь его, опушкой держи вдоль озера.

— Там, где вы хворост рубили?

— Молодец, девка! Оттуда иди к протоке. Напрямик, там не собьешься.

— Да знаю я, товарищ...

— Погоди, Лизавета, не гоношись. Главное дело — болото, поняла? Бродок узкий, влево-вправо — трясина. Ориентир — береза. От березы прямо на две сосны, что на острове.

— Ага.

— Там отдышись малость, сразу не лезь. С островка целься на обгорелый пенек, с которого



я в топь сигал. Точно на него цель: он хорошо виден.

— Ага.

— Доложишь Кирияновой обстановку. Мы тут фрицев окружим маленько, но долго не продержимся, сама понимаешь.

— Ага.

— Винтовку, мешок, скатку — все оставь. Налегке дуй.

— Значит, мне сейчас идти?

— Слегу перед болотом не позабудь.

— Ага. Побежала я.

— Дуй, Лизавета батьковна.

Лиза молча покивала, отодвинулась. Прислонила винтовку к камню, стала патронташ с ремня снимать, все время ожидаючи поглядывая на старшину. Но Васков смотрел на немцев и так и не увидел ее растревоженных глаз. Лиза осторожно вздохнула, затащила потуже ремень и, пригнувшись, побежала к сосняку, чуть привлекая ноги, как это делают все женщины на свете.

Диверсанты были совсем уже близко — можно разглядеть лица, — а Федот Евграфыч, распластавшись, все еще лежал на камнях. Кося глазом на немцев, он смотрел на сосновый лесок, что начинался от гряды и тянулся к опушке. Дважды там качнулись вершинки, но качнулись легко, словно птицей задетые, и он подумал, что правильно сделал, послав именно Лизу Бричкину.

Убедившись, что диверсанты не заметили связного, он поставил винтовку на предохранитель и спустился за камень. Здесь он подхватил оставленное Лизой оружие и напрямик побежал назад, шестым чувством угадывая, куда ставить ногу, чтобы не было слышно топота.

— Товарищ старшина!..

Бросились, как воробьи, на коноплю. Даже Четвертак из-под шинелей вынырнула. Непорядок, конечно: следовало прикрикнуть, скомандовать, Осяниной указать, что караула не выставила. Он уж и рот раскрыл и брови покомандирски надвинул, а как в глаза их напряженные заглянул, так и сказал, словно в бригадном стане:

— Плохо, девчата, дело.

Хотел на камень сесть, да Гурвич вдруг задержала, быстро шинельку свою подсунула. Он кивнул ей благодарно, сел, кисет достал. Они рядом перед ним устроились, молча следили, как он сигарку сворачивает. Васков глянул на Четвертак:

— Ну, как ты?

— Ничего. — Улыбка у нее не получилась: губы не слушались. — Я спала хорошо.

— Стало быть, шестнадцать их. — Старшина старался говорить спокойно и поэтому каждое слово ощущал. — Шестнадцать автоматов — это сила. В лоб такую не остановишь. И не остановить тоже нельзя, а будут они здесь часа через три, так надо считать. Осянина с Комельковой переглянулись, Гурвич юбку на коленке разглаживала, а Четвертак на него во все глаза смотрела, не моргая. Комендант сейчас все замечал, все видел и слышал, хоть и просто курил, сигарку свою разглядывая.

— Бричкину я в расположение послал, — сказал он погодя. — На помощь можно к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам не продержаться. Ни на какой позиции не продержаться, потому как у них шестнадцать автоматов. — Что же, смотреть, как они мимо пройдут? — тихо спросила Осянина.

— Нельзя их тут пропустить, через грядку, — ска-

зал Федот Евграфыч.—Надо с пути сбить. Закружить надо, в обход, вокруг Легонтова озера направить. А как? Просто боем—не удержимся. Вот и выкладывайте соображения.

Больше всего старшина боялся, что поймут они его растерянность. Учуют, нутром своим таинственным учуют и—все тогда. Кончилось превосходство его, кончилась командирская воля, а с нею и доверие к нему. Поэтому он нарочно спокойно говорил, просто, негромко, поэтому и курил так, будто на завалинку к соседям присел. А сам думал, думал, ворочал тяжелыми мозгами, обсасывал все возможности.

Для начала он бойцам позавтракать велел. Они возмутились было, но он одернул и сало из мешка вытащил. Неизвестно, что на них больше действовало—сало или команда, а только жевать начали бодро. А Федот Евграфыч пожалел, что сгоряча Лизу Бричкину натошак в такую даль отправил.

После завтрака комендант старательно побрился холодной водой. Бритва у него еще отцовская была, самокалочка—мечта, а не бритва,—но все-таки в двух местах порезался. Залепил порезы газетой, да Комелькова из мешка пузырек с одеколоном достала и сама ему эти порезы прижгла.

Все-то он делал спокойно, неторопливо, но время шло, и мысли в его голове шарахались, как мальки на мелководье. Никан он собрать их не мог и все жалел, что нельзя топор взять да порубить дровишек: глядишь, и улеглось бы тогда, ненужное бы отселялось, и нашел бы он выход из этого положения.

Конечно, не для боя немцы сюда забрались, это он понимал ясно. Шли они глухоманью, осторожно, далеко разбросав дозоры. Для чего? А для того, чтобы противник их обнаружить не мог, чтобы в перестрелку не ввязываться, чтоб вот так же тихо, незаметно просачиваться сквозь возможные заслоны к основной своей цели. Значит, надо, чтобы они его увидели, а он их вроде не заметил?.. Тогда бы, возможное дело, отошли, в другом месте попробовали бы пробраться. А другое место—вокруг Легонтова озера: сутки ходьбы...

Однако кого он им показать может? Четырех девчонок да себя самолично? Ну, задержатся, ну, разведку вышлют, ну, поизучают их, пока не поймут, что в заслоне этом ровно пятеро. А потом?.. Потом, товарищ старшина Васков, никуда они отходить не станут. Окружат и без выстрела, в пять ножей снимут весь твой отряд. Не дураки же они, в самом-то деле, чтоб от четырех девчат да старшины с нагапом в леса шарахаться...

Все эти соображения Федот Евграфыч бойцам выложил—Осяниной, Комельковой и Гурвич; Четвертак, отоспавшись, сама в караул вызвалась. Выложил без утайки и добавил:

—Ежели за час-полтора другого не придумаем, будет, как сказал. Готовьтесь.

Готовьтесь... А что готовьтесь-то? На тот свет разве! Так для этого времени чем меньше, тем лучше...

Ну, он, однако, готовился. Взял из сидора гранату, наган вычистил, финку на камне наточил. Вот и вся подготовка: у девчат и этого занятия не было. Шушукались чего-то, спорили в сторонке. Потом к нему подошли:

—Товарищ старшина, а если бы они лесорубов встретили?

Не понял Васков: каких лесорубов? Где?.. Война ведь, леса пустые стоят, сами видели. Они объяснять взялись, и—сообразил комендант. Сообразил: часть—какая б ни была—границы расположения имеет. Точные границы: и соседи известны, и посты

на всех углах. А лесорубы—в лесу они. Побригадно разбрестись могут: ищи их там, в глухоте. Станут их немцы искать? Ну, вряд ли: опасно это. Чуть где проглядишь—и все, засекут, сообщат, куда надо. Потому никогда неизвестно, сколько душ лес валит, где они, какая у них связь.

—Ну, девчата, орлы вы у меня!..

Позади запасной позиции речушка протекала, мелкая, но шумливая. За речушкой прямо от воды шел лес—непролазная темь осинников, бурелома, еловых чащоб. В двух шагах здесь человеческий глаз утыкался в живую зеленую стену подлеска, и никакие цейссовские бинокли не могли пробиться сквозь нее, уследить за ее изменчивостью, определить ее глубину. Вот это-то место и имел в соображении Федот Евграфыч, принимая к исполнению девичий план.

В самом центре, чтоб немцы прямо в них уперлись, он Четвертак и Гурвич определил. Велел костры палить подымнее, кричать да аукаться, чтоб лес звенел. А из-за кустов не слишком все же высываться: ну, мелькать там, показываться, но не очень. И сапоги велел снять. Сапоги, пилюшки, ремни—все, что форму определяет.

Судя по местности, немцы могли попробовать обойти эти костры только левее: справа каменные утесы прямо в речку глядели, здесь прохода удобного не было, но чтобы уверенность появилась, он туда Осянину поставил. С тем же приказом: мелькать, шуметь да костер палить. А тот, левый фланг на себя и Комелькову взял: другого прикрытия не было. Тем более, что оттуда весь плес речной проглядывался: в случае, если бы фрицы все ж таки надумали переправляться, он бы двух-трех отсюда свалить успел, чтобы девчата уйти смогли, разбежаться.

Времени мало оставалось, и Васков, усилив караул еще на одного человека, с Осяниной да Комельковой спешно занялся подготовкой. Пока они для костров хворост таскали, он, не таясь (пусть слышат, пусть готовы будут!), топором деревья подрубал. Выбирал повыше, пошумнее, дорубал так, чтоб от толчка свалить, и бежал к следующему. Пот застилал глаза, нестерпимо жалил комар, но старшина, задыхаясь, рубил и рубил, пока с передового секретаря Гурвич не прибежала. Замахала с той стороны:

—Идут, товарищ старшина!..

—По местам,—сказал Федот Евграфыч.—По местам, девоньки, только очень вас прошу: поостерегитесь. За деревьями мелькайте, не за кустами. И орите позвончее...

Разбежались его бойцы. Только Гурвич да Четвертак еще на том берегу копошились: Четвертак все никак бинты развязать не могла, которыми чунно ее прикручивали. Старшина подошел:

—Погоди перенесу.

—Ну, что вы, товарищ...

—Погоди, сказал. Вода—лед, а у тебя хворь еще держится.

Примерился, схватил красноармейца в охапку (пусть: пуда три, не боле). Она рукой за шею обняла, вдруг краснеть с чего-то надумала. Залилась аж до шеи:

—Как с маленькой вы...

Хотел старшина пошутить с ней—ведь не чурбак нес все-таки,—а сказал совсем другое:

—По сырому не особо бегай там.

Вода почти до колен доставала—холодная, до рези. Впереди Гурвич брела, юбку подобрала. Мелькала худыми ногами, для равновесия размахивая сапогами. Оглянулась:

—Ну и водичка—бр-р!..

И юбку сразу опустила, подолом по воде волоча.

Комендант крикнул сердито:

— Подол подбери!

Остановилась, улыбаясь:

— Не из устава команда, Федот Евграфыч...

Ничего, еще шутят! Это Васкову понравилось, и на свой фланг, где Комелькова уже костры поджигала, он в хорошем настроении прибыл. Заорал, что было сил:

— Давай, девки, нажимай веселей!..

Издалека Осянина отозвалась:

— Эге-гей!.. Иван Иванович, гони подводу!..

Кричали, валили подрубленные деревья, аукались, жгли костры. Старшина тоже иногда покрикивал, чтоб и мужской голос слышался, но чаще, затаившись, сидел в ивняке, зорко всматриваясь в кусты на той стороне.

Долго ничего там уловить было невозможно. Уже и бойцы его кричать устали, уже все деревья, что подрублены были, Осянина с Комельковой свалили, уже и солнце над лесом выстало и речку высветило, а кусты с той стороны стояли недвижимо и молчаливо.

— Может, ушли?.. — шепнула над ухом Комелькова.

Леший их ведает, может, и ушли. Васков не стереотруба, мог и не заметить, как к берегу они подползали. Они ведь тоже птицы стреляные: в такое дело не пошлют кого ни попадя...

Это он подумал так. А сказал коротко:

— Годи.

И снова в кусты эти, до последнего прутика изученные, глазами впился. Так глядел, что слеза прошибла. Моргнул, протер ладонью и — вздрогнул: почти напротив, через речку, ольшаник затрепетал, раздался, и в прогалине ясно обозначилось заросшее ржавой щетиной молодое лицо.

Федот Евграфыч руку назад протянул, нащупал круглое колено, сжал. Комелькова уха его губами коснулась:

— Вижу...

Еще один мелькнул, пониже. Двое выходили к берегу, без ранцев, налегке. Выставив автоматы, обшаривали глазами голосистый противоположный берег.

Екнуло сердце Васкова: разведка! Значит, решились все-таки прощупать чащу, посчитать лесорубов, найти меж ними щелочку. К черту все летело, весь замысел, все крики, дымы и подрубленные деревья: немцы не испугались. Сейчас переправятся, юркнут в кусты, змеями выползут на девичьи голоса, на костры и шум. Пересчитают по пальцам, разберутся и... и поймут, что обнаружены...

Федот Евграфыч плавно, ветку боясь шевельнуть, достал наган. Уж этих-то двух он верняком прищучит, еще в воде, на подходе. Конечно, шархнут по нему тогда, из всех оставшихся автоматов шархнут, но девчата, возможное дело, уйти успеют, затаиться. Только бы Комелькову отослать...

Он оглянулся: стоя сзади его на коленях, Евгения зло рвала через голову гимнастерку. Швырнула на землю, вскочила, не таясь.

— Стой!.. — шепнул старшина.

— Рая, Вера, идите купаться!.. — звонко крикнула Женька и напрямик, ломая кусты, пошла к воде.

Федот Евграфыч зачем-то схватил ее гимнастерку, зачем-то прижал к груди. А пышная Комелькова уже вышла на каменистый, залитый солнцем плес.

Дрогнули ветки напротив, скрывая серо-зеленые фигуры. Евгения неторопливо, подрагивая коленками, стянула юбку, рубашку и, поглаживая руками черные трусики, вдруг высоким, звенящим голосом завела-закричала:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

Ах, хороша она была сейчас, чудо, как хороша! Высокая, белотелая, гибкая — в десяти метрах от автоматов. Оборвала песню, шагнула в воду и, вскрикивая, шумно и весело начала плескаться. Брызги сверкали на солнце, скатываясь по упругому, теплому телу, а комендант, не дыша, с ужасом ждал очереди. Вот сейчас, сейчас ударит — и переломится Женька, всплеснет руками и...

Молчали кусты.

— Девчата, айда купаться!.. — звонко и радостно кричала Комелькова, танцуя в воде. — Ивана зовите!.. Эй, Ванюша, где ты?..

Федот Евграфыч отбросил ее гимнастерку, сунул в кобуру наган, на четвереньках метнулся вглубь, в чащобу. Схватил топор, отбежав, яростно рубанул сосну.

— Эге-гей, иду!.. — заорал он и снова ударил по стволу. — Идем сейчас, погодил!.. Ого-го-го!..

Сроду он так быстро деревьев не сваливал — и откуда сила взялась. Нажал плечом, положил на сухой ельник, чтоб шуму больше было. Задыхаясь, метнулся назад, на то место, откуда наблюдал, выглянул.

Женька уже на берегу стояла — боком к нему и к немцам. Спокойно натягивала на себя легкую рубашку, и шелк лип, впечатывался в тело и намокал, становясь почти прозрачным под косыми лучами бьющего из-за леса солнца. Она, конечно, знала об этом, знала и потому неторопливо, плавно изгибалась, разбрасывая по плечам волосы. И опять Васкова до черного ужаса обожгло ожидание очереди, что брызнет сейчас из-за кустов, ударит, изуродует, сломает это буйно-молодое тело.

Сверкнув запретно белым, Женька стащила из-под рубашки мокрые трусики, отжала их и аккуратно разложила на камнях. Села рядом, вытянув ноги, подставила солнцу до земли распущенные волосы.

А тот берег молчал. Молчал, и кусты нигде не шевелились, и Васков, как ни всматривался, не мог понять, там ли еще немцы или уже отошли. Гадать было некогда, и комендант, наскоро скинув гимнастерку, сунул в карман галифе наган и, громко ломая валежник, пошел на берег.

— Ты где тут?..

Хотел весело крикнуть — не вышло, горло сдавило. Вылез из кустов на открытое место — сердце чуть ребра не выламывало от страха. Подошел к Комельковой:

— Из района звонили: сейчас машина придет. Так что одевайся. Хватит загорать.

Проорал для той стороны, а что Комелькова ответила — не расслышал. Он весь туда был сейчас нацелен, на немцев, в кусты. Так был нацелен, что, казалось ему, шевельнись листок, и он услышит, уловит, успеет вот за этот валун упасть и наган выдернуть. Но пока вроде ничего там не шевелилось.

Женька потянула его за руку, он рядом сел и вдруг увидел, что она улыбается, а глаза, настежь распахнутые, ужасом полны, как слезами. И ужас этот живой и тяжелый, как ртуть.

— Уходи отсюда, Комелькова, — изо всех сил улыбаясь, сказал Васков.

Она что-то еще говорила, даже смеялась, но Федот Евграфыч ничего не мог слышать. Увести ее, увести за кусты надо было немедленно, потому что не мог он больше каждое мгновение считать, когда ее убьют. Но, чтоб легко все было, чтоб фрицы проклятые недоперли, что игра все это, что морочат им головы их немецкие, надо было что-то придумать.

— Добром не хочешь — народу тебя покажу! — заорал вдруг старшина и сгреб с камней ее одежку. — А ну догоняй!..

Женька завизжала, как положено, вскочила, за ним бросилась. Васков сперва по бережку побегал, от нее уворачиваясь, а потом за кусты скользнул и остановился, только когда в лес углубился.

— Одевайся! И хватит с огнем играть! Хватит!..

Сунул, отвернувшись, юбку, а она не взяла, и рука висела в воздухе. Ругнуться хотел, оглянулся — а боец Комелькова, закрывши лицо, скорчившись, сидела на земле, и круглые плечи ее ходуном ходили под узкими ленточками рубашки...

Это потом они хохотали. Потом — когда узнали, что немцы ушли. Хохотали над охрипшей Осяниной, над Гурвич, что юбку прожгла, над чумазой Четвертак, над Женькой, как она фрицев обманывала, над ним, старшиной Васковым. До слез, до изнеможения хохотали, и он смеялся, забыв вдруг, что старшина по званию, а помня только, что провели немцев за нос, лихо провели, озорно, и что теперь немцам этим в страхе и тревоге вокруг Легонтова озера сутки топтать.

— Ну, все теперь!.. — говорил Федот Евграфыч в перерывах между их весельями. — Теперь все, девчата, теперь им деваться некуда, ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.

— Прибежит, — силпо сказала Осянина, и все опять принялись хохотать, потому что уж больно смешно сел у нее голос. — Она быстрая.

— Вот и давайте выпьем по маленькой за это дело, — сказал комендант и достал заветную фляжку. — Выпьем, девчата, за ее быстрые ножки да за ваши светлые головы!..

Тут все захлопотали, полотенце на камнях расстелили, стали резать хлеб, сало, рыбу разделывать. И пока они занимались этими бабскими делами, старшина, как положено, сидел в отдалении, курил, ждал, когда к столу покличут, и устало думал, что самое страшное позади...

Лиза Бричкина все девятнадцать лет прожила в ощущении завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья, и тотчас же выматывающий кашель матери отодвигал это свидание с праздником на завтрашний день. Не убивал, не перечеркивал — отодвигал.

— Помрет у нас мать-то, — строго предупреждал отец.

Пять лет изо дня в день он приветствовал ее этими словами. Лиза шла во двор задавать корм поросятам, овцам, старому казенному мерину. Умывала, переодевала и кормила с ложечки мать. Готовила обед, прибирала в доме, обходила отцовские квадрат и бегала в ближнее село за хлебом. Подружки ее давно кончили школу: кто уехал учиться, кто уже вышел замуж, а Лиза кормила, мыла, скребла и опять кормила. И ждала завтрашнего дня.

Завтрашний этот день никогда не связывался в ее сознании со смертью матери. Она уже с трудом помнила ее здоровой, но в саму Лизу было вложено столько человеческих жизней, что представлению о смерти просто не хватало места.

В отличие от смерти, о которой с такой нудной строгостью напоминал отец, жизнь была понятием реальным и ощутимым. Она скрывалась где-то в сияющем завтра, она пока обходила стороной этот затерянный в лесах кордон, но Лиза знала твердо, что жизнь эта существует, что она предназначена для нее и что миновать ее невозможно, как невозможно не дожидаться завтрашнего дня. А ждать Лиза умела.

С четырнадцати лет она начала учиться этому великому женскому искусству. Вырванная из школы болезнью матери, ждала сначала возвращения в класс, потом — свидания с подружками, потом — редких свободных вечеров на пятачке возле клуба, потом...

Потом случилось так, что ей вдруг нечего оказалось ждать. Подружки ее либо еще учились, либо уже работали и жили вдали от нее, в своих интересах, которые со временем она перестала ощущать. Парни, с которыми когда-то так легко и просто можно было потолкаться и посмеяться в клубе перед сеансом, теперь стали чужими и насмешливыми. Лиза начала дичиться, отмалчиваться, обходить стороной веселые компании, а потом и вовсе перестала ходить в клуб.

Так уходило ее детство, а вместе с ним и старые друзья. А новых не было, потому что никто, кроме дремучих лесников, не заворачивал на керосиновые отсветы их окошек. И Лизе было горько и страшно, ибо она не знала, что приходит на смену детству. В смятении и тоске прошла глухая зима, а весной отец привез на подводе охотника.

— Пожить у нас хочет, — сказал он дочери. — А только где же у нас? У нас мать помирает.

— Сеновал найдется, наверно?

— Холодно еще, — несмело сказала Лиза.

— Тулуп дадите?..

Отец с гостем долго пили на кухне водку. За дощатой стеной надсадно бухала мать. Лиза бегала в погреб за капустой, жарила яичницу и слушала. Говорил больше отец. Стаканами вливал в себя водку, пальцами хватал из миски капусту, пихал в волосатый рот и, давась, говорил и говорил:

— Ты погоди, погоди, мил человек. Жизнь, как лес, прореживать надо, чистить, так выходит? Погоди. Сухостой там, больные стволы, подлесок. Так?

— Чистить надо, — подтвердил гость. — Не прореживать, а чистить. Дурную траву с поля вон.

— Так, — сказал отец. — Так, погоди. Ежели лес, то мы, лесники, понимаем. Тут мы понимаем, ежели это лес. А ежели это жизнь? Ежели теплое, бегаешь да пишшишь?

— Волк, например...

— Волк?.. — взерошился отец. — Волк тебе мешает? А почему мешает? Почему?

— А потому, что у него зубы, — улыбнулся охотник.

— А он, что, виноват, что волком родился? Виноват?.. Не-ет, мил человек, это мы его обвиновали. Сами обвиновали, а его не спросили. По совести это?

— Ну, знаешь, Петрович, волк и совесть — понятия несовместимые.

— Несовместимые?.. Ну, а волк и заяц — совместимые? Погоди ржать, погоди, мил человек!.. Ладно, приказано считать волков врагами населения. Ладно. Взялись мы за это всенародно и всенародно же перестреляли всех волков во всей России. Всех!.. Что будет?

— Как что будет? — улыбался охотник. — Дичи много будет...

— Мало!..— рывнул отец и со всего маху хватил волосатым кулаком по гулкой столешнице.— Мало, понятно тебе? Бегать им надо, зверью-то, чтоб в здоровье существовать. Бегать, мил человек, понятно? А чтоб бегать, страх нужен, страх, что тебя сожрать могут. Вот. Конечно, можно жизнь в один цвет пустить. Можно. Только зачем? Для спокойствия? Так ведь зайцы зажируют, обленятся, работать перестанут без волков-то. Что тогда? Своих волков выращивать начнем или за границей покупать для страху?

— А тебя, часом, не раскулачили, Иван Петрович?— вдруг тихо спросил гость.

— Чего меня кулачить?— вздохнул лесник.— Прибытку у меня — два кулака да жена с дочкой. Невыгодно им меня кулачить.

— Им?..

— Ну, нам!..— Отец плеснул в стаканы, чокнулся.— Я не волк, мил человек, я заяц.— Хватанул остаток из стакана, громыхнул столом, поднимаясь, костматый, как медведь. В дверях остановился.

— Спать пойду. А тебя дочка проводит. Укажет там.

Лиза тихо сидела в углу. Охотник был городским, белоzubым, еще молодым, и это смущало. Неотрывно рассматривая его, она вовремя отводила глаза, страшась столкнуться с ним взглядом, боялась, что он заговорит, а она не сможет ответить или ответит глупо.

— Неосторожный у вас отец.

— Он красный партизан,— торопливо сказала она.

— Это мы знаем,— улыбнулся гость и встал.— Ну, ведите меня спать, Лиза.

На сеновале было темно, как в погребе. Лиза осталась у входа, подумала, забрала у гостя тяжелый казенный тулуп и комковатую подушку.

— Пойдите здесь.

По шаткой лестнице поднялась наверх, ощупью разворошила сено, бросила в изголовье подушку. Можно было спускаться, звать гостя, но она, настороженно прислушиваясь, все еще ползала в темноте по мягкому прошлогоднему селу, взбивая его и раскладывая поудобнее. В жизни она бы никогда не призналась себе, что ждет скрипа ступенек под его ногами, хочет суетливой и бестолковой встречи в темноте, его дыхания, шепота, даже грубости. Нет, никаких грешных мыслей не приходило ей в голову: просто хотелось, чтобы вдруг в полную мощь забилось сердце, чтобы пообещалось что-то туманное, жаркое, помаячило бы и — исчезло.

Но никто не скрипел лестницей, и Лиза спустилась. Гость курил у входа, и она сердито сказала, чтобы он не вздумал закурить на сеновале.

— Я знаю,— сказал он и затоптал окурки.— Спокойной ночи.

И ушел спать. А Лиза побежала в дом убирать посуду. И пока убирала ее, тщательно, куда медленнее обычного вытирая каждую тарелку, опять со страхом и надеждой ожидала стука в окошко. И опять никто не постучал. Лиза задула лампу и пошла к себе, слушая привычный кашель матери и тяжелый храп выпившего отца.

Каждое утро гость исчезал из дома и появлялся только поздним вечером, голодный и усталый. Лиза кормила его, он ел торопливо, но без жадности, и это нравилось ей. Поев, он сразу же шел на сеновал, а Лиза оставалась, потому что стелить постель больше не требовалось.

— Что это вы ничего с охоты не приносите?— сказала она, набравшись храбрости.

— Не везет,— улыбнулся он.

— Исхудали только,— не глядя, продолжала она.— Разве ж это отдых?

— Это прекрасный отдых, Лиза,— вздохнул гость.— К сожалению, и он кончился: завтра уезжаю.

— Завтра?..— упавшим голосом переспросила Лиза.

— Да, утром. Так ничего и не подстрелил. Смешно, правда?

— Смешно,— печально сказала она.

Больше они не говорили, но как только он ушел, Лиза кое-как прибрала на кухне и юркнула во двор. Долго бродила вокруг сарая, слушала, как вздыхает и покашливает гость, грызла пальцы, а потом тихо отворила дверь и быстро, боясь передумать, полезла на сеновал.

— Кто?..— тихо спросил он.

— Я,— сказала Лиза.— Может, постель поправить...

— Не надо,— перебил он.— Иди спать.

Лиза молчала, сидя где-то совсем рядом с ним в душной темноте сеновала. Он слышал ее из всех сил сдерживаемое дыхание.

— Что, скучно?

— Скучно,— еле слышно сказала она.

— Глупости не стоит делать даже со скуки.

Лизе казалось, что он улыбается. Злилась, ненавидела его и себя и сидела. Она не знала, зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что была одинока и привыкла к этому, и теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожалели. Чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове, утешали и — в этом она себе не признавалась, — может быть, даже поцеловали. Но не могла же она сказать, что последний раз ее целовала мама пять лет назад и что этот поцелуй нужен ей сейчас как залог того прекрасного завтрашнего дня, ради которого она жила на земле.

— Иди спать,— сказал он.— Я устал, мне рано есть.

И зевнул. Длинно, равнодушно, с завыванием. Лиза, кусая губы, метнулась вниз, больно ударилась коленкой и вылетела во двор, с силой хлопнув дверью.

Утром она слышала, как отец запрягал казенного Дымка, как гость прощался с матерью, как скрипели ворота. Лежала, прикидываясь спящей, а из-под закрытых век ползли слезы.

В обед вернулся подвыпивший отец. Со стуком высыпал из шапки на стол колющие куски синеватого колотого сахара, сказал с удивлением:

— А он птица, гость-то наш! Сахару велел нам отпустить, во как. А мы его в сельпе-то своем уж год не видали. Целых три кило сахару!..

Потом он замолчал, долго хлопал себя по карманам и из-под кармана достал измятый клочок бумаги:

— Держи.

«Тебе надо учиться, Лиза. В лесу совсем одичаешь. В августе приезжай: устрой в техникум с общежитием».

Подпись и адрес. И больше ничего — даже адреса.

Через месяц умерла мать. Всегда угрюмый, отец теперь совсем озверел, пил втемную, а Лиза по-прежнему ждала завтрашнего дня, покрепче запирая на ночь двери от отцовских дружков. Но отныне этот завтрашний день прочно был связан с августом, и, слушая пьяные крики за стеной, Лиза в тысячный раз перечитывала затертую до дыр записку.

Но началась война, и вместо города Лиза попала на оборонные работы. Все лето рыла окопы и противотанковые укрепления, которые немцы аккуратно обходили, попадала в окружения, выбиралась из них и снова рыла, с каждым разом все дальше и дальше откатываясь на восток. Поздней осенью она оказалась где-то за Валдаем, прилепилась к зенитной части и поэтому бежала сейчас на 171-й разъезд...

Васков понравился Лизе сразу: когда стоял перед их строем, растерянно моргая еще сонными глазами. Понравилось его твердое немногословие, крестьянская неторопливость и та особая, мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия неизблемости семейного очага. А случилось так, что вышучивать коменданта стали все: это считалось хорошим тоном. Лиза не участвовала в подобных разговорах, но когда всезнающая Кирьянова со смехом объявила, что старшина не устоял перед роскошными прелестями квартирной хозяйки, Лиза вдруг вспыхнула:

— Неправда это!..

— Влюбилась! — торжествуя ахнула Кирьянова. — Втюрилась наша Бричкина, девочки! В душку военного втюрилась!

— Бедная Лиза! — громко вздохнула Гурвич.

Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес.

Плакала на пенечке, пока ее не отыскала Рита Осянина.

— Ну, чего ты, дурушка? Проще жить надо. Проще, понимаешь?

Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина — от службы, и никогда бы им и глазами-то не столкнуться, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес, как на крыльях.

— После споем с тобой, Лизавета, — сказал старшина. — Вот выполним боевой приказ и споем...

Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего темного чувства, что нет-нет да и шевелилось в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда у болота вспомнила о слегах, возвращаться уже не хотелось. Здесь достаточно было бурелома, и Лиза быстро выбрала подходящую жердь.

Перед тем как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла с себя юбку.

Привязав ее к вершине шеста, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень, подтянув голубые казенные рейтузы, шагнула в болото.

На этот раз никто не шел впереди, расталкивая грязь.

Жидкое месиво цеплялось за бедра, волоклось за ней, и Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед. Шаг за шагом, цепенея от ледяной воды и не спуская глаз с двух сосенок на острове.

Но не грязь, не холод, не живая, дышащая под ногами почва были ей страшны. Страшным было одиночество, мертвая, загробная тишина, повисшая над бурным болотом. Лиза ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не пропадал, а с каждым шагом все больше и больше скапливался в ней, и она дрожала беспомощно и жалко, боясь оглянуться, сделать лишнее движение или хотя бы громко вздохнуть.

Она плохо помнила, как выбралась на островок. Вползла на коленях, ткнулась ничком в прелую траву и заплакала. Всхлипывала, размазывала слезы по

толстым щекам, вздрагивая от холода, одиночества и омерзительного страха.

Вскочила — слезы еще текли. Шмыгая носом, прошла островок, прицелилась, как идти дальше, и, не отдохнув, не собравшись с силами, полезла в топь.

Поначалу было неглубоко, и Лиза успела успокоиться и даже повеселела. Последний кусок оставался, и, каким бы трудным он ни был, дальше шла сухая, твердая, родная земля с травой и деревьями. И Лиза уже думала, где бы ей помыться, вспоминала все лужи да бочажки и прикидывала, стоит ли полоскать одежду или уж дотерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустяк оставался, дорогу она хорошо запомнила, со всеми поворотами, и смело рассчитывала за час-полтора добежать до своих.

Идти труднее стало, топь до колен добралась, но теперь с каждым шагом приближался тот берег, и Лиза уже отчетливо, до трещинок видела пенек, с которого старшина тогда в болото сиганул. Смешно сиганул, неуклюже: чуть на ногах устоял.

И Лиза опять стала думать о Васкове и даже заулыбалась. Споят они, обязательно даже споят, когда выполнит комендант боевой приказ и вернется опять на разъезд. Только схитрить придется, схитрить и выманить его вечером в лес. А там... Там посмотрим, кто сильнее: она или квартирная хозяйка, у которой всего-то достоинств, что под одной крышей со старшиной...

Огромный бурый пузырь гулко вспучился перед ней. Это было так неожиданно, так быстро и так близко от нее, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно рванулась в сторону. Всего на шаг в сторону, а ноги сразу потеряли опору, повисли где-то в зыбкой пустоте, и топь мягкими тисками сдавила бедра. Давно копившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу, острой болью отдавшись в сердце. Пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкарабкаться на тропу, Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза лицом вниз упала в холодную жидкую грязь.

Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащило вниз, руки без толку гребли топь, и Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом: шаг, полшага от нее, но эти полшага уже невозможно было сделать.

— Помогите!.. На помощь!.. Помогите!..

Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве ольшаника, падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к безоблачному майскому небу.

Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплевывала грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила.

Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела его свет — теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее...

8

Пока хохотали да закусывали (понятное дело, сухим пайком), противник далеко оторвался. Драпанул, проще говоря, от шумного берега, от звонких баб да невидимых мужиков, укрылся в лесах, затаялся и — как не было.

Это Васкову не нравилось. Опыт он имел — не только боевой, а еще и охотничий — и понимал, что

врага да медведя с глаза спускать не годится. Леший его ведает, что он там еще напридумает, куда рванется, где оставит секреты. Тут же выходило прямо, как на плохой охоте, когда не поймешь, кто за кем охотится: медведь за тобой или ты за медведем. И чтобы такого не случилось, старшина девчат на берегу оставил, а сам с Осяниной произвел поиск.

— Держи за мной, Маргарита. Я стал—ты стала, я лег—ты легла. С немцем в хованки играть—почти как со смертью, так что в уши вся влезь. В уши да в глаза.

Сам он впереди держался. От куста к кусту, от скалы к скале. До боли вперед всматривался, ухом к земле прикинул, воздух нюхал—весь был взведенный, как граната. Высмотрев все и до звона наслушавшись, чуть рукой шевелил—и Осянина тут же к нему подбиралась. Молча вдвоем слушали, не хрустнет ли где валежник, не заблажит ли дура-со-рока, и опять старшина, пригнувшись, тенью скользил вперед, в следующее укрытие, а Рита оставалась на месте, слушая за двоих.

Так прошли они гряды, выбрались на основную позицию, а потом—в соснячок, по которому Бричкина утром, немцев обойдя, к лесу вышла. Все было пока тихо и мирно, словно не существовало в природе никаких диверсантов, но Федот Евграфыч не позволял думать об этом ни себе, ни младшему сержанту.

За соснячком лежал мшистый, весь в валунах пологий берег Легонтова озера. Бор начинался отступая от него, на взгорбке, и к нему вел корявый березняк да редкие хороводы приземистых елок.

Здесь старшина задержался: биноклем кустарник обшаривал, слушал, а потом, привстав, долго нюхал слабый ветерок, что сползал по откосу к озерной глади. Рита, не шевелясь, покорно лежала рядом, с досадой чувствуя, как медленно намокает во мху одежда.

— Чуешь?—тихо спросил Васков и посмеялся словно про себя.—Подвела немца культура: кофею захотел.

— Почему так думаете?

— Дымком тянет, значит, завтракать уселись. Только все ли шестнадцать?..

Подумав, он аккуратно прислонил к сосенке винтовку, подтянул ремень ту же некуда, присел:

— Подсчитать их придется, Маргарита, не отбилась ли кто. Слушай вот что. Ежели стрельба поднимется—уходи немедленно, в ту же секунду уходи. Забейрай девчат и топайте напрямиком на восток, аж до канала. Там насчет немца доложишь, хотя, мыслю я, знать они об этом уже будут, потому как Лизавета Бричкина вот-вот должна до разъезда добежать. Все поняла?

— Нет,—сказала Рита.— А вы?

— Ты это, Осянина, брось,—строго сказал старшина.—Мы тут не по грибы-ягоды ходим. Уж ежели обнаружат меня, стало быть, живым не выпустят, в том не сомневайся. И потому сразу же уходи. Ясен приказ?

Рита промолчала.

— Что отвечать должна, Осянина?

— Ясен—должна отвечать.

Старшина усмехнулся и, пригнувшись, побежал к ближайшему валуну.

Рита все время смотрела ему вслед, но так и не заметила, когда он исчез: словно растворился вдруг среди серых замшелых валунов. Юбка и рукава гимнастерки промокли насквозь; она отползла назад и села на камень, вслушиваясь в мирный шум леса.

Ждала она почти спокойно, твердо веря, что ничего не может случиться. Все ее воспитание было на-

правлено к тому, чтобы ждать только счастливых концов: сомнение в удаче для ее поколения равнялось почти предательству. Ей случалось, конечно, ощущать и страх и неуверенность, но внутреннее убеждение в благополучном исходе было всегда сильнее реальных обстоятельств.

Но как Рита ни прислушивалась, как ни ожидала, Федот Евграфыч появился неожиданно и беззвучно: чуть дрогнули сосновые лапы. Молча взял винтовку, кивнул ей, нырнул в чащу. Остановился уже в скалах.

— Плохой ты боец, товарищ Осянина. Никудышный боец.

Говорил он не зло, а озабоченно, и Рита улыбнулась:

— Почему?

— Растопырилась на пеньке, что семейная тетерка. А приказано было лежать.

— Мокро там очень, Федот Евграфыч.

— Мокро...—недовольно повторил старшина.—Твое счастье, что кофей они пьют, а то бы враз концы навели.

— Значит, угадали?..

— Я не ворожея, Осянина. Десять человек пищу принимают—видал их. Двое—в секрете: тоже видал. Остальные, полагать надо, службу с других концов несут. Устроились вроде надолго: носки у костра сушат. Так что самое время нам расположение менять. Я тут по камням полазаю, огляжусь, а ты, Маргарита, дуй за бойцами. И скрытно—сюда. И чтоб смеху ни-ни!

— Я понимаю.

— Да, там я махорку свою сушить выложил: захвати, будь другом. И вещички, само собой.

— Захвачу, Федот Евграфыч.

Пока Осянина за бойцами бегала, Васков все соседние и дальние камни на животе излазал. Высмотрел, выслушал, вынюхал все, но ни немцев, ни немецкого духу нигде не чуялось, и старшина маленько повеселел. Ведь уже по всем расчетам выходило, что Лиза Бричкина вот-вот до разъезда доберется, доложит, и заплетется вокруг диверсантов невидимая сеть облавы. К вечеру—ну, самое позднее к рассвету!—подойдет подмога, он поставит ее на след и... и ответит своих девчат за скалы. Подальше, чтоб мата не слышали, потому как без рукопашной тут не обойдется.

И опять он своих бойцов издаля определил. Вроде и не шумели, не брякали, не шептались, а—поди ж ты!—комендант за добрую версту точно знал, что идут. То ли пыхтели они здорово от усердия, то ли одеколоном вперед их несло, а только Федот Евграфыч втихаря порадовался, что нет у диверсантов настоящего охотника-промысловика.

Курить до тоски хотелось, потому как третий, поди, час лазал он по скалам да по рошицам, от соблазну кисет на валуне оставив, у девчат. Встретил их, предупредил, чтоб помалкивали, и про кисет спросил. А Осянина только руками всплеснула:

— Забыла! Федот Евграфыч, миленький, забыла!..

Крякнул старшина: ах ты, женский пол беспамятный, леший тебя растрясил! Был бы мужской—чего уж проще: загнул бы Васков в семь накатов с перборами и отправил бы растяпу назад, за кисетом. А тут улыбку пришлось пристраивать:

— Ну, ничего, ладно уж. Махорка имеется... Сидор-то мой не забыли случаем?

Сидор был на месте, и не махорки коменданту было жалко, а кисета, потому что кисет тот был подарок, и на нем вышито было: «ДОРОГОМУ ЗА-

ЩИТНИКУ РОДИНЫ». И не успел он расстройству своего скрыть, как Гурвич назад бросился:

— Я принесу! Я знаю, где он лежит!..

— Куда, боец Гурвич?.. Товарищ переводчик!..

Какое там: только сапоги затопали...

А топали сапоги потому, что Соня Гурвич доселе никогда их не носила и по неопытности получила в каптерке на два номера больше. Когда сапоги по ноге, они не топают, а стучат: это любой кадровик знает. Но Сониная семья была штатской, сапог там вообще не водилось, и даже Сонин папа не знал, за какие уши их надо тянуть...

На дверях их маленького домика за Немгой висела медная дощечка: «ДОКТОР МЕДИЦИНЫ СОЛОМОН АРОНОВИЧ ГУРВИЧ». И хотя папа был простым участковым врачом, а совсем не доктором медицины, дощечку не снимали, так как ее подарил дедушка и сам привинтил к дверям. Привинтил, потому что его сын стал образованным человеком, и об этом теперь должен был знать весь город Минск.

А еще висела возле дверей ручка от звонка, и ее надо было все время дергать, чтобы звонок звонил. И сквозь все Сонино детство прошел этот тревожный дребезг: днем и ночью, зимой и летом. Папа брал чехоманчик и в любую погоду шел пешком, потому что извозчик стоил дорого. А вернувшись, тихо рассказывал о туберкулезах, ангинах и малярии, и бабушка поила его вишневой наливкой.

У них была очень дружная и очень большая семья: дети, племянники, бабушка, незамужняя мамина сестра, еще какая-то дальняя родственница, и в доме не было кровати, на которой спал бы один человек, а кровать, на которой спали трое, была.

Еще в университете Соня донашивала платья, перешитые из платьев сестер: серые и глухие, как кольчуги. И долго не замечала их тяжести, потому что вместо танцев бегала в читалку и во МХАТ, если удавалось достать билет на галерку. А заметила, сообразив, что очкастый сосед по лекциям совсем не случайно пропадает вместе с ней в читальном зале. Это было уже спустя год, летом. А через пять дней после их единственного и незабываемого вечера в парке культуры и отдыха имени Горького сосед подарил ей тоненькую книжечку Блока и ушел добровольцем на фронт.

Да, Соня и в университете носила платья, перешитые из платьев сестер. Длинные и тяжелые, как кольчуги...

Недолго, правда, носила: всего год. А потом надела форму. И сапоги — на два номера больше.

В части ее почти не знали: она была незаметной и исполнительницей и попала в зенитчицы случайно. Фронт сидел в глухой обороне, переводчиков хватало, а зенитчик — нет. Вот ее и откомандировали вместе с Женькой Комельковой после того боя с мессерами. И, наверно, поэтому голос ее услышал один старшина:

— Вроде, Гурвич крикнула?..

Прислушались: тишина висела над грядой, только чуть посвистывал ветер.

— Нет, — сказала Рита. — Показалось.

Далекий, слабый, как вздох, голос больше не слышался, но Васков, напрягшись, все ловил и ловил его, медленно каменея лицом. Станный выкрик этот словно застрял в нем, словно еще звучал, и Федот Евграфыч, холодея, уже догадывался, уже знал, что он означает. Глянул стеклянно, сказал чужим голосом:

— Комелькова, за мной. Остальным здесь ждать.

Васков тенью скользил впереди, и Женька, задыхаясь, еле поспевала за ним. Правда, Федот Евгра-

фыч налегке шел, а она — с винтовкой да еще в юбке, которая на бегу всегда оказывается уже, чем следует. Но, главное, Женька столько сил отдавала тишине, что на остальное почти ничего и не оставалось.

А старшина весь заостренным был, на тот крик заостренным. Единственный, почти беззвучный крик, который уловил он вдруг, узнал и пснял. Слышал он такие крики, с которыми все отлетает, все растворяется и потому звенит. Внутри звенит, в тебе самом, и звона этого последнего ты уж никогда не забудешь. Словно замораживается он и холодит, сосет, тянет за сердце, и потому так спешил сейчас комендант.

И потому остановился, словно на стену налетел, вдруг остановился, и Женька с разбегу сволом его под лопатку клюнула. А он и не оглянулся даже, а только присел и руку на землю положил — рядом со следом.

Разлапистый след был, с рубчиками.

— Немцы?.. — жарко и беззвучнодохнула Женька.

Старшина не ответил. Глядел, слушал, принюхивался, а кулак стиснул, что косточки побелели. Женька вперед глянула: на осыпи темнели брызги. Васков осторожно поднял камешек: черная густая капля свернулась на нем, как живая. Женька дернула головой, хотела закричать и — задохнулась.

— Неаккуратно, — тихо сказал старшина и повторил: — Неаккуратно...

Бережно положил камешек тот, оглянулся, прикидывая, кто куда шел да кто где стоял. И шагнул за скалу.

В расселине, скорчившись, лежала Гурвич, и из-под прожженной юбки косо торчали грубые кирзовые сапоги. Васков потянул ее за ремень, приподнял чуть, чтоб под мышки подхватить, оттащил и положил на спину.

Соня тускло смотрела в небо полузакрытыми глазами, и гимнастерка на груди была густо залита кровью. Федот Евграфыч осторожно растегнул ее, приник ухом. Слушал, долго слушал, а Женька беззвучно тряслась сзади, кусая кулаки. Потом он выпрямился и бережно расправил на девичьей груди липкую от крови рубашку: две узких дырочки виднелись на ней. Одна в грудь шла, в левую грудь. Вторая — пониже — в сердце.

— Вот ты почему крикнула, — вздохнул старшина. — Ты потому крикнуть успела, что удар у него на мужика был поставлен. Не дошел он до сердца с первого раза: грудь помешала...

Запахнул ворот, пуговики застегнул — все, до единой. Руки ей сложил, хотел глаза закрыть — не удалось, только веки зря кровью измарал, поднялся:

— Полежи тут покуда, Сонечка.

Судорожно всхлипнула сзади Женька. Старшина свинцово полоснул из-под бровей:

— Некогда трястись, Комелькова.

И, пригнувшись, быстро пошел вперед, чутьем угадывая слабый рубчатый отпечаток...

Ждали немцы Соню или она случайно на них напоролась? Бежала без опаски по дважды пройденному пути, торопясь притащить ему, старшине Васкову, махорку ту, трижды клятую. Бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть, почему пронзительной, яркой болью рванулось вдруг сердце... Нет, успела. И понять успела и крикнуть, потому

что не достал нож до сердца с первого удара: грудь помешала. Высокая грудь была, тугая.

А может, не так все было? Может, ждали они ее? Может, перехитрили диверсанты и девчат неопытных, и его, сверхсрочника, орден имеющего за разведку? Может, не он на них охотится, а они на него? Может, уж высмотрели все, подсчитали, прикинули, когда кто кого кончать будет?

Но не страх — ярость вела сейчас Васкова. Зубами скрипел от той черной, ослепительной ярости и только одного желал: догнать. Догнать, а там разберемся...

— Ты у меня не крикнешь... Нет, не крикнешь...

Слабый след кое-где еще печатался на валунах, и Федот Евграфыч уже точно знал, что немцев было двое. И опять не мог простить себе, опять казнил себя и маялся, что недоглядел за ними, что понадеялся, будто бродят они по ту сторону костра, а не по эту, и сгубил переводчика своего, с которым вчера еще котелок пополам делил. И кричала в нем эта маета и билась, и только одним успокоиться он сейчас мог — погоней. И думать ни о чем другом не хотел и на Комелькову не оглядывался.

Женька знала, куда и зачем они бегут. Знала, хоть старшина ничего и не сказал, знала, а страха не было. Все в ней вдруг запеклось и потому не болело и не кровоточило. Словно ждало разрешения, но разрешения этого Женька не давала, а потому ничто теперь не отвлекало ее. Такое уже было однажды, когда эстонка ее прятала. Летом сорок первого, почти год назад...

Васков поднял руку, и она сразу остановилась, всеми силами сдерживая дыхание.

— Отдышись, — еле слышно сказал Федот Евграфыч. — Тут где-то они. Ближе где-то.

Женька грузно оперлась на винтовку, рванула ворот. Хотелось вздохнуть громко, всей грудью, а приходилось цедить выдох, как сквозь сито, и сердце от этого никак не хотело успокаиваться.

— Вон они, — сказал старшина.

Он смотрел в узкую щель меж камней. Женька глянула: в редком березняке, что шел от них к лесу, чуть шевелились гибкие вершинки.

— Мимо пройдут, — не оглядываясь, продолжал Васков. — Здесь будь. Как я утицей крикну, шумни чем-либо. Ну, камнем ударь или прикладом, чтоб на тебя они глянули. И обратно замри. Поняла ли?

— Поняла, — сказала Женька.

— Значит, как утицей крикну. Не раньше.

Он глубоко, сильно вздохнул и прыгнул через валун в березняк — наперерез.

Главное дело, надо было успеть с солнца забежать, чтоб в глазах у них рябило. И второе главное дело — на спину прыгнуть. Обрушиться, сбить, ударить и крикнуть не дать. Чтоб как в воду...

Он хорошее место выбрал — ни обойти его немцы не могли, ни заметить. А себя открывали, потому что перед его секретом проплешина в березняке шла. Конечно, он стрелять отсюда спокойно мог, без промаха, но не уверен был, что выстрелы до основной группы не докатятся, а до поры шум поднимать было невыгодно. Поэтому он сразу нагнал вновь в кобурку сунул, клапан застегнул, чтоб случаем не выпал, и проверил, легко ли ходит в ножнах финский трофейный нож.

И тут фрицы впервые открыто показались в редком березняке, в весенних, еще кружевных листьях. Как и ожидал Федот Евграфыч, их было двое, и впереди шел дюжий детина с автоматом на правом плече. Самое время было их из нагана достать, самое время, но старшина опять отогнал эту мысль, но не потому уже, что выстрелов боялся, а потому,

что Соню вспомнил и не мог теперь легкой смертью казнить. Око за око, нож за нож — только так сейчас дело решалось, только так.

Немцы свободно шли, без опаски: задний даже галету грыз, облизывая губы. Старшина определил ширину их шага, просчитал, прикинул, когда с ним поравняются, вынул финку и, когда первый подошел на добрый прыжок, крикнул два раза коротко и часто, как утка. Немцы враз вскинули головы, но тут Комелькова грохнула позади их прикладом о скалу, они резко повернулись на шум, и Васков прыгнул.

Он точно рассчитал прыжок: и мгновение точно выбрано было, и расстояние отмеряно — тик в тик. Упал немцу на спину, сжав коленями локти. И не успел фриц тот ни вздохнуть, ни вздрогнуть, как старшина рванул его левой рукой за лоб, задирая голову назад, и полоснул отточенным лезвием по натянутому горлу.

Именно так все задумано было: как барана, чтоб крикнуть не мог, чтоб хрипел только, кровью исходя. И когда он валиться начал, комендант уже спрыгнул с него и метнулся ко второму.

Всего мгновение прошло, одно мгновение: второй немец еще спиной стоял, еще поворачивался. Но то ли сил у Васкова на новый прыжок не хватило, то ли промешкал он, а только не достал этого немца ножом. Автомат вышиб, да при этом и собственную финку выронил: в крови она вся была, скользкая, как мыло.

Глупо получилось: вместо боя — драка, кулачки какие-то. Фриц хоть и нормального роста, а цепкий попался, жилистый: никак его Васков согнуть не мог, под себя подмять. Барахтались на мху меж камней и березок, но немец помалкивал покуда: то ли одолеть старшину рассчитывал, то ли просто силы берег.

И опять Федот Евграфыч промашку дал: хотел немца половчее перехватить, а тот выскользнул умудрился и свой нож из ножен выхватил. И так Васков этого ножа убоился, столько сил и внимания ему отдал, что немец в конце концов оседлал его, сдвигая ножищами и теперь тянулся и тянулся к горлу тусклым кинжальным жалом. Покуда старшина еще держал его руку, покуда оборонялся, но фриц-то сверху давил, всей тяжестью, и долго так продолжаться не могло. Про это и комендант знал и немец — даром, что ли, глаза сузил да ртом щерился.

И обмяк вдруг, как мешок, обмяк, и Федот Евграфыч сперва не понял, не расслышал первого удара. А второй расслышал: глухой, как по гнилому стволу. Кровью теплой в лицо брызнуло, и немец стал запрокидываться, перекошенным ртом хватая воздух. Старшина отбросил его, вырвал нож и коротко ударил в сердце.

Только тогда оглянулся: боец Комелькова стояла перед ним, держа винтовку за ствол, как дубину. И приклад той винтовки был в крови.

— Молодец, Комелькова... — в три приема сказал старшина. — Благодарность тебе... объявляю...

Хотел встать и не смог. Так и сидел на земле, словно рыба, глотая воздух. Только на того, первого, оглянулся: здоров был немец, как бык, здоров. Еще дергался, еще хрипел, еще кровью толчками билась из него. А второй уже не шевелился: скорчился перед смертью да так и застыл. Дело было сделано.

— Ну вот, Женя, — тихо сказал Васков. — На двоих, значит, меньше их стало...

Женька вдруг бросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как пьяная. Упала там на колени: тошнило ее, выворачивало, и она, всхлиывая, все кого-то звала — маму, что ли...

Старшина встал. Колени еще дрожали, и сосало

под ложечкой, но время терять было уже опасно. Он не трогал Комелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда ломает человека, преступая через естественный, как жизнь, закон «не убий». Тут привыкнуть надо, душой зачерстветь, и не такие бойцы, как Евгения, а здоровенные мужики тяжело и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой голове прикладом била, баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству заложена. И это тоже Федот Евграфыч немцам в строку вписал, потому что преступили они законы человеческие, и тем самым сами вне всяких законов оказались. И потому только гадливость он испытывал, обыскивая еще теплые тела, только гадливость: будто падал ворочал...

И нашел то, что искал, — в кармане у рослого, что только-только богу душу отдал, хрипеть перестав, кiset. Его, личный, старшины Васкова, кiset с вышивкой поверх: «ДОРОГОМУ ЗАЩИТНИКУ РОДИНЫ». Сжал в кулаке, стиснул: не донесла Соня... Отшвырнул сапогом волосатую руку, путь его перекрестившую, подошел к Женке. Она все еще на коленях в кустах стояла, дзясь и всхлипывая.

— Уйдите... — сказала.

А он ладонь сжатую к лицу ее поднес и растопырил, кiset показывая. Женка сразу голову подняла: узнала.

— Вставай, Женя.

Помог встать. Назад было повел, на полянку, а Женка шаг сделала, остановилась и головой затрясла.

— Брось, — сказал он. — Попереживала и будет. Тут одно понять надо: не люди это. Не люди, товарищ боец, не человеки, не звери даже — фашисты. Вот и гляди соответственно.

Но глядеть Женка не могла, и тут Федот Евграфыч не настаивал. Забрал автоматы, обоймы запасные, хотел флаги взять, да покосился на Комелькову и раздумал. Шут с ними: прибыток не велик, а ей все легче, меньше напоминаний.

Прятать убитых Васков не стал: все равно кровить всю с поляны не соскребешь. Да и смысла не было: день к вечеру склонялся, вскоре подмога должна была подойти. Времени у немцев мало оставалось, и старшина хотел, чтоб время это они в беспокойстве прожили. Пусть помечутся, пусть погадают, кто дозор их порешил, пусть от каждого шороха, от каждой тени пошарахаются.

У первого же бочажка (благо тут их — что конопущек у рыжей девчоночки) старшина умылся, кое-как рваный ворот на гимнастерке приладил, сказал Евгении:

— Может, ополоснешься?

Помотала головой: нет, не разговоришь ее сейчас, не отвлечешь... Вдохнул старшина:

— Наших сама найдешь или проводить?

— Найду.

— Ступай. И — к Соне приходите. Туда, значит... Может, боишься одна-то?

— Нет.

— С опаской иди все же. Понимать должна.

— Понимаю.

— Ну, ступай. Не мешкайте там, переживать опосля будем.

Разошлись. Федот Евграфыч вслед ей глядел, пока не скрылась: плохо шла. Себя слушала, не противника. Эх, вояки...

Соня тускло глядела в небо полузакрытыми глазами. Старшина опять попытался прикрыть их, и опять у него ничего не вышло. Тогда он расстегнул кармашки на ее гимнастерке и достал оттуда ком-

сомольский билет, справку о курсах переводчиков, два письма и фотографию. На фотографии той множество гражданских было, а кто в центре — не разобрал Васков: здесь аккурат нож ударил. А Соня нашел: сбоку стояла, в платишке с длинными рукавами и широким воротом: тонкая шея торчала из того ворота, как из хомута. Он припомнил вчерашний разговор, печаль Сонину и с горечью подумал, что даже написать некуда о героической смерти рядового бойца Софьи Соломоновны Гурвич. Потом послышал ее платочек, стер с мертвых век кровь и накрыл тем платочком лицо. А документы к себе в карман положил. В левый — рядом с партбилетом. Сел подле и закурил из трижды памятного кисета.

Ярость его прошла, да и боль приутихла: только печалью был полон, по самое горло полон, аж першило там. Теперь подумать можно было, взвесить все, по полочкам разложить и понять, как действовать дальше.

Он не жалел, что прищучил дозорных и тем открыл себя. Сейчас время на него работало, сейчас по всем линиям о них и диверсантах доклады шли, и бойцы, поди, уже инструктаж получали, как с фрицами этими проще покончить. Три, ну, пусть пять даже часов оставалось драться вчетвером против четырнадцати, а это выдержать можно было. Тем более что сбили они немцев с прямого курса и вокруг Легонтова озера наладили. А вокруг озера сутки топать.

Команда его подошла со всеми пожитками: двое ушло — в разные, правда, концы, — а барахлишко их осталось, и отряд уж обростать вещичками начал, как та запасливая семья. Галя Четвертак закричала было, затряслась, Соню увидев, но Осянина крикнула зло:

— Без истерик тут!..

И Галя смолкла. Стала на колени возле Сониной головы, тихо плакала. А Рита только дышала тяжело, а глаза сухие были, как уголья.

— Ну, обряжайте, — сказал старшина.

Взял топорик (эх, лопатки не захватил на случай такой!), ушел в камни место для могилки искать. Понскал, потыркался — скалы одни, не подступившись. Правда, яму нашел. Веток нарубил, устелил дно, вернулся.

— Отличница была, — сказала Осянина. — Круглая отличница — и в школе и в университете.

— Да, — сказал старшина. — Стихи читала.

А про себя подумал: не это главное. А главное, что могла нарожать Соня детишек, а те бы — внуков и правнуков, а теперь не будет этой ничотки. Маленькой ничотки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом...

— Берите, — сказал.

Комелькова с Осяниной за плечи взяли, а Четвертак — за ноги. Понесли, оступаясь и раскачиваясь, и Четвертак все ногой загребала. Неуклюжей ногой, обутый в заново сотворенную чуню. А Федот Евграфыч с Сониной шинелью шел следом.

— Стойте, — сказал он у ямы. — Кладите тут покуда.

Положили у края: голова плохо легла, все набок заваливалась, и Комелькова подсунула сбоку пилотку. А Федот Евграфыч, подумав и похмурившись (ох, не хотел он делать этого, не хотел!), буркнул Осяниной, не глядя:

— За ноги ее поддержи.

— Зачем?

— Держи, раз велят! Да не здесь — за колени!.. И сапог с ноги Сониной сдернул.

— Зачем?... — крикнула Осянина. — Не смейте!..

— А затем, что боец босой, вот зачем.
— Нет, нет, нет!... — затряслась Четвертак.
— Не в цапки же играем, девоньки, — вздохнул старшина. — О живых думать нужно: на войне только этот закон. Держи, Осянина. Приказываю, держи.
Сдернул второй сапог, кинул Гале Четвертак:
— Обувайся. И без переживаний давай: немцы ждать не будут.

Спустился в яму, принял Соню, в шинель обернул, уложил. Стал камнями закладывать, что девчата подавали. Работали молча, споро. Вырос бугорок: поверх старшина пилотку положил, камнем ее придавив. А Комелькова — веточку зеленую.

— На карте отметим, — сказал. — После войны памятник ей.

Сориентировал карту, крестик нанес. Глянул, а Четвертак по-прежнему в чуне стоит.

— Боец Четвертак, в чем дело? Почему не обута? Затряслась Четвертак:

— Нет!.. Нет, нет, нет! Нельзя так! Вредно! У меня мама — медицинский работник...

— Хватит врать! — крикнула вдруг Осянина. — Хватит! Нет у тебя мамы! И не было! Подкидывай ты, и нечего тут выдумывать!..

Заплакала Галя. Горько, обиженно — словно игрушку у ребенка сломали...

10

— Ну зачем же так, ну зачем? — укоризненно сказала Женька и обняла Четвертак. — Нам без злобы надо, а то остервенеет. Как немцы, остервенеет...

Смолчала Осянина...

А Галя действительно была подкидывшем, и даже фамилию ей в детском доме дали: Четвертак. Потому что меньше всех ростом вышла, в четверть меньше.

Детдом размещался в бывшем монастыре: с гулких сводов сыпались жирные пепельные мокрицы. Плохо замазанные бородатые лица глядели со стен многочисленных церквей, спешно переделанных под бытовые помещения, а в братских кельях было холодно, как в погребках.

В десять лет Галя стала знаменитой, устроив скандал, которого монастырь не знал со дня основания. Отправившись ночью по своим детским делам, она подняла весь дом отчаянным визгом. Выдернутые из постелей воспитатели нашли ее на полу в полутемном коридоре, и Галя очень толково объяснила, что бородатый старик хотел утащить ее в подземелье.

Создалось «Дело о нападении...», осложненное тем, что в округе не было ни одного бородача. Галю терпеливо расспрашивали приезжие следователи и доморощенные Шерлоки Холмсы, и случай от разговора к разговору обростал все новыми подробностями. И только старый завхоз, с которым Галя очень дружила, потому что именно он придумал ей такую звучную фамилию, сумел докопаться, что все это выдумка.

Галю долго дразнили и презирали, а она взяла и сочинила сказку. Правда, сказка была очень похожа на мальчика-с-пальчика, но, во-первых, вместо мальчика оказалась девочка, а во-вторых, там участвовали бородатые старики и мрачные подземелья.

Слава прошла, как только сказка всем надоела. Галя не стала сочинять новую, но по детдому поползли слухи о зарытых монахами сокровищах. Кладовое доиспытательство с эпидемической силой охватило вос-

питанников, и в короткий срок монастырский двор превратился в песчаный карьер. Не успело руководство справиться с этой напастью, как из подвалов стали появляться призраки в развевающихся белых одеждах. Призраков видели многие, и малыши категорически отказались выходить по ночам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дело приняло размеры бедствия, и воспитатели вынуждены были объявить тайную охоту за ведьмами. И первой же ведьмой, схваченной с поличным в казенной простыне, оказалась Галя Четвертак.

После этого Галя примолкла. Прилежно занималась, возилась с октябрятами и даже согласилась петь в хоре, хотя всю жизнь мечтала о сольных партиях, длинных платьях и всеобщем поклонении. Тут ее настигла первая любовь, а так как она привыкла все окружать таинственностью, то вскоре весь дом был наводнен записками, письмами, слезами и свиданиями. Зачинщице опять дали нагоняй и постарались тут же от нее избавиться, спровадив в библиотечный техникум на повышенную стипендию.

Война застала Галю на третьем курсе, и в первый же понедельник вся их группа в полном составе явилась в военкомат. Группу взяли, а Галю нет, потому что она не подходила под армейские стандарты ни ростом, ни возрастом. Но Галя, не сдаваясь, упорно штурмовала военкома и так беззастенчиво врала, что ошалевший от бессонницы подполковник окончательно запутался и в порядке исключения направил Галю в зенитчицы.

Осуществленная мечта всегда лишена романтики. Реальный мир оказался суровым и жестоким и требовал не героического порыва, а неукоснительного исполнения воинских уставов. Праздничная новизна улетучилась быстро, а будни были совсем непохожи на Галины представления о фронте. Галя растерялась, скисла и тайком плакала по ночам. Но тут появилась Женька, и мир снова завертелся, быстро и радостно.

А не врать Галя просто не могла. Собственно, это была не ложь, а желания, выдаваемые за действительность. И появилась на свет мама — медицинский работник, в существование которой Галя почти поверила сама...

Времени потеряли много, и Васков сильно нервничал. Важно было поскорее уйти отсюда, нащупать немцев, сесть им на хвост, а потом пусть дозорных находят. Тогда уже старшина над ними висеть будет, а не наоборот. Висеть, дергать, направлять, куда надо, и... ждать. Ждать, когда наши подойдут, когда облава начнется.

Но... провозились: Соню хоронили, Четвертак угоривали, — а время шло. Федот Евграфыч пока автоматы проверил, винтовки лишние — Бричкиной и Гурвич — в укромное место упрятал, патроны поровну поделил. Спросил у Осяниной:

— Из автомата стреляла когда?

— Из нашего только.

— Ну, держи фрицевский. Освоишь, мыслю я. — Показал ей, как управляться, предупредил: — Длинно не стреляй: вверх задирает. Коротко жаль.

Тронулись, слава тебе... Он впереди шел, Четвертак с Комельковой — основным ядром, а Осянина замыкала. Сторожко шли, без шума, да опять, видно, к себе больше прислушивались, потому что чудом на немцев не нарвались. Чудом, как в сказке.

Счастье, что старшина первым их увидел. Как из-за валуна сунулся, так и увидел: двое в упор на него, а следом остальные. И опоздай Федот Евграфыч ровно на семь шагов — кончилась бы на этом вся их служба. В две бы хороших очереди кончилась.

Но семь этих шагов были с его стороны сделаны,

и потому все наоборот получилось. И отпрянуть успел, и девочкам махнуть, чтоб рассыпались, и гранату из кармана выхватить. Хорошо, с запалом граната была: шарахнул ею из-за валуна, а когда рвануло, ударил из автомата.

В уставе бой такой встречным называется. А характерно для него то, что противник сил твоих не знает: разведка ты или головной дозор — им это непонятно. И поэтому главное тут — не дать ему опомниться.

Федот Евграфыч, понятное дело, об этом не думал. Это врублено в него было, на всю жизнь врублено, и думал он только, что надо стрелять. А еще думал, где бойцы его: попрятались, залегли или разбежались.

Треск стоял оглушительный, потому что били фрицы в его валун из всех активных автоматов. Лицо ему крошкой каменной иссекло, глаза пылью запорошило, и он почти что не видел ничего: слезы ручьем текли. И утереться времени не было.

Лязгнул затвор его автомата, назад отскочив: патроны кончились. Боялся Васков этого мгновения: на перезарядку секунды шли, а сейчас секунды эти жизнью измерялись. Рванутся немцы на замолчавший автомат, проскочат десяток метров, что разделяло их, и — все тогда. Хана.

Но не сунулись диверсанты. Голов даже не подняли, потому что прижал их второй автомат — Осяниной. Коротко била, прицельно, в упор и дала секундочку старшине. Ту секундочку, за которую потом до гробовой доски положено водкой поить.

Сколько тот бой продолжался, никто потом не помнил. Если обычным временем считать — скоротечный был бой, как и положено встречному бою по уставу. А если прожитым мерить — силой затраченной, напряжением, опасностью, — на добрый пласт жизни тянуло, а кому и на всю жизнь.

Галя Четвертак настолько испугалась, что и выстрелить-то ни разу не смогла. Лежала, спрятав лицо за камнем и уши руками зажав: винтовка в стороне валялась. А Женька быстро опомнилась: била в белый свет, как в копеечку. Попала — не попала: это ведь не на стрельбище, целиться некогда.

Два автомата да одна трехлинейка — всего-то огня было, а немцы не выдержали. Не потому, конечно, что испугались, — неясность была. И, постреляв маленько, откатились. Без огневой прикрытия, без заслона, просто откатились. В леса, как потом выяснилось.

Враз смолк огонь, только Комелькова еще стреляла, телом вздрагивая при отдаче. Добила обойму, остановилась. Глянула на Васкова, будто вынырнув.

— Все, — вздохнул Васков.

Тишина могильная стояла, аж звон в ушах. Порохом воняло, пылью каменной, гарью. Старшина лицо утер — ладони в крови стали: посекло осколками.

— Задело вас? — шепотом спросила Осянина.

— Нет, — сказал старшина. — Ты поглядывай там, Осянина.

Сунулся из-за камня: не стреляли. Вгляделся: в дальнем безрыбье, что с лесом смыкался, верхушки подрагивали. Осторожно скользнул вперед, наган в руке зажав. Перебежал, за другим валуном укрылся, снова выглянул: на разбросанном взрывом мху кровь темнела. Много крови, а тел не было: унесли.

Полазав по камням да кусточкам и убедившись, что диверсанты никого в заслоне не оставили, Федот Евграфыч уже спокойно, в рост встал к своим. Лицо саднило, а усталость была... Будто чужим прижали. Даже курить не хотелось. Полежать

бы, хоть бы десять минут полежать, а подойти не успел — Осянина с вопросом:

— Вы коммунист, товарищ старшина?

— Член партии большевиков...

— Просим быть председателем на комсомольском собрании.

Обалдел Васков:

— Собрании?..

Увидел: опять Четвертак ревет в три ручья. А Комелькова — в копоты пороховой, что цыган, — глазами сверкает:

— Трусость!..

Вон оно что...

— Собрание — это хорошо, — свирепея, начал Федот Евграфыч. — Это замечательно: собрание! Мероприятие, значит, проведем, осудим товарища Четвертак за проявленную растерянность, протокол напишем. Так?..

Молчали девочки. Даже Галя реветь перестала: слушала, носом шмыгая.

— А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится?.. Не годится. Поэтому как старшина и как коммунист тоже отменяю на данное время все собрания. И докладываю обстановку: немцы в леса ушли. В месте взрыва гранаты крови много: значит, кого-то мы прищучили. Значит, триндцать их, так надо считать. Это первый вопрос. А второй вопрос — у меня при автомате одна обойма осталась непочатая. А у тебя, Осянина?

— Полторы.

— Вот так. А что до трусости, так ее не было. Трусость, девочки, во втором бою только видно. А это растерянность просто. От неопытности. Верно, боец Четвертак?

— Верно...

— Тогда и слезы и сопли утереть приказываю. Осяниной — вперед выдвинуться и за лесом следить. Остальным бойцам — принимать пищу и отдыхать по мере возможности. Нет вопросов? Исполнять.

Молча поели. Федот Евграфыч совсем есть не хотел, а только сидеть, ноги вытянув, но жевал усердно: силы были нужны. Бойцы его, друг на друга не глядя, ели по-молодому — аж хруст стоял. И то ладно: не раскисли, держатся пока.

Солнце уж низко было, край леса темнеть стал, и старшина беспокоился. Подмога что-то запаздывала, а немцы тем сумраком белесым могли либо опять на него выскочить, либо с боков просочиться в горловине между озерами, либо в леса утечь: ищи их тогда. Следовало опять поиск начинать, опять на хвост им садиться, чтобы знать положение. Следовало, а сил не было.

Да, неладно все пока складывалось, очень неладно. И бойца загубил и себя обнаружил, и отдых требовался. А подмога все не шла и не шла...

Однако отдыху Васков себе отпустил, пока Осянина не поела. Потом встал, засунул потуже, сказал хмуро:

— В поиск со мной идет боец Четвертак. Здесь — Осянина старшая. Задача: следом двигаться на большой дистанции. Ежели выстрелы услышите — затаиться приказываю. Затаиться и ждать, откуда мы не подойдем. Ну, а коли не подойдем — отходите. Скрытно отходите через наши прежние позиции на запад. До первых людей: там доложите.

Конечно, шевельнулась мысль, что не надо бы с Четвертак в такое дело идти, не надо. Тут с Комельковой в самый раз: товарищ проверенный, дважды за один день проверенный — редкий мужик этим похвастать может. Но командир, он ведь не просто военачальник, он еще и воспитателем подчиненных быть обязан. Так в уставе сказано.

А устав старшина Васков уважал. Уважал, знал каждый зубок и выполнял неукоснительно. И поэтому сказал Гале:

— Вещмешок и шинелку здесь оставишь. За мной идти след в след и глядеть, что делаю. И, что б ни случилось, молчать. Молчать и про слезы забыть.

Слушая его, Четвертак кивала поспешно и испуганно...

II

Почему немцы уклонились от боя? Уклонились, опытным ухом наверняка оценив огневую мощь (точнее сказать, немощь) противника?

Не праздные это были вопросы, и не из любопытства Васков голову над ними ломал. Врага понимать надо. Всякое действие его, всякое передвижение для тебя яснее ясного быть должно. Только тогда ты за него думать начнешь, когда сообразишь, как сам он думает. Война — это ведь не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает. Устав для того и создан, чтобы голову тебе освободить, чтобы ты вдаль думать мог, на ту сторону, за противника.

Но как ни вертел события Федот Евграфыч, как ни перекладывал, одно выходило: немцы о них ничего не знали. Не знали, значит, те двое, которых порешил он, не дозором были, а разведкой, и фрицы, не ведая о судьбе их, спокойно подтягивались следом. Так выходило, а какую выгоду он из всего этого извлечь мог, пока было непонятно.

Думал старшина, ворочал мозгами, тасовал факты, как карточную колоду, а от дела не отвлекался. Чутко скользил, беззвучно и только что ушами не прядал по неспособности к этому. Но ни звука, ни запаха не дарил ему ветерок, и Васков шел пока что без задержек. И девка эта непутевая сзади плелась. Федот Евграфыч часто поглядывал на нее, но замечаний делать не приходилось. Нормально шла, как приказано. Только без легкости, вяло — так это от пережитого, от свинца над голозой.

А Галя уж и не помнила об этом свинце. Другое стояло перед глазами: серое, заострившееся лицо Сони, полузакрытые, мертвые глаза ее и затвердевшая от крови гимнастерка. И... две дырочки на груди. Узкие, как лезвие. Она не думала ни о Соне, ни о смерти — она физически, до дурноты ощущала проникающий в ткани нож, слышала хруст разорванной плоти, чувствовала запах крови. Она всегда жила в воображаемом мире активнее, чем в действительном, и сейчас хотела бы забыть это, вычеркнуть — и не могла. И это рождало тупой, чугунный ужас, и она шла под гнетом этого ужаса, ничего уже не соображая.

Федот Евграфыч об этом, конечно, не знал. Не знал, что боец его, с кем он жизнь и смерть одинаковыми гирями сейчас взвешивал, уже был убит. Убит, до немцев не дойдя, ни разу по врагу не выстрелив...

Васков поднял руку: вправо уходил след. Легкий, чуть заметный на каменных осыпях тут, на мшанике, он чернел затянутыми водой провалами. Словно оступились вдруг фрицы, тяжесть неся, и расписались перед ним всей разлапистой ступней.

— Жди, — шепнул старшина.

Прошел вправо, след в стороне оставляя. Пригнул кусты: в ложбинке из-под наспех наваленного хвороста чуть проглядывали тела. Васков осторожно сдвинул сучья: в яме лицами вниз лежали двое. Федот Евграфыч присел на корточки, всматриваясь: у верх-

него в затылке чернело аккуратное, почти без крови отверстие; волосы коротко стриженного затылка курчавились, подпаленные огнем.

— Пристрелили, — определил старшина. — Свои же: в затылок. Раненого добивали: такой, значит, закон...

Плюнул Васков. На мертвых плюнул, хоть и грех этот самый великий из всех. Но ничего к ним не чувствовал, кроме презрения: вне закона они для него были. По ту сторону черты, что человека определяет.

Человека ведь одно от животных отделяет: понимание, что человек он. А коли нет понимания этого — зверь. О двух ногах, о двух руках, и — зверь. Лютый зверь, страшнее страшного. И тогда ничего по отношению к нему не существует: ни человечности, ни жалости, ни пощады. Бить надо. Бить, пока в логово не уползет. И там бить, покуда не вспомнит, что человеком был, покуда не поймет этого.

Еще днем, несколько часов назад, ярость его вела. Простая, как жажда: кровь за кровь. А теперь вдруг отодвинулось все, улеглось, успокоилось даже и... вызрело. В ненависть вызрело, холодную и расчетливую ненависть. Без злобы уже.

— Значит, такой закон?.. Учтем.

И спокойно еще двух вычел: двенадцать осталось. Дюжина.

Вернулся, где Четвертак ждала. Поймал взгляд ее — и словно оборвалось в нем что-то: боится. По-плохому боится, изнутри, а это — хорошо, если не на всю жизнь. Поэтому старшина вмиг всю бодрость свою собрал, заулыбался ей, как дролюшке дорогой, и подмигнул:

— Двоих мы там прищучили, Галя! Двоих — стало быть, двенадцать осталось. А это нам не страшно, товарищ боец. Это нам, считай, пустяки!..

Ничего она в ответ не сказала, не улыбнулась даже. Только глядела, в глаза выскакивая. Мужика в таких случаях разозлить надо: матюкнуть от души или по уху съездить — это Федот Евграфыч из личного опыта знал. А вот с этой как быть — не знал. Не было у него такого опыта, и устав по этому поводу тоже ничего не сообщал.

— Про Павла Корчагина читала когда?

Посмотрела на него Четвертак эта, как на помещанного, но кивнула, и Федот Евграфыч приободрился.

— Читала, значит. А я его, как вот тебя, видел. Да. Возили нас, отличников боевой и политической, в город Москву. Ну, там Мавзолеем смотрели, дворцы всякие, музеи и с ним встречались. Он — не гляди, что пост большой занимает, — простой человек. Сердечный. Усадил нас, чаем угостил: как, мол, ребята, служится?..

— Ну, зачем же вы обманываете, зачем? — тихо сказала Галя. — Паралич разбил Корчагина. И не Корчагин он совсем, а Островский. И не видит он ничего и не шевелится, и мы ему письма всем техникумом писали.

— Ну, может, другой какой Корчагин?..

Совестно стало Васкову, даже в жар кинуло. А тут еще комар наседает. Вечерний комар, особенный.

— Ну, может, ошибся. Не знаю. Только говорили, что...

Хрустнула впереди ветка. Явно хрустнула, под тяжелой ногой, а он даже обрадовался. Сроду он по своей инициативе во врунах не оказывался, позора от подчиненных не хлебал и готов был скорее со всей дюжиной драться, чем укоры от девчонки сопливой терпеть.

— В куст!.. — шепнул. — И замри!..

В куст сунуть ее успел, ветки оправить, сам за соседний валун завалился и вовремя. Глянул: опять двое идут, но осторожно, как по раскаленному, держа автоматы наизготовку. И только старшина подивиться успел, до чего же упорно фрицы по двое шагают, как позади этих двух и левее кусты затрепетали, и он понял, что по обе стороны идут дозоры и что немцы всерьез озадачены и неожиданной встречей и исчезновением своей разведки.

Но он-то их видел, а они его — нет, и поэтому козырной туз был все-таки у него. Единственный, правда, козырь, но тем больнее мог он им ударить. Только уж спешить здесь нельзя было, никак нельзя, и Федот Евграфыч всем телом в мох впечатывался и даже комаров с потного лба согнать боялся. Пусть крадутся, пусть спину подставляют, пусть укажут, куда поиск ведут, а там уж он играть начнет, свой ход сделает. С козырного туза...

Человек в опасности либо совсем ничего не соображает, либо сразу за двоих. И пока один расчет ведет, как дальше поступить, другой об этой минуте заботится: все видит и все замечает. И, думая насчет хода с козырного туза, Васков ни на мгновение диверсантов с глаз не спускал и ни на миг о Четвертак не позабыл. Нет, хорошо она укрыта была, надежно, да и немцы вроде стороной ее обходили, так что опасного здесь не предвиделось. Фрицы как бы ломтями местность резали, и они с бойцом аккуратно в середину этих ломтей попадали, хоть, правда, и в разные куски. Значит, отсидеться надо было, дышать перестав, раствориться во мхах, да кустарничке, а уж потом действовать. Потом соединиться, цели распределить и шагнуть из своей родимой да немецкого автомата.

Судя по всему, фрицы опять тот же путь прощупывали и рано или поздно должны были на Осянину с Комельковой выйти. Конечно, беспокоило это старшину, но не сказать, чтоб слишком: девчата обстрелянными были, соображали что к чему и свободно могли либо затаяться, либо отойти куда подальше. Тем более что ход свой он планировал на тот момент, когда немцы, пройдя его, окажутся между двух огней.

Диверсанты на прямую вышли, оставляя куст, где Четвертак пряталась, метрах в двадцати левее. Дозоры, что по бокам шли, себя не обнаруживали, но Федот Евграфыч уже знал, где они пройдут. Вроде никто на них нарваться не мог, но старшина все же осторожно снял автомат с предохранителя.

Немцы шли молча, пригнувшись и выставив автоматы. Прикрытые дозорами, они почти не глядели по сторонам, цепко всматриваясь вперед и каждый миг ожидая встречного выстрела. Через несколько шагов они должны были оказаться в створе между Четвертак и Васковым, и с этого мгновения спины их уже были бы подставлены охотничьему прищурю старшины.

С шумом раздалась кусты, и из них порскнула вдруг Галя. Выгнувшись, заломив руки за голову, метнулась через поляну наперерез диверсантам, уже ничего не видя и не соображая.

— А-а-а!..

Коротко ударил автомат. С десятка шагов ударил в тонкую, напряженную в беге спину, и Галя с разлету сунулась лицом в землю, так и не сняв с головы заломленных в ужасе рук. Последний крик ее затерялся в булькающем хрипе, а ноги еще бежали, еще бились, вонзаясь в мох носками Сониных сапог.

Замерло все на поляне. На секунду какую-то замерло, и даже Галины ноги дергались замедленно, точно во сне. И Васков еще недвижимо лежал за своим валуном, не успев даже понять, что все планы

его рухнули, что вместо козырного туза на руках оказалась шестерка. И неизвестно, сколько бы он так пролежал и как бы стал действовать дальше, но за спиной его раздался треск и топот, и он догадался, что правый дозорный бежит сюда, на выстрелы, бежит через него.

Соображать некогда было. Не было уже времени, и Федот Евграфыч только главное решил: увести немцев. Увлечь их за собой, заманить, оттянуть от последних своих бойцов. А решив это, не таясь уже, вскочил, шархнул по двум фигурам, что над Галей склонились, полоснул очередью по топоту в кустах и, пригнувшись, бросился подальше от Синюхиной гряды, к лесу.

Он не видел, попал ли в кого: не до того было. Сейчас сквозь немцев прорваться надо было, себя в целости до леса донести и девчат уберечь. Уж их-то, последних, непременно уберечь он был должен, обязан был перед совестью своей мужской и командирской. Хватит тех, что погибли. По горло хватит, до конца жизни.

Давно старшина так не бегал, как в тот вечер. Метался по кустам, юлил меж валунов, падал, поднимался, снова бежал и снова падал, уходя от пуль, что сшибали листву над головой. Жалил в мелькающие повсюду фигуры короткими очередями и шумел. Кусты ломал, топал, срал до хрипоты, потому что не имел он права отходить, фрицев за собой не увлекая. Приходилось замзывать, с огнем играть.

За одно он почти был спокоен: немцы в кольцо взять его не могли. И местности не знали, и мало-вато их для этого оставалось, и, главное, хорошо они ту внезапную стычку запомнили, тот встречный бой: с оглядкой бегали. Поэтому легко он пока уходил, пока нарочно дразнил фрицев, злил их, чтоб не оставляли погони, чтоб не опомнились и не поняли, что один он здесь, если строго судить. Один.

Опять же туман помогал: та весна туманистой была. Чуть солнце за горизонт уходило, низины словно дымком подергивались, туман слоился, цеплялся за кусты, и в густом том молоке не то что человек — полк свободно бы спрятался. Васков в любой момент мог в облако это нырнуть — и ищи его! Но беда в том была, что белесые языки эти к озерам ползли, а он, наоборот, к лесу норзил фрицев вывести и поэтому нырял в туман тогда лишь, когда уж совсем немоготу становилось. А потом опять выныривал: здравствуйте, фрицы, я живой...

А в общем, конечно, везло. И в меньших перестрелках, случалось, из человека сито-решето делало, а тут пронесло. Вдосталь в салочки со смертью наигрался, но до леса не один добежал: вся эта компания за ним ввалилась, и тут его автомат щелкнул в последний раз и замолк. Патроны кончились, перезарядить нечем было, и так он старшине руки отмотал, что Федот Евграфыч сунул его под валежник и стал отходить налегке — безоружным.

Тумана здесь не было, а пули в стволы чокали — только щепы летела. Теперь можно было отрываться, теперь о себе подумать самое время настало, но немцы, разъярившись, все-таки взяли его в кольцо и гнали без передыху, надеясь, видно, прижать к болотам и взять живым. Положение у них такое создалось, что, будь старшина на месте их командира, тоже бы орден за языка не пожалел, отвалил бы хоть пригоршню.

И только он так подумал, только обрадоваться успел, что целить в него вроде не должны, как тут же в руку ударило. В мякоть, пониже локтя, и Федот Евграфыч впопыхах-то не понял, не разобрался, решил, что сук ненароком зацепил, как теплое по

кисти потекло. Не сильно, но густо: пуля вену тронула. Похолодел Васков: с дыркой много не навоюешь. Тут осмотреться нужно, рану перевязать, передохнуть, тут сквозь цепь не попрешь, не оторвешься. Одно оставалось: к болотам отходить. Ног не жалея.

Все он вложил в этот бег, без остатка. Сердце уж в глотке где-то булькало, когда к приметной сосне выскочил. Схватил слегу, заметил, что пять их осталось, да размышлять некогда было. Лес трещал под немецкими ногами, звенел немецкими голосами и шел немецкими пулями.

Как через болото до острова брел — начисто из головы выскочило. Опомнился только там, под корявыми сосенками. От холода опомнился: трясло его, било, зубы пересчитывала. И рука ныла. Ломило ее от сырости, что ли...

Сколько времени он тут лежал, Федот Евграфыч вспомнить не мог. Выходило, немало, потому что тишина вокруг стояла мертвая: немцы отошли. Туман уплотнился к рассвету, вниз осел, и от мокрети той пробирало Васкова до самой последней косточки. Однако кровь из раны больше не текла. Рука аж до плеча в грязи болотной была, дырку, видать, залепило, и старшина отколупывать ее не стал. Замотал сверху бинтом, что, по счастью, в кармане оказался, и огляделся.

За лесом уже светало, и высоко над болотом небо поигрывало сполохами, отжимая туман к земле. Но здесь, на дне чаши, было как в ледяном молоке, и Федот Евграфыч, трясаясь в ознобе, с тоской думал о заветной фляжке. Одно спасение было — прыгать, и он скакал, пока пот не прошиб. К тому времени и туман редеть начал. Можно было и оглядеться.

С немецкой стороны ничего опасного не наблюдалось, как Васков ни вглядывался. Конечно, фрицы и зататься могли, его назад поджидая, но вероятность этого совсем уж была невелика; по их понятиям, болото непроходимым было, и, значит, старшина Васков давно для них утопленник.

А в нашу сторону, в ту, что к разъезду вела, прямо к Марии Никифоровне, в ту сторону Федот Евграфыч особо не глядел. В той стороне опасностей никаких не было, в той стороне, наоборот, жизнь была: спирта полкружечки, яшенка с салом да ласковая хозяйка. И не глядеть бы ему в ту сторону, отвернуться бы от соблазна, но помощь оттуда что-то не шла и не шла, и поэтому он все-таки туда поглядывал.

Чернело там что-то. Что чернело, не мог старшина разобрать. В миг какой-то даже дойти до пятна этого хотел, посмотреть, но запыхался от подскоков своих и решил отдышаться. А когда отдышался, рассветло уже достаточно, и понял он, что чернеет в болотной топи. Понял и сразу вспомнил, что у приметной сосны осталось теперь пять вырубленных им слег. Пять — значит, боец Бричкина полезла в топь эту трижды клятую без опоры...

И осталась от нее армейская юбка. А больше ничего не осталось — даже надежд, что помощь придет...

ный голос, и опять все смолкло. Даже комары без звона садились тут, в гиблом этом месте, и старшина, вздохнув, решительно шагнул в болото. Брел к берегу, налегая на слегу, думал о Комельковой и Осяниной, надеялся, что живы. И еще он думал о том, что всего оружия у него — один наган на боку.

Оставь тут диверсанты хоть одного человека — лежать бы старшине Васкову носом в гниль, пока не истлеет. С двух шагов могли его снять, потому что шел он грудью на берег и даже упасть нельзя было, укрыться. Но никого немцы не оставили, и Федот Евграфыч без всяких помех до протоки знакомой добрался, помылся кое-как и напился вволю. А потом листок в кармане отыскал, скрутил из сухого мха сигарку, раздул «катушу» и закурил. Теперь можно было и подумать.

Выходило, что проиграл он вчера всю свою войну, хоть и выбил верных двадцать пять процентов противника. Проиграл потому, что не смог сдержать немцев, что потерял ровнехонько половину личного состава, что растратил весь боевой запас и остался с одним наганом. Скверно выходило, как ни крути, как ни оправдывайся. А самым скверным было то, что не знал он, в какой стороне искать теперь диверсантов. Горько было Васкову. То ли от голода, то ли от вонючей сигарки, то ли от одиночества и дум, что роились в голове, будто осы. Будто осы: только жалили, а взятка не давали...

Конечно, к своим надо было добираться. Две остались у него девчоночки, зато самые толковые. Второе они еще силой были, только силе той бить было нечем. Значит, должен был он, как командир, сразу два ответа подготовить: что делать и чем воевать. А для этого одно оставалось: сперва самому обстановку выяснить, немцев найти и оружие добыть.

Вчера в беготне немцы топали, как дома, и следов в лесу было достаточно. Федот Евграфыч шел по ним, как по карте, разбирался что к чему и считал. И по счету этому выходило, что немцев бежало за ним никак не более десяти: то ли кто-то с вещами оставался, то ли он еще кого-то прищучить успел. Но все-таки рассчитывать следовало пока на дюжину, потому что накануне целиться было некогда.

Так, по следам, выбрался он на опушку, откуда опять распахнулось и Воль-озеро, и Синюхина гряда, и кустарнички с соснячком, что уходили правее. Тут Федот Евграфыч ненадолго остановился, чтоб осмотреться, но никого — ни своих, ни чужих — заметить не смог. Покой лежал перед ним, затишье, благодать утренняя, и в благодати этой где-то прятались и немецкие автоматчики и две русские девчоночки с трехлинейками в обнимку.

Как ни заманчиво было девчат в камнях тех отыскать, старшина из лесу не высунулся. Нельзя было ему собой рисковать, никак нельзя, потому что при всей горечи и отчаянии побежденным он себя не признавал даже в мыслях, и война для него на этом кончиться не могла. И, нагладившись на простор и безмятежность, Федот Евграфыч снова нырнул в чащобу и стал пробираться в обход гряды к побережью Легонтова озера.

Тут расчет прост был, как задача на вычитание. Немцы за ним вчера допоздна бегали, и хоть ночи белыми были, соваться в неясность им было несподручно. Ждать им следовало до рассвета, а ждать этого рассвета удобнее всего было в лесах у Легонтова озера, чтобы в случае чего отход иметь не в болота. Потому-то и потянул Федот Евграфыч от знакомых камней перешейка в неизвестные места.

Здесь шел он осторожно, от дерева к дереву, потому что следы вдруг пропали. Но тихо было в ле-

12

...И вспомнил вдруг Васков утро, когда диверсантов считал, что из лесу выходили. Вспомнил шепот Сони у левого плеча, растопыренные глаза Лизы Бричкиной, Четвертак в чуте из бересты. Вспомнил и громко, вслух сказал: — Не дошла, значит, Бричкина...

Глухо проплыл над болотом хриплый, простужен-

су, только птицы поигрывали, и по щебету их Федот Евграфыч понимал, что людей поблизости нет.

Так пробирался он долго: стало уже казаться, что зря, что обманулся он в расчетах и ищет теперь диверсантов там, где их нету. Но не было у него сейчас ориентиров, кроме чутья, а чутье подсказывало, что путь выбран правильно. И только он в чутье собственном охотничьем засомневался, только стал, чтоб обдумать все сызнова, взвесить, как впереди заяц выскочил. Вылетел на полянку и, не чуя Васкова, на задние лапки привстал, назад вглядываясь. Вспуганный заяц был, и испуганный людьми, которых знал мало и потому любопытничал. И старшина, совсем как заяц, уши наострил и стал туда же глядеть.

Однако, как он ни вглядывался, как ни слушал, ничего там необыкновенного не обнаруживалось. Уж и заяц в осинник сиганул и слеза Федота Евграфыча прошибла, а он все стоял и стоял, потому что зайцу этому верил больше, чем своим ушам. И потому тихо-тихо, тенью скользящей двинулся туда, куда этот заяц глядел.

Ничего вначале он не заметил, а потом забурело что-то сквозь кусты. Странное что-то, лишаями кое-где покрытое. Васков шагнул, не дыша, отвел рукой кусты и уперся в древнюю замшелую стену въехавшей в землю избы.

«Легонтов скит», — понял старшина.

Скользнул за угол, увидел прогнивший сруб колодца, заросшую травой дорожку и косо висевшую на одной петле входную дверь. Вынув наган и до звона вслушиваясь, прокрался к входу, глянул на косяк, на ржавую завесу, увидал примятую траву, невысокий след на ступеньке и понял, что дверь эту сорвали не более часа назад.

Зачем, спрашивалось? Не из любознательности же немцы дверь в заброшенном скиту выломали: значит, так было нужно. Значит, убежище искали: может, раненые у них имелись, может, спрятать что требовалось. Иного объяснения старшина не нашел, а потому обратно в кусты попятился, особо внимательно глядя, чтоб след ненароком не оставить. Заполз в чашобу и замер.

И только комары к нему пристрелялись, как где-то сорока заверещала. Потом хрустнула ветка, что-то звякнуло, и из лесу к Легонтову скиту один за другим вышли все двенадцать. Одиннадцать поклажу несли (взрывчатка, определил старшина), а двенадцатый сильно хромал, налегая на палку. Подошли к скиту, сгрузили тючки, и раненый сразу сел на ступеньку. Один начал перетаскивать взрывчатку в избу, а остальные закурили и стали о чем-то говорить, по очереди заглядывая в карту.

Жрали комары Васкова, пили кровушку, а он даже моргнуть боялся. Рядом ведь, в двух шагах от немцев сидел, наган в кулаке тиская, все слова слышал и ничего не понимал. Всего-то знал он восемь фраз из разговорника, да и то если их русский произносил: нараспев.

Но гадать не понадобилось: старший, что в центре стоял и к которому они в планшет заглядывали, рукой махнул, и десятка эта, вскинув автоматы, подалась в лес. И пока она в него втягивалась, тот, что тючки таскал, помог раненому подняться и вволок его в дом.

Наконец-то Васков мог дух перевести и с комарами расправиться. Все теперь прояснилось, и дело решало время: немцы не по ягодки к Синюхиной гряде направлялись. Не желали они, стало быть, вокруг Легонтова озера кренделя выписывать и упорно целились в перемышку. И шли туда сейчас налегке: брешь нащупывать.

Конечно, ничего ему не стоило обогнать их, девчат найти и начать все сначала. Одно держало: оружие. Без него и думать было нечего поперек фрицевского пути становиться.

Два автомата в этой избе сейчас было, за дверью скособоленной. Целых два, богатство, а как взять это богатство, Васков пока не знал. На рожон лезть после бессонной ночи с простреленной рукой расчета не было, и потому Федот Евграфыч, прикинув, откуда ветерок тянет, просто ждал, когда немец из избы вылезет.

И дождался. Вылез диверсант этот с распухшей от комаров рожей на верную свою гибель: пить им там, что ли, захотелось. Вылез осторожно, с автоматом под рукой и двумя флягами у пояса. Долго всматривался, слушал, но отклеился-таки от стены и к колодцу направился. И тогда Васков медленно поднял наган, затаил дыхание, как на соревнованиях, и плавно спустил курок. Треснул выстрел, и немца с силой швырнуло вперед. Старшина для верности еще раз выстрелил в него, хотел было вскочить да чудом уловил вороненый блеск ствола в щели перекошенной двери и замер. Второй — тот, раненый — прикрывал приятеля своего, все видел, и бежать к колодцу — значило получить пулю.

Похолодел Васков: даст сейчас подбитый этот очередь. Просто так, в воздух: гулкую, тревожную, и все. Вмиг притапают немцы, прочешут лес, и кончилась служба старшины. Второй раз не убежишь...

Только не стрелял что-то этот немец. Ждал чего-то, водил стволом настороженно и не сигнализировал. Видел, как товарищ его рылом в сруб уперся, еще дергаясь, видел, а на помощь не звал. Ждал... Чего ждал?..

И понял вдруг Васков. Все понял: себя спасает, шкура фашистская. Плевать ему на умирающего, на приказ, на друзей своих, что к озеру ушли: он сейчас только о том думает, чтоб внимание к себе не привлечь. Он невидимого противника до ужаса боится и об одном лишь молится: как бы втихую отлежаться, за бревнами в обхват толщиной.

Да, не героем фриц оказался, когда смерть в глаза заглянула. Совсем не героем, и, поняв это, старшина вздохнул с облегчением.

Сунув наган в кобуру, Федот Евграфыч осторожно отполз назад, быстро обогнул скит и подобрался к колодцу с другой стороны. Как он и рассчитывал, раненый фриц на убитого не глядел, и старшина спокойно подполз к нему, снял автомат, сумку с запасными обоймами с пояса и незамеченным вернулся в лес.

Теперь все от его быстроты зависело, потому что путь он выбрал кружной. Тут уж рисковать приходилось, и он рисковал — и пронесло. Вломился в сосны, что к гряде вел, и тогда только отдышался.

Здесь свои места были, брюхом использованные. Здесь где-то девчата его прятались, если не подалась на восток. Но хоть и велел он им отходить в случае чего, а не верилось сейчас Федоту Евграфычу, что выполнили они приказ его слово в слово. Не верилось, не хотелось верить.

Тут он передохнул, послушал, не слышно ли где немцев, и осторожно двинулся к Синюхиной гряде путем, по которому сутки назад шел с Осяниной. Тогда все еще живы были. Все, кроме Лизы Бричкиной...

Все-таки отошли они. Недалеко, правда: за речку, где прошлым утром спектакль фрицам устраивали. А Федот Евграфыч про это не подумал и, не найдя их ни в камнях, ни на старых позициях, вышел на берег уже не для поисков, а просто в растерянности. Понял вдруг, что один остался, совсем один, с проби-

той рукой, и такая тоска тут на него навалилась, так все в голове спуталось, что к месту этому добрел уже совсем не в себе. И только на колени привстал, чтоб напиться, шепот услышал:

— Федот Евграфыч...

И крик следом:

— Федот Евграфыч!.. Товарищ старшина!..

Голову вздернул, а они через речку бегут. Прямо по воде, юбок не подобрав. Кинулся к ним: тут, в воде, и обнялись. Повисли на нем обе сразу, целуют — грязного, потного, небритого...

— Ну что вы, девчата, что вы!..

И сам чуть слезы сдержал. Совсем уж с ресниц свисали: ослаб, видно. Обнял девчат своих за плечи, да так они втроем и пошли на ту сторону. А Комелькова все прижаться норовила, по щеке колючей погладить.

— Эх, девчоночки вы мои, девчоночки! Съели-то хоть кусочек, спали-то хоть вполглазика?

— Не хотелось, товарищ старшина...

— Да какой я вам теперь старшина, сестренки? Я теперь вроде как брат. Вот так Федотом и зовите. Или Федей, как маманя звала...

В кустах у них мешки сложены были, скатки, винтовки. Васков сразу к сидору своему кинулся. Только развязывать стал, Женя спросила:

— А Галка?..

Тихо спросила, неуверенно: поняли они уж все. Просто уточнение требовалось. Старшина не ответил. Молча мешок развязал, достал черствый хлеб, сало, фляжку. Налил в три кружки, хлеба наломал, сала нарезал. Роздал бойцам и поднял кружку:

— Погибли наши товарищи смертью храбрых. Четвертак — в перестрелке, а Лиза Бричкина в болоте утонула. Выходит, что с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки здесь, в межозерье противника кружим. Сутки!.. И теперь наш черед сутки выигрывать. А помощи нам не будет, и немцы идут сюда. Так что давайте помянем сестренку наших, а там и бой пора будет принимать. Последний, по всей видимости...

13

Бывает горе — что косматая медведица. Навалится, рвет, терзает — света не взвидишь. А отвалит — и ничего, вроде, можно дышать, жить, действовать. Как не было.

А бывает пустячок, оплошность. Мелочь, но за собой мелочь эта такое тянет, что не дай бог никому.

Вот такой пустячок Васков после завтрака обнаружил, когда к бою готовиться стали. Весь сидор свой перетряхнул, по три раза вещь каждую перещупал — нету, пропали.

Запал для второй гранаты и патроны для нагана мелочью были. Но граната без запала — просто кусок железа. Немой кусок, как булыжник.

— Нет у нас теперь артиллерии, девоньки.

С улыбкой сказал, чтоб не расстраивались. А они, дурехи, заулыбались в ответ, засияли.

— Ничего, Федот, отобьемся!

Это Комелькова сказала, чуть на имени споткнувшись. И покраснела. С непривычки, понятное дело, командира трудно по имени называть.

Отстреливаться — три винтаря, два автомата да наган. Не очень-то разгуляешься, как с десятка полоснут. Но, надо полагать, свой лес выручит. Лес да речка.

— Держи, Рита, еще рожок к автомату. Только издаля не стреляй. Через речку из винтовки бей,

а автомат побереги. Как форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли?

— Поняла, Федот...

И эта запнулась. Усмехнулся Васков:

— Федей, наверно, проще будет. Имячко у меня некруглое, конечно, но уж какое есть...

Все-таки сутки эти даром для немцев не прошли. Втрое они осторожность умножили и поэтому продвигались медленно, за каждый валун заглядывая. Все, что могли, прочесали и появились у берега, когда солнце стояло уже высоко. Все повторялось в точности, только на этот раз лес напротив них не шумел девичьими голосами, а молчал затаенно и угрожающе. И диверсанты, угрозу эту почувствовав, долго к воде не совались, хоть и мелькали в кустах на той стороне.

У широкого плеса Федот Евграфыч девчат оставил, лично выбрав им позиции и ориентиры указав. А на себя взял тот мысок, где сутки назад Женя Комелькова собственным телом фрицев остановила. Тут берега почти смыкались, лес по обе стороны от воды начинался, и для форсирования водной преграды лучшего места не было. Именно здесь чаще всего немцы и показывали себя, чтоб вызвать на выстрел какого-либо чересчур уж нервного противника. Но нервных пока не наблюдалось, потому что Васков строго-настрого приказал своим бойцам стрелять тогда лишь, когда фрицы полезут в воду. А до этого — и дышать через раз, чтоб птицы не замолкали.

Все под рукой было, все приготовлено: патроны загодя в каналы стволов досланы и винтовки с предохранителей сняты, чтобы до поры до времени и сорока не затрещала. И старшина почти спокойно на тот берег глядел, только рука проклятая ныла, как застуженный зуб.

А там, на той стороне, все наоборот было: и птицы примолкли, и сорока надрылась. И все это сейчас Федот Евграфыч примечал, оценивал и по полочкам раскладывал, чтоб поймать момент, когда фрицам надоест в гляделки играть.

Но первый выстрел не ему сделать довелось, и хоть ждал его старшина, а все же вздрогнул: выстрел — он всегда неожиданный, всегда вдруг. Слева он ударил, ниже по течению, а за ним еще и еще. Васков глянул: на плесе немец из воды к берегу на карачках лез, к своим лез, назад, и пули вокруг него щелкали, а не задевали. И фриз бежал на четвереньках, волоча ногу по шумливому галечнику.

Тут ударили автоматы, прикрывая подбитого, и старшина совсем уж было вскочить хотел, к своим кинуться, да удержался. И вовремя: сквозь кусты к берегу той стороны сразу четверо скатились, рассчитывая, видно, под огнем прикрытием речушку перебежать и в лесу исчезнуть. С винтовкой тут ничего поделать было нельзя, потому что затвор после выстрела передернуть времени бы не хватило, и Федот Евграфыч взял автомат. И только нажал крючок — напротив в кустах два огонька полыхнули, и пулевой веер разорвал воздух над его головой.

Одно знал Васков в этом бою: не отступать. Не отдавать немцам ни клочка на этом берегу. Как ни тяжело, как ни безнадежно — держать. Держать эту позицию, а то сомнут — и все тогда. И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия сошлась, словно именно он, Федот Евграфыч Васков, был сейчас ее последним сыном и защитником. И не было во всем мире больше никого: лишь он, враг да Россия.

Только девчат еще слушал каким-то третьим ухом: бьют еще винтовочки или нет. Бьют, — значит, живы. Значит, держат свой фронт, свою Россию. Держат!..

И даже когда там гранаты начали рваться, он не испугался. Он уже чувствовал, что вот-вот должна передышка наступить, потому что не могли немцы вести затяжной бой с противником, сил которого не знали. Им тоже оглядеться требовалось, карты свои перетасовать, а уж потом сдавать по новой. Та четверка, что перла прямо на него, тут же и отошла, да так ловко, что он и заметить не успел, подшиб ли кого. Втянулись в кусты, постреляли для остротки, и снова замерли, и лишь дымок еще висел над водой.

Несколько минут выиграно было. Счет, правда, сегодня не на минуты должен был бы идти, потому что помощи ниоткуда не предвиделось, но все же куснули они противника, показали зубы, и второй раз он в этом месте так просто не полезет. Он где-то еще попытается щелочку найти: скорее всего выше по течению, потому что ниже плеса каменные лбы срывались круто в реку. Значит, следовало тотчас же перебежать правее, а тут, на своем месте, на всякий случай оставить кого-либо из девчат...

Не успел Васков своей диспозиции додумать: шаги за спиной помешали. Оглянулся: Комелькова прямоиком сквозь кусты ломит.

— Пригнись!..

— Скорее!.. Рита!..

Что Рита, не стал Федот Евграфыч спрашивать: по глазам понял. Схватил оружие, раньше Комельковой домчался. Осянина, скорчившись, сидела под сосной, упираясь спиной в ствол. Силилась улыбнуться серыми губами, то и дело облизывая их, а по рукам, накрест зажавшим живот, текла кровь.

— Чем? — только и спросил Васков.

— Граната...

Положил Риту на спину, за руки взял — не хотела принимать, боли боялась. Отстранил мягко и понял, что все... Даже разглядеть было трудно, что там, потому что смешалось все — и кровь, и рваная гимнастерка, и вмятый туда, в живое, солдатский ремень.

— Тряпок! — крикнул. — Белье давай!

Женька трясущимися руками уже рвала свой мешок, уже совала что-то легкое, скользкое...

— Да не шелк! Льняное давай!..

— Нету...

— А, леший!.. — метнулся к сидору, начал развязывать. Затянул, как на грех...

— Немцы... — одними губами сказала Рита. — Где немцы?

Женька секунду смотрела на нее в упор, а потом, схватив автомат, кинулась к берегу, уже не оглядываясь.

Старшина достал рубашку с кальсонами, два бинта запасных, вернул. Рита что-то пыталась сказать — не слушал. Ножом распорол гимнастерку, юбку, белье, кровью набрякшие, — зубы стиснул. Наскось прошел осколок, живот разворотил: сквозь черную кровь вздрагивали сизые внутренности. Наложил сверху рубаху, стал бинтовать.

— Ничего, Рита, ничего... Он поверху прошел: кишки целые. Заживет...

Полоснула от берега очередь. И снова застучало все кругом, посыпалась листва, а Васков бинтовал и бинтовал, и тряпки тут же намокали от крови.

— Иди... туда иди... — с трудом сказала Рита. — Женька там...

Рядом прошла очередь. Не поверху — по ним, прицельно, только не зацепила. Старшина оглянулся, вырвал наган, выстрелил дважды по мелькнувшей фигуре: немцы перешли реку.

А Женькин автомат еще бил где-то, еще огрызаясь, все дальше и дальше уходя в лес. И Васков понял, что Комелькова, отстреливаясь, уводит сейчас немцев за собой. Уводит, да не всех: еще где-то

мелькнул диверсант, и еще раз выстрелил по нему старшина. Надо было уходить, уносить Осянину, потому что немцы кружили рядом и каждая секунда могла оказаться последней.

Он поднял Риту на руки, не слушая, что шепчет она серыми искусанными губами. Хотел винтовку прихватить — не смог и побежал в кусты, чувствуя, что с каждым шагом уходят силы из пробитой, ноющей зубной болью левой руки.

Остались под сосной вещмешки, винтовки, скатки да отброшенное старшиной Женькино белье. Молодое, легкое, кокетливое...

Красивое белье было Женькиной слабостью. От многого она могла отказаться с легкостью, потому что характер ее был весел и улыбчив, но подаренные матерью перед самой войной гарнитуры упорно таскала в армейских вещмешках. Хоть и получала за это постоянные выговоры, наряды вне очереди и прочие солдатские неприятности.

Особенно одна комбинезонка была — с ума сойти. Даже Женькин отец фыркнул:

— Ну, Женька, это чересчур. Куда готовишься?

— На вечер! — гордо сказала Женька, хоть и знала, что он имел в виду совсем другое.

Они хорошо друг друга понимали.

— На кабанов пойдешь со мной?

— Не пушу! — пугалась мать. — С ума сошел: девочку на охоту таскать.

— Пусть привыкает! — смеялся отец. — Дочка красного командира ничего не должна бояться.

И Женька ничего не боялась. Скакала на лошадях, стреляла в тире, сидела с отцом в засаде на кабанов, гоняла на отцовском мотоцикле по военному городку. А еще танцевала на вечерах цыганочку и матчиш, пела под гитару и крутила романы с затянутыми в рюмочку лейтенантами. Легко крутила, для забавы, не влюбляясь.

— Женька, совсем ты голову лейтенанту Сергейчуку заморочила. Докладывает мне сегодня: «Товарищ Евг... генерал...»

— Врешь ты все, папка!..

Счастливым было время, веселое, а мать все хмурилась да вздыхала: взрослая девушка, барышня уже, как в старину говорили, а ведет себя... Непонятно ведет: то тир, лошади да мотоцикл, то танцульки до зари, лейтенанты с ведерными букетами, серенады под окнами да письма в стихах.

— Женечка, нельзя же так. Знаешь, что о тебе в городке говорят?

— Пусть болтают, мамочка!

— Говорят, что тебя с полковником Лужиным несколько раз встречали. А ведь у него семья, Женечка. Разве ж можно?..

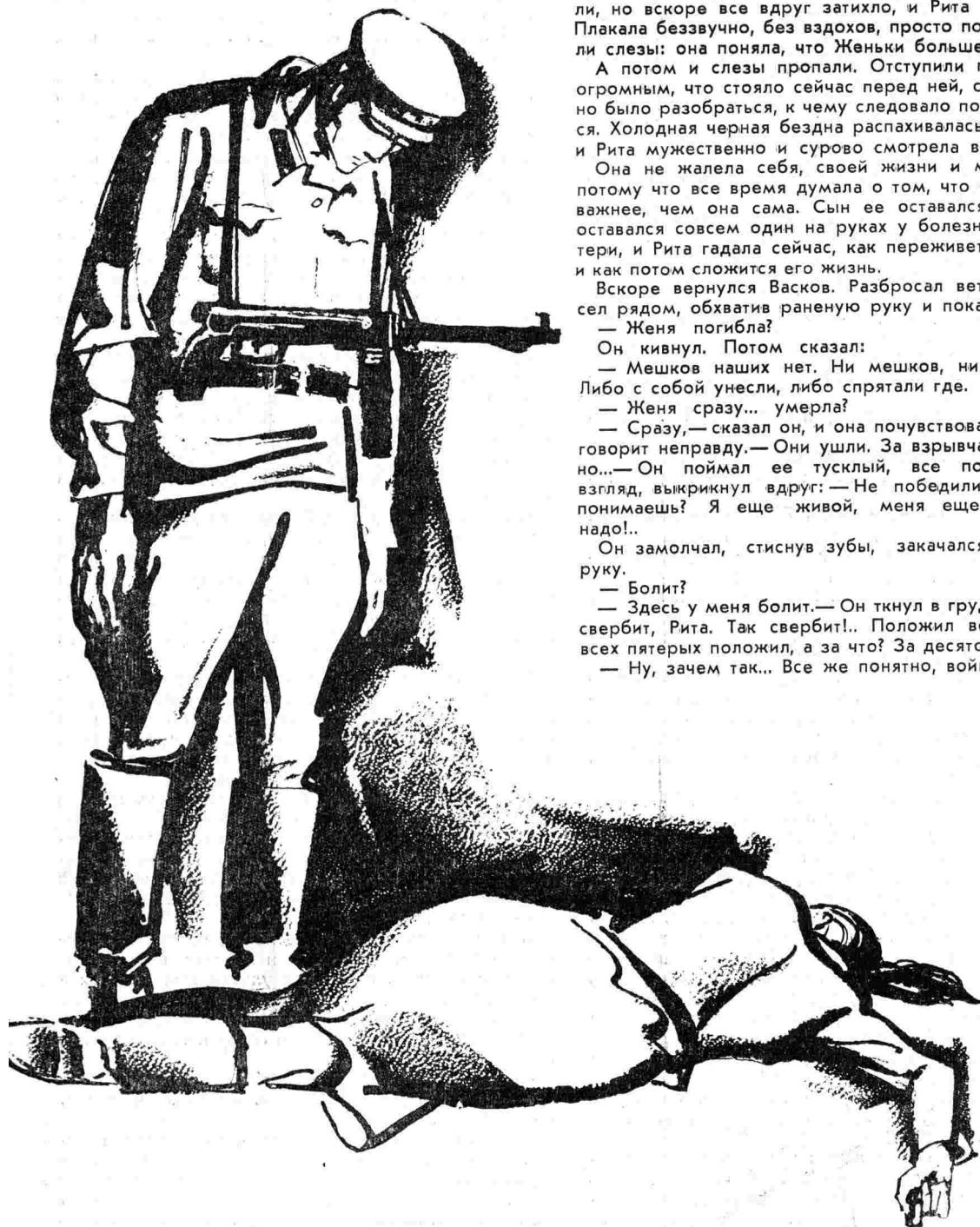
— Нужен мне Лужин!.. — Женька передергивала плечами и сбегала.

А Лужин был красив, таинствен и героичен: за Халхин-Гол имел орден Красного Знамени, за финскую — Звездочку. И мать чувствовала, что Женька избегает этих разговоров не просто так. Чувствовала и боялась...

Лужин-то Женьку и подобрал, когда она одна-одиненька перешла фронт после гибели родных. Подобрал, защитил, пригрел и не то, чтобы воспользовался беззащитностью — прилепил ее к себе. Тогда нужна была ей эта опора, нужно было прижаться, выплакаться, пожаловаться, приласкаться и снова найти себя в этом грозном военном мире. Все было, как надо, — Женька не расстраивалась. Она вообще никогда не расстраивалась. Она верила в себя и сейчас, уводя немцев от Осяниной, ни на мгновение не сомневалась, что все окончится благополучно.

И даже когда первая пуля ударила в бок, она просто удивилась. Ведь так глупо, так несуразно и неправдоподобно было умирать в девятнадцать лет...

А немцы ранили ее вслепую, сквозь листву, и она могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. Стреляла лежа, уже не пытаясь убежать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И немцы добились ее в упор, а потом долго смотрели на ее и после смерти гордое и прекрасное лицо...



Рита знала, что рана ее смертельна и что умирать она будет долго и трудно. Пока боли почти не было, только все сильнее пекло в животе и хотелось пить. Но пить было нельзя, и Рита просто мочила в лужице тряпочку и прикладывала к губам.

Васков спрятал ее под еловым выворотнем, забросал ветками и ушел. По тому времени еще стреляли, но вскоре все вдруг затихло, и Рита заплакала. Плакала беззвучно, без вздохов, просто по лицу текли слезы: она поняла, что Женьки больше нет...

А потом и слезы пропали. Отступили перед тем огромным, что стояло сейчас перед ней, с чем нужно было разобраться, к чему следовало подготовиться. Холодная черная бездна распаивалась у ее ног, и Рита мужественно и сурово смотрела в нее.

Она не жалела себя, своей жизни и молодости, потому что все время думала о том, что было куда важнее, чем она сама. Сын ее оставался сиротой, оставался совсем один на руках у болезненной матери, и Рита гадала сейчас, как переживет он войну и как потом сложится его жизнь.

Вскоре вернулся Васков. Разбросал ветки, молча сел рядом, обхватив раненую руку и покачиваясь.

— Женья погибла?

Он кивнул. Потом сказал:

— Мешков наших нет. Ни мешков, ни винтовок. Либо с собой унесли, либо спрятали где.

— Женья сразу... умерла?

— Сразу, — сказал он, и она почувствовала, что он говорит неправду. — Они ушли. За взрывчаткой, видно... — Он поймал ее тусклый, все понимающий взгляд, выкрикнул вдруг: — Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо!..

Он замолчал, стиснув зубы, закачался, баюкая руку.

— Болит?

— Здесь у меня болит. — Он ткнул в грудь. — Здесь свербит, Рита. Так свербит!.. Положил ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев?

— Ну, зачем так... Все же понятно, война...

— Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят: что ж это вы, мужики, мам наших от пули защитить не могли? Что ж это вы со смертью их оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли да Беломорский канал? Да там ведь тоже, поди, охрана, там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат да старшина с наганом!

— Не надо,— тихо сказала она.— Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом канал.

— Да...— Васков тяжело вздохнул, помолчал.— Ты лежи покуда, я вокруг погляжу. А то наткнутся — и концы нам.— Он достал наган, зачем-то старательно обтер его рукавом.— Возьми. Два патрона, правда, осталось, но все-таки спокойнее с ним.

— Погоди! — Рита глядела куда-то мимо его лица, в перекрытое ветвями небо.— Помнишь, на немцев я у развезда наткнулась? Я тогда к маме в город бегала. Сыночек у меня там, три годика. Аlikом провуют — Альбертом. Мама больна очень, долго не проживет, а отец мой без вести пропал.

— Не тревожься, Рита, понял я все.

— Спасибо тебе.— Она улыбнулась бесцветными губами.— Просьбу мою последнюю выполнишь?

— Нет,— сказал он.

— Бессмысленно это, все равно ведь умру. Только намучаюсь.

— Я разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся.

— Поцелуй меня,— вдруг сказала она.

Он неуклюже наклонился, застенчиво ткнулся губами в лоб.

— Колочий...— еле слышно сказала она, закрыв глаза.— Иди. Завали меня ветками и иди.

По серым, проваленным щекам ее медленно текли слезы. Федот Евграфыч тихо поднялся, аккуратно прикрыв Риту ветками и быстро зашагал к речке, навстречу немцам.

В кармане тяжело покачивалась бесполезная граната. Единственное его оружие...

Он скорее почувствовал, чем расслышал, этот слабый, утонувший в ветвях выстрел. Замер, вслушиваясь в лесную тишину, а потом, еще боясь поверить, побежал назад, к огромной вывороченной ели.

Рита выстрелила в висок, и крови почти не было. Синие порошинки густо окаймляли пулевое отверстие, и Васков почему-то особенно долго смотрел на них. Потом отнес Риту в сторону и начал рыть яму в том месте, где она до этого лежала.

Здесь земля мягкой была, податливой. Рыхлил ее палкой, руками выгребал наружу, рубил корни ножом. Быстро вырыл, еще быстрее зарыл и, не дав себе отдыха, пошел туда, где лежала Женя. А рука ныла без удержу, по-дурному ныла, накастами, и Комелькову он сгорючил плохо. И все время думал об этом, и жалел, и шептал пересыхающими губами:

— Прости, Женечка, прости...

Покачиваясь и оступаясь, он брел через Синюхину гряду навстречу немцам. В руке намертво был зажат наган с последним патроном, и он хотел сейчас только, чтоб немцы скорее повстречались и чтоб он успел свалить еще одного. Потому что сил уже не было. Совсем не было сил — только боль. Во всем теле...

Белые сумерки тихоплыли над прогретыми камнями. Туман уже копился в низинах, ветерок сник — и комары тучей висели над старшиной. А ему чудились в этом белесом мареве его девчата, все пяте-

ро, и он все время шептал что-то и горестно качал головой. А немцев все не было. Не попадались они ему, не стреляли, хотя шел он грузно и открыто и искал этой встречи. Пора было кончать эту войну, пора было ставить точку, и последняя эта точка хранилась в сизом канале его нагана.

Правда, была еще граната без взрывателя. Кусок железа. И спроси, для чего он таскает этот кусок, он бы не ответил. Просто так таскал, по старшинской привычке беречь военное имущество.

У него не было сейчас цели, было только желание. Он не кружил, не искал следов, а шел прямо, как заведенный. А немцев все не было и не было...

Он уже миновал соснячок и шел теперь по лесу, с каждой минутой приближаясь к скиту Легонта, где утром так просто добыл себе оружие. Он не думал, зачем идет именно туда, но безошибочный охотничий инстинкт вел его именно этим путем, и он подчинялся ему. И, подчиняясь только ему, он вдруг замедлил шаги, прислушался и скользнул в кусты.

В сотне метров начиналась поляна с прогнившим колодезным срубом и въехавшей в землю избой. И эту сотню метров Васков прошел беззвучно и невесомо. Он знал, что там враг, знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит на него заяц.

В кустах у поляны он замер и долго стоял, не шевелясь, глазами обшаривая сруб, возле которого уже не было убитого им немца, покосившийся скит, темные кусты по углам. Ничего не было там особенного, ничего не замечалось, но старшина терпеливо ждал. И когда от угла избы чуть проплыло смутное пятно, он не удивился. Он уже знал, что именно там стоит часовой.

Он шел к нему долго, бесконечно долго. Медленно, как во сне, поднимал ногу, невесомо опускал ее на землю и не переступал — переливал тяжесть по капле, чтоб не скрипнула ни одна веточка. В этом странном птичьем танце он обошел поляну и оказался за спиной неподвижного часового. И еще медленнее, еще плавнее двинулся к этой широкой темной спине. Не пошел — поплыл.

И в шаге остановился. Он долго сдерживал дыхание и теперь ждал, пока успокоится сердце. Он давно уже сунул в кобуру наган, держал в правой руке нож сейчас и, чувствуя тяжелый запах чужого тела, медленно, по миллиметру заносил финку для одного-единственного, решающего удара.

И еще копил силы. Их было мало. Очень мало, а левая рука уже ничем не могла помочь.

Он все вложил в этот удар, все, до последней капли. Немец почти не вскрикнул, только странно, тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул скособоленную дверь, прыжком влетел в избу:

— Хенде хох!..

А они спали. Отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал, в угол метнулся, к оружию, но Васков уловил этот прыжок и почти в упор всадил в немца пулю. Грохот ударил в низкий потолок, немца швырнуло в стену, а старшина забыл вдруг все немецкие слова и только хрипло кричал:

— Лягайт!.. Лягайт!.. Лягайт!..

И ругался черными словами. Самыми черными, какие знал...

...Нет, не крика они испугались, не гранаты, который размахивал старшина. Просто подумать не могли, в мыслях представить даже, что один он, на много верст один-одинешенек. Не вмещалось это понятие в фашистские их мозги, и потому на пол легли. Мор-



ЭПИЛОГ

дамы вниз, как велел. Все четверо легли: пятый, притканный самый, уж на том свете числился.

И повязали друг друга ремнями, аккуратно повязали, а последнего Федот Евграфыч лично связал. И заплакал. Слезы текли по грязному, небритому лицу, он трясся в ознобе, и смеялся сквозь эти слезы, и кричал:

— Что, взяли?.. Взяли, да?.. Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро!.. А не прошли вы, никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каждого убью, лично, если начальство помилует! А там пусть судят меня! Пусть судят!..

А рука ныла, так ныла, что горело все в нем и мысли путались. И потому он особо боялся сознание потерять и цеплялся за него, из последних сил цеплялся...

Тот, последний путь он уже никогда не мог вспомнить. Колыхались впереди немецкие спины, болтались из стороны в сторону, потому что шатало Васкова, будто в доску пьяного. И ничего он не видел, кроме этих четырех спин, и об одном только думал: успеть выстрелить, если сознание потеряет. А оно на последней паутинке висело, и боль такая во всем теле горела, что рычал он от боли той. Рычал и плакал: обессилел, видно, вконец.

И лишь тогда он сознанию своему оборваться разрешил, когда окликнули их и когда понял он, что на встречу идут свои. Русские...

...Привет, старик!

Ты там доходишь на работе, а мы ловим рыбешку в непильном уголке. Правда, комары проклятые гонимают, но жизнь все едино райская! Давай, старик, цыгань отпуск и рви к нам. Тут полное безмашинье и безлюдье. Раз в неделю шлепает к нам моторка с хлебушком, а так хоть телешом весь день гуляй. К услугам туристов два шикарных озера с окунями и речка с хариусами. А уж грибов!..

Впрочем, сегодня моторкой приехал какой-то старикан, сегод, коренастый, без руки и с ним капитан-ракетчик. Капитана величают Альбертом Федотычем (представляешь?), а своего старикана он именует по-сконно и домоткано — тятей. Что-то они тут стали разыскивать — я не вникал...

...Вчера не успел дописать: кончаю утром.

Здесь, оказывается, тоже воевали... Воевали, когда нас с тобой еще не было на свете.

Альберт Федотыч и его отец привезли мраморную плиту. Мы разыскали могилу — она за речкой, в лесу. Отец капитана нашел ее по каким-то своим приметам. Я хотел помочь им донести плиту и — не решился.

А зори-то здесь тихие, только сегодня и разглядел.



Геннадий
Буравкин

Воспоминание о ночлеге

Лазим по орешнику, болото храбро месим,
Двину на берег тащим — трепещут невода...
А в глазах, как дымка, синее Полесье,
Неторопливой Припяти бурая вода.

Осока высокая — зелеными штыками,
Стога стоят шеломами. В тумане затон.
И над землей усталою тишина такая!
Луна тугая, желтая, как яблоко-антон.

И пахнут звезды августа дынею медовой,
Вереском медвяным пропахла роса...
А у чернобровой хозяйшки бедовой
Руки пахнут тмином, мятою — коса.

Нальет нам сыродоя прямо из доенки,
Ломоть ржаного хлеба разломит пополам,
Поднесет за ужином по чарке самогонки
И на ночь снов безгрешных пожелает нам...

И вот мы целый месяц в лесу болото ^{месим,}
Двину сетями тащим на бережок крутой...
В глазах туманной далью синее Полесье,
А на губах печалью запах мяты той.



Я в тихий лес вхожу, как будто в хату,
Где все мои воспоминанья спят.
Вдыхаю хвои запах горьковатый,
А сосны половицами скрипят.

Здесь мама, схоронясь от солнцепека,
Перебирает под зеленый шум
Лукошко земляники. Недалеко
Вздыхает дуб, как старый тугодум.

И тень листвы бежит волною зыбкой,
И тишина на тридцать земель,
Лишь скрипнет липа деревенской зыбкой
И прозвучит певучей скрипкой ель.



И слышно, на опушке вересковой
Кукушка срок отсчитывает мой...
И тихо в сердце прорастает слово,
Тяжелое, как желудь золотой.



Убегают парни в города,
Им деревни отчие постылы.
Надоели косы, грабли, вилы,
Надоела вечная страда.
Что поделать! Видно, век такой.
Время что-то нашептало в ухо...
И деревня — девка-вековуха —
Без надежды машет им рукой,
Не пытаюсь удержать парней...
Пусть уходят, пусть в забои лезут,
Добывают уголь и железо,
Пусть стоят у доменных печей.
Не взойдет на поле курослеп!..
Но с годами совестно и странно
Сознавать, что дома непрестанно
Без тебя земля рождает хлеб...

Родная хата

Подслеповата и горбата,
Порог зеленым мхом порос...
Прими меня, родная хата,
В густую тень твоих берез!..

Вынь хворостину из пробоя
На низеньких дверях твоих,
Пусть петли ржавые проноют,
Что я не смазываю их.

Пусть в обомшелых стенах тесных
Меня обнимет тишина...
За старый стол, пропахший тестом.
Я молча сяду у окна,

И посмотрю в углы пустые,
В которых плакал пареньком,
В которых строгие святые
Прикрыты белым рушником,

И вспомню грустный свет лучины,
Далекий свет тяжелых дней...
Меня отец и мать учили
Добру под крышею твоей!..



Вдоль дороги гудят столбы.
На отшибе — безмолвный сад.
То ли пыли стоят клубы,
То ли избы вдали дымят.
Годы стежкою полевой
В голубых бегут васильках...
То ли звезды над головой,
То ли яблоки на ветвях.
Ветер листьями шелестит,
Глухо груши в саду скрипят...
То ли клин журавлей летит,
То ли песни в селе не спят.
Вновь тропинки земли родной
В отчий дом меня привели...
Только мама стала седой...
Только яблони отцвели...

Перевел Валентин ТАРАС.



Яков
Козловский

Родине

Хорошо мне иль плохо,
Но — солдат рядовой —
До последнего вздоха
Я пожизненно твой.
Не пришла ко мне слава
И не явится впредь,
Но одно со мной право —
За тебя умереть.
Высоко,
может статься,
Поднимусь, лишь как дым,
Но живу, чтоб остаться
И посмертно твоим.

Память

Где арбуз именуется гърбуз
И в тельняшке лежит на бахче,
Серый коршун, как будто бы
аргус,
У кургана сидит на плече.
Страшный суд для него
небылица,
И боится он только ружья.
Годы ветрены, но не пылятся
Обнаженная память моя.
Снова вижу я, как спозаранок,
Приминая седую траву,
Гонят в отчую степь
полонянок
Из окрестных селений ко рву.
Вахман в диск загоняет патроны,
Вся работа еще впереди.
И не вскрикнут босые мадонны,
Прижимая младенцев к груди.
Время,
сможешь ли переупрямить
День, представший библейским
очам!
Я, тобою истерзанный, память,
Слезы лью и кричу по ночам.
Я молю:
отпусти меня с миром,
Но повсюду идешь ты за мной.
А девчонка целуется с милым
В трех шагах от могилы
степной.

В осенней чаще

Клен золото бросает на кон,
Как будто продувной игрок.
И ворон, черный, словно
дьякон,
Таращит на него зрачок.

И обнажающейся чащею
Вновь бродит женщина одна,
Чья грустью, светлой и
щемящей,
Душа непраздная полна.

Когда невинно цвел терновник
И пчел поил, как из пиал,
Жених, а может быть,
любовник
Ее здесь сладко целовал.

Дерев качели в бликах сини
Раскачивали птиц вокруг,
Чьи певчие кочевья ныне
Безмолвно движутся на юг.

И женщиной без слез оплакан
День, походивший на зарок.
И ворон, черный, словно дьякон,
Таращит на нее зрачок.

Усыновленные слова

Был затуманен и задымлен
Их тайный путь, которым встарь
Они от персов или римлян
Пришли когда-то в наш словарь.

Задумаюсь над словом «сфера»,
И удивлюсь опять:
ужель
Еще Эллада до Гомера
Качала «сферы» колыбель!

И, зажигаясь, словно свечи,
Иноязычные слова
Всегда имели в русской речи
Неущемленные права.

И, находясь при славном деле,
Перед другими не в тени,
Давным-давно, как обрусели
Усыновленные они.

Сказал Маршак однажды так...

Сказал Маршак однажды так,
Как мог сказать один Маршак:

— Я переводчик на Руси
И словом дорожу,
Но я, в отличие от такси,
Не всех перевожу.



**Евгений
Винокуров**

Мы были молодыми

Молодыми бывали
И мы. «Все на свете пустяк!»
Уходя, забывали
Калоши, бывая в гостях.
Танцевали кадрили,
Мазурку и па-де-труа...
«Толковать» выходили,
Снимая часы, за дрова.

Молодыми бывали.
Певали подчас тенорком.
И цветы обрывали
Ночами с газонов тайком.
Был наш взор независим.
Не думали нравиться всем!
И родителям писем
Почти не писали совсем.

Молодыми бывали.
И, громко стуча, не со зла,
Мы подчас забывали
По суткам в «очко» и в «козла».

Нам бы точку опоры!
Но где ж ее взять молодым?
Дым, и споры, и споры,
Все споры, и споры, и... дым.

Молодыми бывали.
Мы жили, вдруг скиснувши, но
Вдруг искрясь, как в бокале
Искрится при лампе вино.
Юность, право ж, всеядна,
И жизнь нам казалась мила...
Очень было приятно
Поглядывать нам в зеркала.

Молодыми бывали.
И в те озорные года
Правду-матку рубали!..
Ну... правда, не так уж всегда.
Образ мыслей возвышен!
И не было, помню, у нас
Ни вот этих залысин,
Ни этих морщинок у глаз.

Молодыми бывали.
Мы шли тогда, медля, как вброд,—
Замышляли не дале,
Как только на сутки вперед.
Обрывали: «Короче!»
«Довольно!» — кричали, дерзя.

Была жизнь прямо в очи,
А было напиться нельзя.

Молодыми бывали.
Любовь бы найти, это да!
Остальное детали!
Все мелочи, так. Ерунда.
Только бы за раззяву
Не приняли нас! Осерчась,
Мы хотели бы славу.
Да нет же, не завтра. Сейчас!

Молодыми бывали.
Плевали на вкус и на такт.
У соседа сдували,
Прикрывшись ладонью, диктант.
Заводили пластинку,
Подруг приглашали на вальс,
Подчиняясь инстинкту,
Глубоко живущему в нас.

Молодыми бывали.
Вертелись на кольцах в пустом
Тренировочном зале
И прыгать умели с шестом.
С пылом бычьим и дюжим
Мы шкаф выносили, сопя,
Гоготали под душем
И хлопали смачно себя.

Молодыми бывали.
Мы жили семьею одной
И на лесоповале,
На торфе и на посевной.
Все, что связано с риском,
Любили. Хоть не без труда
В снаряжение туристском
Мы лезли черт знает куда!

Молодыми бывали.
И сами не знали о том!
Понимали едва ли,
Что учим, читаем, поем.
Выступали неловко,
Не прямо подчас, а в обход...
Шла, как надо, перловка
В столовой студенческой в ход.

Молодыми бывали.
Скребли, провинившись, полы!
В саже, в поте и в зале
Мы терли на кухне котлы.
Танцплощадка стонала.
Входили — и общий поклон!
За четыре квартала
Бил в ноздри одеколон.

Молодыми бывали.
Весь день, не щадя живота,
Мы в футбол забивали,
Как дети, — в одни «ворота».
Вкусно резали палки
В лесу перочинным ножом,
Составляли шпаргалки,
Слунявили карандашом.

Молодыми бывали.
Ходили в кино «Орион».
И билеты сбывали
Втридорога на стадион.
Мы еще ведь не старцы!
Подумаешь: время! Дела!
Только юность сквозь пальцы,
Как будто песок, протекла.

Молодыми бывали.
А в том, что, мол, время течет,
Мы в те годы едва ли
Себе отдавали отчет.
С фамильярностью людям
Мы клали ладонь на плечо.
...Молодыми мы будем,
Я думаю, в жизни еще!

Молодыми бывали.
И, ворот раскрыв средь зимы,
Только, может быть, в дали
В то время и верили мы.
На морозе, как в дыме,
Мы шли, расстегнувши пальто.
Были ведь молодыми
Когда-то и мы... Ну и что!

Формула

Я видел,
как машина сшибла на улице
школьника,
шедшего с экзаменов...

Он лежал на мостовой.
На заголившейся руке, высоко,
около локтя,
была написана чернильным карандашом
формула...

Я когда-то начинал стихи с «о!».
Я не знал ничего.
Я был самонадеян.
Я искал невероятных трагедий,
неслыханных ситуаций,
исключительных сюжетов.
Я смотрел ввысь, куда-то
поверх голов, домов, облаков...

...А жизнь бывает
проста и страшна,
как эта формула...

Фортуна

Мы часто распускаем нюни —
Мол, невезение одно:
Ведь мы-то знаем, что фортуна
На свете все подчинено.

Еще она зовется: случай...
Заслышишь, и в груди замрет:
То колеса ее
скрипучий,
Необратимый поворот!

Еще она зовется: мойра...
Береговая полоса,
Где вдоль масляного прибора
Подняли греки паруса.
И низко молятся когорты...

Она вступает на порог —
Гремят тяжелые ботфорты.
И тут она зовется: рок.



**Алексей
Пьянов**



А море похоже на прачку...
С утра начинается стирка.
Туман над водой клубится,
Как пар над горячим чаном,
Пахучая белая пена
С шипеньем летит на берег.
А море стирает, стирает.
Угрюмые драит скалы,
Лобастую гальку моет,
Азартно полощет пески.
И вдруг приутихнет к полудню.
И сушит на ярком солнце
Утесы, пески и гальку,
Блещающие чистотой.
А к вечеру снова за дело.
И так с сотворения мира:
Стирают, стирают, стирают
Моря свои берега...
Стою у воды удивленный
И зависти не скрываю:
Какая верность работе!

Киж

Ну разве он забудется, скажи,
Тот остров, где с тобой мы ночевали,
Где нас рябины щедро врачевали,
Где нас учили мудрости Киж!
Как там свободно было и легко!
Унылая обычность не грозила.
Нам тетка вечерами молоко
С материка на лодке привозила.
И скрип уключин, будто бы орган,
Звучал в тиши торжественно и гордо.
Могучие мажорные аккорды,
Как эхо, повторяли берега.
На острове просторно в сентябре,
Величественно, празднично, неброско...
Соборы, как серебряная брошка,
Приколота к бархатной заре.
Онежская закатная вода,
Погост с позеленевшими крестами,
Где кижские строптивые крестьяне,
Отбушевав, остались навсегда.
Да, милостива к нам была судьба:
Нам все с тобой в ту осень удавалось...
Рябины горечь на твоих губах,
Она и на моих губах осталась.

Соловки

И вот показался остров.
Забытая богом земля
Над тихой водой, как остов
Погибшего корабля.
Соборы вдали маячат,
Пронзая синюю высь.
Их маковки, словно мачты,
Над островом вознеслись.
Казалось, что здесь циклопы,
Как в мячики, в валуны
Играли, а это холопы
Воздвигли сказку стены.
Безграмотные, босые,
Хитры, работащи, ловки
На самом краю России
Придумали Соловки.

Дом колхозника

Дом колхозника.
Все в нем просто.
Деревенский нехитрый уют.
Здесь постелят льняную простынь,
Молока парного нальют.
И, теплу домашнему рады,
Люди каждый вечер подряд
Обстоятельно слушают радио,
О политике говорят.
Разговоры за чаем поздние,
Хоть вставать на рассвете им...
Я люблю тебя, Дом колхозника,
И считаю тебя своим.

□ □ □



Инна
Кашчева



Однажды кто-то говорил кому-то,
не поднимая равнодушных век,
что ремесло веселого Амура,
мол, устарело в наш практичный век.

А я в тот миг на небо посмотрела,
а там Амур, представьте, пролетал

и с детской деловитостью считал
зажатые в смешной ручонке стрелы.

Счастливые какое ремесло:
людей, еще чужих, дарить друг другу...
Хочу, чтобы Амуру повезло,
чтоб он набил, как говорится, руку.

Я славлю род оружия его,
разящего для продолженья рода.
Стреляй, Амур, с любого небосвода
в ровесника любого моего.

Стреляй по молодым и по седым,
возможность дай своей счастливой жертве
вдруг замереть в немыслимом блаженстве
под милосердным выстрелом твоим.

Суть жизни человека такова:
под светлым небом от любви рождаться
и ждать, чтоб кулачок твой вновь разжался,
свободная вздохнула тетива...

Чтоб эхом вдоха чей-то вздох вдали,
рука у сердца, торопливый шепот...
Тебе удался твой усердный опыт:
твой лук — перпетуум мобиле любви.

Добра воинственность твоих затей.
Ты существуешь, заявляю прямо,
и только ты, Амур, имеешь право
стрелять в людей. Стрелять в людей!

Зимняя Молдавия

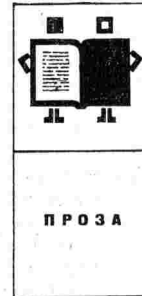
Спросила: «Молода ли я?»
Спросила: «Я стройна!»
Она, моя Молдавия,
Медовая страна,
Неужто напророчили
Давно когда-то мне
На жизнь ли, на полночи ли
Очнуться в той стране!!
Мне это не запомнилось.
Никто не виноват,
Что в первый раз

за пролитый

Мы пили виноград.
За эти лица добрые,
Добрей земли самой,
За эти ночи долгие
Наедине с зимой.
Откуда чудо снежное,
Где солнце без конца!
Ты нежная, мятежная,
Как пляски у костра.
Друг друга мало знавшие,
Вот так мы и нашлись
под звездами молдавскими...
На миг! На век! На жизнь!
Слепи же неожиданной
Снежинкой на руке,
Люби же! Но держи меня
На трезвом ветерке.



Сергей
Антонов



ЦАРСКИЙ ДВУГРИ- ВЕННЫЙ

ПОВЕСТЬ

Рисунки Н. Цейтлина.

Все это случилось давно-давно, когда деньги называли червонцами, люди жили без паспортов, кино смотрели по частям, боролись с волокитой, трамбовали бетон ногами, мастерили детекторные радиоприемники, когда в моде были штиблеты фасона «шимми» и на базарах продавали занимательную игрушку «борьба Маркса с торгашами».

В те далекие времена, когда были еще живы изобретатель граммофона Томас Альва Эдисон и великий художник Репин, а Маяковский дописывал знаменитую поэму «Хорошо!», ревизор международных вагонов прямого сообщения Зиновий Мартынович Таранков прибыл домой выпивши.

Прибыл он среди ночи и с клеткой. В клетке бились два голубя.

Хотя ревизор долго плутал под дождем, клетку он все-таки дотащил и положил на кровать в ноги.

Проснулся он от голубиного гуркования. В памяти всплыла вчерашняя пирушка, длинная карточная баталия, сперва преферанс, потом «по носам». Хозяин проигрался в пух и прах и вместо выигрыша всучил сильно выпившему ревизору голубей.

1
Припомнив всю эту чертовщину, Таранков выплюнул изо рта перышко и велел сыну убрать клетку с глаз долой.

Сына Таранкова во дворе звали Таракан. Таракан никогда не смеялся. Лицо его казалось костяным. Сколько ему было лет — тринадцать или четырнадцать, — отец не помнил, а сам Таракан не знал. Мать его оставила в наследство сыну зеленоватые, золоченые глаза и сбежала с дутовским есаулом куда-то в Харбин. Таракан был мальчишка тщедушный, но отчаянный. Все знали, что где-то на себе он прячет острый, как бритва, самодельный кинжальчик — «перышко», — и без нужды к нему не приближались. Таракан вынес клетку с голубями во двор.

— Митька, смотри-ка, — простонал вымазанный чернилами Коська. — Вот это так крем-бруле!

Долговязый Коська знал множество красивых выражений: «Крем-бруле», «Я по-прежнему такой же нежный» и даже «Лиловый негр мне подает пальто», — но применял их не всегда к месту. Парень он был туповатый и думал, что в Америку ездят на поезде.

Вместе с мальчишками подошла поглядеть на голубков и шестилетняя Коськина сестренка Машутка, замечательная тем, что почти со дня своего рожде-

ния носила дамскую шляпу с большим зеленым пером.

Ребята любовались голубями. Только Славик сидел на корточках возле помойки и, притворяясь занятым, выковыривал щепкой из земли винтовочный патрон.

Среди дворовых ребят царили твердые правила и обычаи. Например, дома рубли назывались рублями, а во дворе — хрустами. Перед дракой обязательно надо было засучать рукава. Слабый должен беспрекословно слушаться сильного. Всем было известно, кто кого должен бояться. Машутка боялась Митю, Митя боялся Коську, а дылда Коська, хотя ему и стукнуло пятнадцать лет и у него уже была дама сердца, боялся Таракана.

Славик боялся всех, даже Машутку.

Только что получив от Коськи ни за что по уху, он решил выказать гордость и некоторое даже чувство собственного достоинства. «Сейчас позовут, — думал он, — а я скажу: благодарю вас... Мне некогда. Ко мне с минуты на минуту придет учительница музыки... Кроме того, у меня будет день рождения, и мне подарят турманов не хуже ваших».

Но его, к сожалению, никто не звал.

Некоторое время ребята смотрели, как Таракан выправляет погнутые прутья клетки. Потом Коська спросил:

— Ты чего это делаешь?

— Стригу шерсть с черепахи, — ответил Таракан. Зрители почтительно помолчали.

Конопатый до самых ушей, будто заржавленный, Митя протянул загадочно:

— А я знаю, где сетку для голубятни стирать!

Водить голубей была его заветная мечта.

— Думаешь, Таракан сам не знает? — сказал Коська. — Голубей гдей-то унес, так сетку и подавно унесет. Таракан чего хочешь стирать.

Примитивная лесть не подействовала. Таракан в беседу не включался.

— А голуби дорогие. Чистые, — сказал Коська.

— Ясно, чистые. Трубащи, — согласился Митя и, чтобы понравиться Таракану, добавил: — Три хруста пара. Не меньше.

— Ну да, три! — возразил Коська. — Пять хрустов.

Мальчишки выжидали. Митя понимал, что кого-то из них Таракан обязательно должен взять в напарники.

На общем дворе, куда выходит не меньше шести-десяти окон, одному человеку голубей не уберечь. — Вот ты, Коська, заладил: пять хрустов, пять хрустов, — а не знаешь, почему трубаща называют трубочом. А я знаю, — похвастал Митя.

— И я знаю.

— Почему?

— Потому.

— А почему?

— Потому что они трубят.

— Ты что, очумел?

— А чего? Раздувают зоб и трубят нутром.

— Трубащ залетает на небо и падает от удара камнем, — снисходительно объяснил Митя. — Падает и перекувыркивается. И, не разобравшись, может угодить в трубу. Потому и называется трубащ.

Ребята посмотрели на Таракана. Он и на этот раз не изъявил желания включиться в беседу.

— Я так считаю, что голубятню надо ставить на крыше. С нашей крыши всех голубятников видать. Четыре этажа не шутка.

— Это правда, — добавил Коська. — С нашей крыши всех голубятников видать.

Таракан не отозвался и на это разумное соображение.

Он вычистил клетку и собрался уходить.

И тут Коська не выдержал.

— Таракан, прими, а-а-а! — заныл он, как нищенка. У него ломался голос. Он ныл то басом, то тенором.

Таракан скрестил руки на груди — принял позу, как известно, не предвещающую ничего хорошего со времен Бонапарта.

— А кто пожалел пирога с визигой, когда Таранков согнал меня с квартиры и я голодал три дня, как собака? — спросил Таракан.

Он называл родного отца не иначе, как по фамилии.

— У нас пирогов сроду не варят, — сказал Коська. — У нас и печки нет, чтобы пироги варить.

— Чужому побирушке и то подают, когда он голодает, а тут свой же кореш застывает от холода-голода, выгнанный родителем из дома... — Голос Таракана дрогнул. Как истинный атаман, он любил посентиментальничать. — Свой же кореш застывает от холода-голода, а они куска не вынесут. А ну, давай отсюда! — взъярился он внезапно.

Коська и Митя мигом отлетели к черному ходу.

— Двор не твой. Двор народный, — сказал Митя. — Он потоптался на крыльце. — Пошли к нам, Коська! Ну его с его голубями! Пошли, меду пошамеем.

Минут через пять ребята высунулись из окна третьего этажа. Оба держали ломти хлеба, залитые медом, на растопыренной пятерне, как блюдца.

— Разве это голуби? — сказал Митя из окна. — Вот у Самсона голуби, так голуби.

— Да! — подтвердил Коська. — У Самсона голуби — крем-бруле!

— У Самсона, я видал, мохначи, так это действительно мохначи. Пять хрустов пара. А за этих хруста никто не даст.

— Кому они нужны, за хруст-то, — согласился Коська, слизывая мед с пальцев.

— Заморенные какие-то. Лохматые. Сроду не видал таких лохматых голубей. Они, я думаю, не чистые трубащи.

— Они рядом с чистыми не сидели.

— Они, Коська, на курей похожи, — засмеялся Митя.

— Это верно, — гоготал Коська то басом, то тенором. — Это куры у него, а не голуби...

Тонкие губы Таракана сошлись в ниточку. Он стал искать глазами камень. Взгляд его наткнулся на Славика.

— Огурец! — позвал он. — Иди сюда!

Славик растерянно поднялся, сделал шагов пять и остановился.

— Мне домой надо, — сказал он. — Ко мне должна прийти учительница музыки. С минуты на минуту.

— Иди, не трону, — подбодрил его Таракан.

Славик стал пододвигаться вроде бы к Таракану, но в то же время и немного в сторону. Ясно, что Таракан задумал какой-то подвох.

Ни над кем так часто не потешались во дворе, как над Славиком. Происходило это, наверное, потому, что у него была продолговатая голова. У всех ребят головы были круглые, а у него длинная. За эту неприличную голову его дразнили «Клин башка» — попереки доска и прозвали Огурцом. К прозвищу он привык и откликался беззлобно, а дома мечтал иногда, что в одно прекрасное утро проснется с круглой, как колобок, головой и выйдет во двор такой же, как все...

Недавно Коська ни с того ни с сего предложил ему поиграть в красных дьяволят. Славик радостно согласился. Коська велел ему встать на пост возле

дровяного сарая и пообещал вынести из дома настоящее ружье. Он спросил, держал ли когда-нибудь Славик на плече ружье. Славик честно признался, что не держал. Коська согнул ему правую руку в локте, ладонью вверх, велел закрыть глаза и побежал за ружьем. Замирая от счастья, Славик крепко зажмурился. Он слышал, как пискнул, не удержавшись от смеха, Митя, слышал тонкий голос Машутки: «Ну не надо... ну зачем вы его», — но ни тени сомнения не закралось в его доверчивую душу. Он только спросил: «Скоро?» — услышал: «Сейчас, сейчас!» — и вместо надежной тяжести правдашнего приклада ощутил на ладони мокрое. Он открыл глаза. Сердобольная Машутка стыдливо хихикала. На ладони Славика лежала куриная какашка.

Славик покраснел, очистил травой руку, деликатно посмеялся вместе со всеми. Потом ушел домой, чувствуя себя почему-то виноватым, и не выходил во двор два дня...

— Ну чего застыл? Топай! — звал его Таракан.

— Мне домой надо. Ко мне должна прийти учительница музыки. С минуты на минуту.

— Иди, не трону... У меня к тебе клевое предложение. Хочешь голубей водить?

Славик выпучил большие серые глаза.

— Чего зенки выпулпил? Хочешь?

— Хочу, — сказал Славик тихо.

Таракан открыл дверцу. Два голубя мраморной масти важно вышли на травку.

Голоса на третьем этаже затихли.

Славик вроде бы не понимал, чего от него хотят. У него звенело в ушах.

— Не надо, Таракан, — боязливо проговорила Машутка. — Чего ты...

— Ну, выбирай!

Славик, замирая, показал на ближнего.

— Женский пол уважаешь? — Таракан ухмыльнулся.

Славик сказал, что уважает.

— А можно, я моего голубка поглажу?

— Это не голубок, а голубка. Самка. Ясно?

— Ясно. А можно... — Славик громко сглотнул, — я мою самку в руки возьму?

— А мне что? Она твоя. Хоть хвост отрывай.

И Таракан с удовольствием метнул взгляд вверх на неподвижные, онемевшие головы.

Славик поднял с земли голубку и осторожно понес по двору. Машутка, тихонько причитая, шла рядом.

— Какой из него голубятник! — плаксиво выкрикнул Коська. — Он свистать не умеет.

Таракан и ухом не повел.

— А я знаю, зачем ему Огурец! — съехидничал Митя. — Голубям шамать надо, а у Таранковых у самих всегда жрать нечего.

«Ну, ладно. Сейчас я тебя достану, конопатый», — подумал Таракан.

— Огурец, как считаешь? — спросил он звонко. — Коську возьмем? — и, не дожидаясь ответа, позвал: — Коська, слезай!

— Больно надо, верно, Коська? — залебезил Митя. — Еще неизвестно, где он голубей стащил, верно? Он их на базаре стырил... Привлекут, тогда узнает... И Огурца с ним привлекут. Хочешь еще с медом?

— Давай, — сказал Коська.

— Выходи! — зазывал Таракан. — Не трону!

— Больно нам надо ворованных голубей! — быстро говорил Митя. — Ворованные, они все равно к старому хозяину полетят. Верно, Коська? Мы, если захотим... Куда ты? Значит, ты так? Да? Так?

— А если нет, то почему? — бесстыдно прогово-

рил Коська и появился на крыльце, облизывая сладкие пальцы. В затруднительных обстоятельствах он обыкновенно прикидывался дурачком, и это у него хорошо получалось.

— Больно надо! — сиротливо выкрикивал Митя. — Курей водить! Привлекут!.. Больно надо!

— Теперь ты, Огурец, и ты, Коська, все равно, что я, — сказал Таракан. — Наша задача одна: загонять чужаков. Ясно? Голубятники понесут выкуп — заешево не отдавать. Торговаться до поту. Всю выручку — в копилку. А когда копилка набьется полная и деньги не станут пролезать в дырку — ясно? — мы ее об кирпич — и каждый бери, сколько надо...

— А у Коськи на носу черти ели колбасу! — жалобно донеслось сверху.

Таракан подождал, не будет ли еще чего. Больше ничего не было.

— Каждый бери, сколько надо, и девай, куда хочешь, — продолжал Таракан. — Хочешь — на кино, хочешь — на шамовку. Хочешь — в ресторан к изпа-чам шамать иди.

— Вот это да! — загоготал Коська. — Ноги вымою и пойду в ресторан... Лиловый негр вам подает пальто. Мстительно прищурившись, Таракан взглянул вверх. Рыжая голова исчезла.

Митя уполз страдать в глубину комнаты.

2

После завтрака мама разрешила Славiku подышать воздухом.

Дышать воздухом полагалось в соборном садике. Там росли акации со стручками, и между акациями, по гравийной дорожке, как в мирное время, гуляли приличные дети.

Славик выбежал во двор. Никого не было. Только Машутка стерегла белье.

— Огурец, айда в камушки! — позвала она.

Славик мотнул головой. Ответить он не имел возможности. Только что на кухне он залил в рот полкружки воды и вынес ее во рту из дому.

Он посмотрел, не выглядывает ли из окна Мама, и вместо того, чтобы дышать воздухом, полез по отвесной пожарной лестнице на крышу.

Лестница болталась и гремела. Взрослые без особой надобности по ней не лазили. Но Славик забрался благополучно.

Он нес голубям завтрак.

Голубятня наполовину высывалась из слухового окна и глядела на юг. Торцовая рама, затянутая сеткой, выдвигалась вбок, как крышка пенала.

Голуби привыкали к месту. Чтобы трубаки не скучали, им в компанию была прикуплена пара копеечных, разномастных скобарей.

Когда Славик подошел, вся четверка сидела на жердочке, нахохлившись, будто на приеме у зубного врача.

Птицы одинаково, одним глазом, посмотрели, кто пришел, и отвернулись.

Даже Зорька — так Славик назвал свою мраморную голубку — не проявила радости при виде хозяина. Вероятно, она ожидала Таракана или на худой конец Коську.

Славик достал из голубятни банку, вылил в нее из рта воду, поставил банку на место, покрошил хлеба.

С высоты четырех этажей хорошо был виден весь город: и громадный, похожий на мечеть собор, построенный неожиданно разбогатевшим и вследствие

этого поверившим в русского бога татарин, и дико разросшийся вокруг собора садик, тот самый, где дышали воздухом приличные дети. Про татарина-выкреста рассказывали, что он обеднел так же быстро, как и обогатился, и умер, всеми покинутый, со словами корана на устах: «Кого проклинает аллах, тому не найти помощников...» Видна была и каланча, на которой зажималась сверкала каска пожарника, и остро заточенный карандаш колокольни, на которую залезал сам Пугачев, когда собирался «заморить город мором».

С другой стороны, за цирком, Куликовой битвой гудел и топтался базар, и, как насосы, в себя и из себя, ревели ишаки, а еще дальше темнели добротные крыши Форштадта. Там обитали потомки славного яйцкого воинства, трудовые казаки, хвастали своими дедами и прадедами, пасли гусей и откармливали чушек.

Большой дом, в котором жил Славик, назывался домом Доливо-Добровольского. После революции дом был национализирован. Бывшему хозяину оставили две комнаты, а в просторные квартиры поселили железнодорожных рабочих и служащих, стоящих на платформе Советской власти.

В дом Доливо-Добровольского упиралась Артиллерийская улица, знаменитая не артиллерией, а тем, что на ней проживал кривой Самсон, владелец самой большой во всем городе голубиной стаи.

Вряд ли у кого-нибудь в другом городе, даже в Москве, была такая богатая стая. Рассказывали, что Самсон давно потерял счет голубям и не может отличить своих от чужаков.

Лестница загремела. Над крышей высунулась рыжая голова Мити.

— Нету? — спросил Митя.

Славик понял, что вопрос относится к Таракану.

— Нет, — ответил Славик. — Заходи.

Митя подошел, присел на корточки и спросил:

— Который твой?

— Вон тот. Крайний. Называется Зорька.

— Давай его сахарком угостим. Пускай погрызет.

Митя зачерпнул из кармана горсть гвоздиков, цветных стеклышек, ломаных оловянных солдатиков и разыскал среди этого добра черный кусочек сахара.

— Не надо, — сказал Славик. — Скобари отнимут.

— А ты ее достань. Мы из рук угостим.

— Нельзя. Во-первых, ты бы уходил, Митя. Таракан увидит — обоим достанется.

— Крыша не его, — возразил Митя. — Крыша народная. Пусть только тронет. Я тогда у вас всех голубей выпускаю.

— Вот так здорово! А моя голубка при чем?

— Твоя! Ты ее и тронуть боишься.

— Почему боюсь? Нисколько не боюсь.

— Ну так достань. Чего же ты?

— Как ты не понимаешь, Митя... Голубей на руки брать нельзя. От рук они лысеют.

— Ладно заливать! Лысеют!.. Таракана боишься... Так и скажи. Ну, открой сетку. Положим ей сахарку.

— И открывать нельзя. Отойди.

— Вот хозяин! — ухмыльнулся Митя. — Того нельзя, этого нельзя. А чего тебе можно?

— Как чего? — Славик смутился. — Водичку давать можно. Смотреть можно.

Митя прошелся по крыше, почесал ногой ногу и сказал:

— Никакой ты не голубятник.

Славик сделал вид, что не слышал.

— Никакой ты не голубятник, — повторил Митя, — а обыкновенный лакей. Как при барирах были лакеи, так и ты при Таракане лакей.

— Ну и ладно, — Славик подумал немного. — Какой же я лакей, когда он мне Зорьку подарил? Лакеям трубочек не дарят.

— Подарил, а в руки взять не смеешь. Она тебя и за хозяина не признает.

— Кто?! Зорька?! Не признает?

— Ну да. И не глядит на тебя. Тоже называется хозяин!

— А вот сейчас увидишь. Гуля-гуля! Ну и чего? И чего? И ничего особенного. Ей кушать не дали, она расстроилась... Гуля-гуля!.. Ее скобари побили... Зорька, Зорька, на-на-на!..

— Не глядит! — с удовольствием отметил Митя.

— Погоди, я спою. Коска им пел, они глядели...

И Славик торопливо запел:

— Ах Мотя, подлец буду.

Твой взгляд я не забуду.

Ведь я любовь потратил на тебя...

— Все равно не глядит, — безжалостно повторил Митя. — Хоть пой, хоть пляши.

Во дворе послышался голос Митиной матери.

— Тебя зовут, Митя, — сказал Славик.

Митя прислушался.

— Уже перестали... Лакей ты, Огурец, и больше ты никто. Как раньше говорили: верный подданный.

— Погоди. Сейчас увидишь.

Славик достал голубку, посадил на колени, соскреба крошки, прилипшие к пузу. Она стала доверчиво клевать с ладони.

— Ну чего! — ликовал Славик. — А ты говоришь: не глядит!

— Так-то она каждого признает, — заметил Митя. — Вот если бы она без шамовки пошла, тогда бы да.

— И пойдет! — кричал Славик. — Тащи ее куда хочешь!

Митя отнес Зорьку на край крыши и отошел. Зорька посмотрела вниз, на двор, потом вверх, на солнышко, вспрыгнула на ребро водосточного желоба, устроилась поудобнее и задремала.

— Зорька, Зорька! Гуля-гуля! — позвал Славик.

Она не открыла глаз.

— Может, ее вовсе и не Зорькой звать? — спросил Митя. — Может, она Варька?

— Какая тебе Варька! Это же моя голубка. Я знаю лучше тебя, как ее звать! Зорька! Зорька!

— Варька! Варька!

— Зорька!.. Перестань, Митя! Зорька!

Митя пулынул в нее стеклышком.

Голубка испугалась и пошла. По пути замешкалась, клюнула шляпку гвоздя, и, нежно капая лапками по железу, направилась к Славiku.

— Я тебе говорил! — завопил Славик. — Она меня обожает, если ты хочешь знать!

— Давай спорить, что нет, — сказал Митя.

— Нет, обожает! Крылья развяжу, а она не улетит!

— Улетит.

Подражая Таракану, Славик сжал ротик.

— Если бы ты знал, как ты меня раздражаешь, Митя! — сказал он.

Он прищипнул Зорьку коленями, порвал нитки стягивающие перья, и поставил ее на лапки.

Голубка отряхнулась.

— Кыш! — сказал Митя.

— Никуда она от меня не уйдет! — хвастал Славик. — Смотри!

Он подбросил голубку в воздух. Она мокро зашлепала крылом о крыло и села.

— Умница! — Славик погладил ее по головке. — Какая ты у меня прелесть!.. Митю не принимают, он и наговаривает на тебя. Ему завидно, он и наговаривает...

— Больно надо! — грустно протянул Митя. — Пойду сейчас домой, растоплю оловянных солдат, буду биток заливать... Больно надо!

Славик внимательно посмотрел на него.

— Хочешь, Митя, я Таракана попрошу? Он тебя примет.

— Не примет.

— Прими. У нас же четыре голубя. А водим трое.

— Не примет. Я его Болдуином обозвал.

— А кто это?

Митя вздохнул.

— Ничего, Митя... Скажи Таракану, что хлеба будешь носить, он и примет. Хлеба много надо. Половину голуби кушают, половину Таракан.

На каланче пробило одиннадцать, и кривой Самсон поднял своих голубей. Поклубившись возле усадьбы, они метнулись к базару и стали набирать высоту. В конце базара стая резко срубила угол и прошла над головой Славика двумя этажами.

— Вот как правдашные голуби-то гуляют, — сказал Митя. — А твою и летать не может. Курица.

Ответить Славик не успел. Как будто расколдованная, Зорька вздрогнула, нырнула вниз и потерялась из вида. Через секунду она внезапно появилась со стороны улицы, пологими кругами, словно по винтовой лестнице, забралась высоко в небо, спланировала и села на крышу цирка.

Она устроилась там на деревянной букве «Ц» и стала укладывать перышки.

— Неси трубача на подманку! — встревожился Митя. — Быстро!

— Что ты! — Славик еще не понимал беды. — Таракан не позволяет...

— Неси, тебе говорят! Уйдет!

Пока Славик бегал к голубятне, Самсонова стая прозрачной лентой прошла мимо цирка. Он увидел, как Зорька, нагнала стаю, кокетливо пошла рядом, не смешиваясь с чужаками, словно прогуливалась сама по себе и не имела к ним никакого интереса.

— Прилетит... — шептал Славик дрожащими губами. — Никуда не денется... Прилетит... Что вы, товарищи!

Митя выхватил у него голубя, посадил на трубу. И Зорька увидела супруга.

Она отвалила в сторону, камнем пошла вниз, и, распахнув крылья с пуховыми подмышками, описала вокруг него циркулярную окружность.

Связанный трубач изобразил полное безразличие. Зорька замкнула второй круг и снова села на букву «Ц».

Как сквозь сон, Славик услышал рояль. Мама играла: «Оружием на солнце сверкая...». И не в лад музыке Самсон стал стучать палкой по пустому ведру. Он сзывал стаю на обед. Судя по стуку, ведро было мятое, как бумага.

Плотным ковром-самолетом голуби пролетели вдоль улицы, и, когда цирк снова открылся, Зорьки уже не было.

— Ну, все, — сказал Митя, — теперь тебе ее не видеть, как своих ушей. Задешево у Самсона не купишь.

— Не бойся... — лепетал Славик. — Она прилетит... Она где-нибудь спряталась.

— А все почему? — назидательно проговорил Митя. — Потому, что свистать не можешь. Какой же голубятник без свиста? Ну, я пошел биток заливать.

— погоди, Митя, — взмолился Славик. — Пожалуйста, подожди... Она прилетит... Давай спрячемся, она и прилетит.

Умные голуби Самсона осторожно, словно боясь обжечься, опускались на высокий заплот. Где-то среди них была Зорька.



— Тикай, Огурец, — посоветовал Митя. — Таракан придет, плохо будет.

Тикать было поздно. По крыше шел Таракан. Щетки его были надуты.

Он погрозил Мите, вылил изо рта в банку воду, утерся локтем и пообещал:

— На панель скину, все конопатины растеряешь! Он был в добродушном настроении.

Ребята притаились. Таракан взглянул на голубятню и сразу все понял. Лицо его стало косящимся.

— Она прилетит... — проговорил Славик придавленно. — Я ей хлебца... а она... Я больше не буду...

Таракан встал над ним. «Сейчас побьет», — подумал Славик и зажмурился.

Мама второй раз начала «Оружием на солнце сверкая...». Она играла о том, что у нее все в порядке, папа обещал рано вернуться со службы, бульон получается наваристый и Славик дышит воздухом в соборном садике...

Славик опасливо открыл глаза. Таракан стоял все так же и скучно глядел на него. Митя уже не было.

— Она прилетит, — пытался объяснить Славик, — Митя сказал, что она клушка... Она и улетела...

Таракан, казалось, слушал не его, а мамину музыку.

— А Зорька моя! — неожиданно для себя взвизгнул Славик. — Захотел и выпустил! Моя Зорька! Лакеев нету!

В глазах Таракана появился интерес. Он посмотрел на Славика с любопытством, небрежно отодвинул его с пути и направился к лестнице. И железная кровля громыхала от его шагов то далеко, то близко.

Стало тихо. Мама кончила играть и, наверное, пошла на кухню.

Измученный Славик опустился у трубы. Сперва ему то и дело казалось, что возвращается Зорька. Но прилетали только галки. Прошел час, потом второй. Славик оступел и перестал надеяться. Зорька, день рождения, даже мама — все на свете стало казаться ему неважным, ничтожным.

Важным было только то, что он какой-то такой, что его брезгуют даже ударить.

Воистину: кого проклинает аллах, тому не найти помощников.

3

Таракан думал.

Если бы голубку загнал какой-нибудь форштадтский фраер, вернуть ее было бы проще простого. Забраться ночью на крышу, сбить замок — и, как выражается Коська, пламенный привет! Слободские куроеды спят крепко, цепные кобели по крышам не бегают.

К Самсону дуrom не забереешься. Зорьку придется выкупать примитивным способом — за деньги. За рубль, а то и дороже.

«Где бы наколоть рубль? — подумал Таракан. — Что бы такое продать?»

Взгляд его скользнул по солдатской постели отца, по своей просиженной и пролежанной кушетке. На кушетке валялась грязная подушка, ватное одеяло, которым Таракан укрывался круглый год. Простыней ему не полагалось.

В комнате царствовал холостяцкий порядок: венские стулья стояли по обе стороны стола, рюмки в буфете стояли по три штуки по обе стороны графини,

на, книжки лежали двумя пирамидками — большие снизу, маленькие сверху — на обоих краях стола.

Таранков понимал порядок как симметрию.

Таракан открыл ящик буфета. Там валялись сухари, сахар и бритва с костяной ручкой. Таракан уже таскал эту бритву на толкучку, но без толку: мужики смеялись, что ручка дороже лезвия.

В другой ящик в дальний угол были засунуты пронумерованные блокноты и тетрадки. Отец задумал воспоминания о местном красногвардейском отряде. Он конфузился этой работы и постоянно препятывал рукопись. Сочинял он медленней Бабе-ля: за восемь лет написал в общей сложности страничку восемьдесят, если считать копии приказов и тексты листовок.

Таракан отлично знал, где спрятаны бумаги. Когда поведение отца казалось ему особенно несправедливым, он доставал какую-нибудь тетрадку и прочитывал с полстранички вслух, издевательски завывая. На этот раз ему попался документ: инструкция для стрелка народного вооружения:

...каждый день по несколько раз быстро схватывайте винтовку, прижимайтесь к косяку, прячьтесь за стол или ложитесь на пол за что-нибудь и учитесь быстро заряжать...

...Идя по улице, приучите себя определять расстояние от вас до определенных предметов...

...Стрелять научится скоро и дешево не тот, кто будет много раз стрелять, а тот, кто ежедневно, около часу, занимается упорно «прикладкой», т. е. целится, заряжает, разряжает учебными патронами...

...Недопустимо и позорно шутить с оружием и целиться друг в друга...

...Никогда не стрелять, чтобы пугать или поднять этим свое настроение. Цельтесь и стреляйте только тогда, когда надо убить...

...Испробовав все средства морально дезорганизовать противника (переговоры, воззвания), стреляйте на выбор по руководителям противника...

Таракан спрятал бумаги на прежнее место и вытащил из-под кровати пыльный, похожий на барабан короб с ремнями. Короб был сделан из фанеры, но назывался почему-то картонкой. Картонка принадлежала матери — фельдшернице и до сих пор пахла лекарствами. Там перекачивались желатиновые капсулы-облатки, валялось черствое пожелтевшее кружево и много цветных, похожих на галстуки аптечных сигнатурок.

По видимости, отца не очень трогал тот факт, что жена бросила его и удрала с белогвардейцем в далекую Маньчжурию, в город Харбин. Как-то, крепко выпивши, отец покаялся приятелю, что сам виноват в неудачном браке. Был молодой, торопливый, выбирал жену на ощупь. Но когда Таракан загнал на толкучке добытый из той же картонки никелированный крючок (как оказалось, это был мамин крючок для застегивания ботинок), отец рассвирепел, выгнал Таракана на улицу и не пускал домой трое суток.

Мать убежала, когда Таракану было лет шесть, и он почти не помнил ее. А когда пробовал расспрашивать, рябое лицо отца каменело и стриженная под нулевку голова становилась похожей на выветренный булыжник.

Иногда Таракану было приятно без цели копаться в картонке. Перед ним возникало что-то быстрое, сияющее, с изумрудными глазами. Он любил мать и восхищался тем, что она убежала. Разве она могла жить под одной крышей с изрытым оспой человеком, который по несколько раз в день схватывал винтовку, прятался за стол и учился заряжать? Таракан гордился матерью и за то, что она нашла в себе

силы бросить единственного ребенка. Раз бросила, значит, знала, что Таракан — настоящий парень и нигде не пропадет!

У отца не хватило ума стать жуликом или нэпачом — стал ревизором; целыми днями листает папки, проверяет печати и подписи, высматривает на свет компостеры на провизионках и щелкает на счетах. Ищет дурее себя.

Интересно, что он будет делать, когда подойдет коммунизм, все станут честными и ревизоры отомрут наравне с государством?..

Где же все-таки добыть денег? Одолжить у ребят? У Коськи просить смешно. У него в руках сроду денег не бывало. Вот у Огурца отец богатый. Инженер путей сообщения. Но в Огурце бояться развивать жадность, поэтому денег ему не дают. А стащить он не сумеет. Остается, пожалуй, Митя. У него, бывает, бренчат монеты.

В окно было видно: Митя показывал Машутке оловянных солдатиков. Таракан кликнул его. Митя метнулся к крыльцу.

— Не бойся, не трону, — позвал Таракан. — Хочешь голубей шугать?

— Нет, — сказал Митя на всякий случай.

— Ну, как хочешь. Шугай тогда воробьев. А я бы тебе Зорьку отдал.

— Какой хитрый! Ее же Огурец упустил.

— Ну и что? Выкупим. Ты что думаешь, я голубей заимел, чтобы их пшеном кормить? Пшено я и без них съем. В голубях весь интерес — загонять их и выкупать... Я к Самсону собрался. Хочешь, на пару пойдем?

— А когда? — спросил Митя издали. У него было предчувствие, что Таракан заманивает его, чтобы излупцевать за голубку.

— Хоть сейчас.

— А деньги есть?

— Немного не хватает, — уклончиво отвечал Таракан. У него не было ни копейки. — Хруст бы не мешало где-нибудь вынуть. Не знаешь, где?

— Хруст — не знаю. А восемьдесят копеек можно нацарапать.

— Я давно говорил, что наш конопатый на всем дворе самый вдумчивый пацан. Другие треплются, а у Платоновых всегда деньги есть.

Было ясно: Таракан драться не собирался.

— У нас насчет этого просто! — Митя подошел к окну. — У нас получку кладут в комод. Папа получит — кладет, мама получит — кладет. Папа говорит, общий, говорит, котел. Берите, говорит, сколько хотите.

— И два рубля можно?

— Сколько хочешь, столько бери. Пахан все время спрашивает: чего это у нас Митька денег не берет? Бери, говорит, Митька, я тебя за уши драть не буду и ремнем не буду пороть.

— У тебя не вредный пахан.

— Он у нас, знаешь, какой сознательный. Будем, говорит, жить по новому быту. Его партийным секретарем выбрали. Теперь ему ни ударить, ни выпить — ничего нельзя. Захочу — три рубля возьму, и ничего не будет.

— Ну, три нам не надо. Куда столько! Тащи два!

— Чего два?

— Два рубля.

— Так ведь это после получки. Неужели не понимаешь? А перед получкой я сколько раз глядел — в комод ничего нету. Мама сама удивляется, куда это деньги горят. А папа смеется: базар близко, вот они у тебя и горят.

— Чего же ты треплешься полусту. — Таракан с

трудом сохранял спокойствие. — Ты же сам обещал восемьдесят копеек.

— А! Восемьдесят копеек? Раз плюнуть! — Митя залез на подоконник и проговорил вкрадчиво: — Знаешь, что нам надо? Нам надо ириски продавать.

— Чего?

— Ну, ириски. Ириски.

— Какие ириски? Ты чего — вовсе чокнутый?

— Нет. Ты слушай: коробка стоит сорок две копейки. А в коробке — пятьдесят ирисок. Так? Продаем по копейке штуку. Сорок две штуки за сорок две копейки. Сорок две копейки значили в карман. Так? В коробке остается восемь ирисок. За восемь ирисок выручаем восемь копеек, кладем в следующий карман. Бежим в Пайторг, покупаем за сорок две копейки, которые в первом кармане, другую коробку. Из другой коробки загоняем сорок две штуки, обратно сорок две копейки кладем в следующий карман...

— Погоди! Продали, значили... Ничего не поймешь! Это сколько же надо торговать за восемьдесят копеек?

— Десять коробок.

— Ну вот. А Зорьку надо сегодня выкупать. Она там у Самсона слюбится с каким-нибудь трубачом и привыкнет... У вас самовар есть. Давай самовар продадим.

— Что ты! А как же чай пить?

— А мы другой купим.

— Это когда еще купим... А сегодня мама придет, а самовара нет. Она расстроится.

— А ты скажи — Огурец стащил.

— Что ты! Разве Огурец стащит!..

— Ну вот. Новый быт. А самовар взять боишься.

— Да нет... Я бы взял, да у него кран текет. Погоди, папа запаяет, тогда продадим. А чего ты, ириски можно не хуже самовара продать. Встань и кричи: «А ну, налетай, ириски покупай!» И вся забота... Прошлый год, когда меня еще в пионеры не брали, я у «Ампира» четыре коробки сторговал. У «Ампира» всегда берут. Столько денег надавали, оба кармана набил. Штаны сползали — гад буду! Мама и та спросила: откуда у тебя, сынок, столько денег? И пошла общий котел проверять.

— В коробке пятьдесят штук? Точно?

— Точно. Ты гляди: вот так лежат пять рядков. В каждом рядке — десять штук. Вот и считай. Пятью десять — пятьдесят. Кого хочешь спроси. Форштадские фраера, знаешь, как друг перед другом фасонят? Один своей пять штук берет, другой своей — обязательно шесть. А ихние марухи без ирисок на бульвар не пойдут. Они только за ириски и ходят. Вот смотри! — Он крикнул: — Машутка, хочешь ириску?

Машутка подошла и встала под окном молча.

— Вот! — показал на нее пальцем Митя. — А куда им деваться? В Пайторге надо коробку брать, а у них на двоих — копеечка. Купят штучку, пополам разделят и сосут. Нэпачи — это, правда, брезгают, а пацаны берут беспрерывно.

Машутка стояла и слушала.

— Ну что же. — Таракан подумал. — Попробуем. Сбегай морду умой. Чтобы не распугивать покупателей.

— Нет, что ты! Мне нельзя!

— Как это нельзя? Шугать голубей можно, а работать — нельзя?

— Я бы пошел, если бы в прошлом году. В прошлом году я был никто, а теперь меня в пионеры взяли. Мне нельзя спекуляничать. Танька накроет.

— Что за Танька?

— Пионервожатая. Я перед знаменем обещание давал.

— Чего же ты тогда треплешься? Ты что думал? Меня поставить с конфетками?

— Почему обязательно тебя? Давай Коську попросим. Машутка, где Коська?

Оказывается, Коська отправился к крестному и вернется поздно. Крестный пилит дрова, а Коська должен сидеть на бревне, чтобы не крутилось.

— Ты чего тут стоишь? — крикнул на нее Таракан. — Чеши отсюда.

Девчонка пошла и села на свой камушек, ничуть не обидевшись.

— А знаешь, Таракан, — заметил Митя, — ты Коське, конечно, не говори, а я бы ему ириски не доверил. Мослы еще можно ему доверить, а конфеты — нет. Не стерпит, съест.

— Это верно. Все десять коробок сшамает.

— А, знаешь, что давай? Давай Огурца выставим.

Таракан посмотрел на Митьку холодными зелеными глазами и ничего не ответил.

— А правда! — убеждал Митя. — Дохлый, штанишки короткие. У него из жалости брать будут.

— У него коробку отнимут. Выйдет — и выхватят.

— Ничего не сделаешь. Страховать так и так надо. Кто бы ни стоял. Хоть я, хоть кто. Страховать все равно надо. Ничего не поделаешь.

Таракан подумал.

— Огурец дома?

— Дома.

— Зови его. И коробку тащи.

— Какую коробку?

— Что значит какую? С ирисками.

— Так ведь коробку-то надо купить за сорок две копейки. В Пайторге.

— А где сорок две копейки?

Митька хотел прыгнуть с подоконника, но Таракан схватил его за шиворот.

— Ты долго будешь людям голову морочить? — спросил он, по-старушечьи поджимая губы.

Предчувствие не обмануло Митю. Ему попало и за пустое хвастовство, и за Зорьку, и за то, что он обозвал Таракана на публике неприличным словом — Болдуин.

4

— 4 то с тобой? — Мама прижимала ко лбу Славику пальцы с холодными, как лед, кольцами. — Покажи язык. У тебя был стул? Кого спрашивают?

Мама у него была костлявая и порывистая. На кухне она обваривалась и обжигалась. Несмотря на решительный характер, она обожала перламутровые пуговицы, тонкий батист и совсем не шедшие к ее длинному, лошадиному лицу нежные кружева. Звали ее Лия Акимовна.

Она неохотно пускала Славику во двор. Она подзревала, что там ему уже рассказали, как получают дети, и боялась, что он наберется вошек. Но отец требовал, чтобы мама не держала единственное чадо под юбкой, и она была вынуждена отпустить его в опасный мир дворовых мальчишек.

Хотя Славик ни в чем не признался и ничего не рассказал, мама чувствовала, что с ним случилось что-то чрезвычайное, и на всякий случай уложила его в постель.

Славик заснул не сразу.

Он закрыл глаза, зарылся под одеяло, легонько крутанул никелированный шарик кровати — и вылетел через окно из комнаты. Он вылетел из комнаты и направил летучую кровать на остров Целебес. Никто не знал, что у Славика был свой, личный воздухоплавательный аппарат и что этим аппаратом была металлическая кровать с панцирной сеткой. Обыкновенно он пускался в полет, когда на душе его было очень уж тошно. Славик облетал на своей кровати весь земной шар, бывал на Северном полюсе, в Патагонии, на реке Соскегане — родине индейца Чингачгуга, на острове Целебес, где выпускают красивые треугольные почтовые марки.

Подготовка к полету была несложна: закутавшись одеялом, Славик нащупывал никелированный шарик, и легкого поворота было достаточно, чтобы кровать сорвалась с места и пулей вылетела в окно.

Второй шарик служил для набора высоты. Этот шарик применялся редко, например, когда Славик залетал к Чемберлену и выдергивал у него из глаза монокль. Представляете, на какой высоте приходилось ему удирать? Он летел с такой умопомрачительной скоростью, что встречные звезды чиркали о кровать. Он летел, уютно поживаясь под одеялом.

На этот раз Славик отправился не на Целебес и не в Патагонию. Он коршуном парил над Артиллерийской улицей и дожидался, когда Самсон выпустит свою стаю. Сердце его было преисполнено мстительной решимости. И вот, наконец, внизу замелькали голуби. Оборот шарика — и летающая кровать, с воем рассекая воздух, врезалась в стаю. Бездыханные турманы и трубачи падают на землю. Тоскливо причитает Самсон. А Славик настаивает Зорьку, ловит ее за ноги и, накрыв одеялом, спрашивает: «Будешь еще?» Зорька виновато мотает головой. Наступает сладостный момент. На крыше грустят Таракан, Коська, Митя. Денег у них нет. Как выкупать Зорьку — неизвестно. Коська, вздыхая, декламирует: «Где вы теперь, кто вам целует палец?..» Славик прячет Зорьку под рубаху и выходит к ребятам из-за трубы...

— Вот это да! — доносится голос Мити. — Еще ужинать не подавали, а он кимарит! Вставай быстро, биток покажу...

Славик открыл глаза и сощурился от солнца.

Возле его кровати стоял неумытый Митя.

— Вставай! — говорил Митя. — Я, знаешь, какой биток оловом залил! Пошли во двор — покажу.

Они жили в одной квартире. У родителей Славика было четыре комнаты на семьдесят аршин: гостиная-столовая с черным роялем и с картиной Клевера, детская с летающей кроватью, папин кабинет, в который Славику разрешалось заходить только в том случае, если зазвонит телефон, и спальня, где папа и мама спали на отдельных кроватях.

Митя жил вместе с папой и мамой в одной комнате. В этой комнате они и обедали, и принимали гостей, и ночевали. Отец Мити служил в главных мастерских в вагоно-колесном цехе слесарем, и мальчишки часто навещали друг друга без приглашения.

— Ну вставай, чего ты! — торопил Митька.

— Я, кажется, заболел.

— Ничего ты не заболел. Тебе за Зорьку досталось. Чего я, не знаю, что ли... Вставай. Я биток залил. Пойдем погуляем.

Славик стал нехотя натягивать одежду: лифчик с розовыми подвязками, чулки, коротенькие штанишки. Потом началась сущая пытка: шнуровка ботинок. На шнурах давно появились мохнатые кисточки.

— Нюра! — капризно позвал Славик.

По комнатам затопала прислуга Нюра, туло и чашо, будто с самоваром, наткнулась на Митю, проворчала: «Думала свежи, а это все те же», — и опустилась на колени шнуровать «дитю» ботинки.

Иван Васильевич вывез ее из своей родной тверской деревни. Она быстро прижилась на границе Европы и Азии: по воскресеньям выходила к воротам в фильдеперсовых чулках и, поплеывая семечки, строго шептала соседкам: «А Славик-то все срамные слова знает!.. Что куды — все знает!.. А десять лет! Вот без веры-то!.. Что же это будет, ба-тюшки!»

В доме Нюра поставила себя гордо, держалась хозяйкой, бранила Ивана Васильевича за курево и Лию Акимовну «видела наскрозь». Она была уверена, что Лия Акимовна подкидывает на пол копейки нарочно — проверяет ее честность. Нюра обожала Славика и жила у Русаковых только ради него.

Зашнуровав Славика ботинки, она пошла в столовую, и рояль загудел под ее шагами. Но слышно было, что и там она ворчала на Митю.

— Пойдем в кабинет, — шепнул Славик.

В кабинете все было пропитано запахом табака и химических карандашей. Когда папа задерживался на службе, мама зажигала лампу и, печально мурлыча под нос: «Оружьём на солнце сверкая...», — набивала папиросы.

Дома папа давно не работал, но мама любила, чтобы на столе у него был порядок: заостряла карандаши и наливала в чернильницы разные чернила: в одну — красные, в другую — синие.

— Погляди-ка вот тут, — попросил Митя. — Синяк напух?

Они подошли к окну.

— Вот тут глянь. Под самым глазом. Ломит — спасу нет.

На конопатых щеках Мити темнели грязные разводы. Только маленький носик блестел, как лощеный.

— Синяка нету? — спросил он.

— Нет, — ответил Славик.

— А под следующим глазом?

— И тут нет. Поймал он тебя все-таки? — спросил Славик завистливо.

— Он меня на понт взял. Развел уважение: «Я тебя в голубятники приму... Как поживаешь!» А сам как цапнет! Как чумовой все равно. Погляди — шиворот не оторвать?

— Нет.

— Крепкая бумага, — сказал Митя с сожалением. — Я крутанул, пальцы ему закрутил. Он распузырился, ка-ак цапнет меня за прическу, ка-ак даст по сопатке. Кулаком со всего размаха. А потом — ногой, прямо по косточке.

Славик с завистью слушал.

— Я даже присел... — Митя задрал штанину. — Ничего не видать?

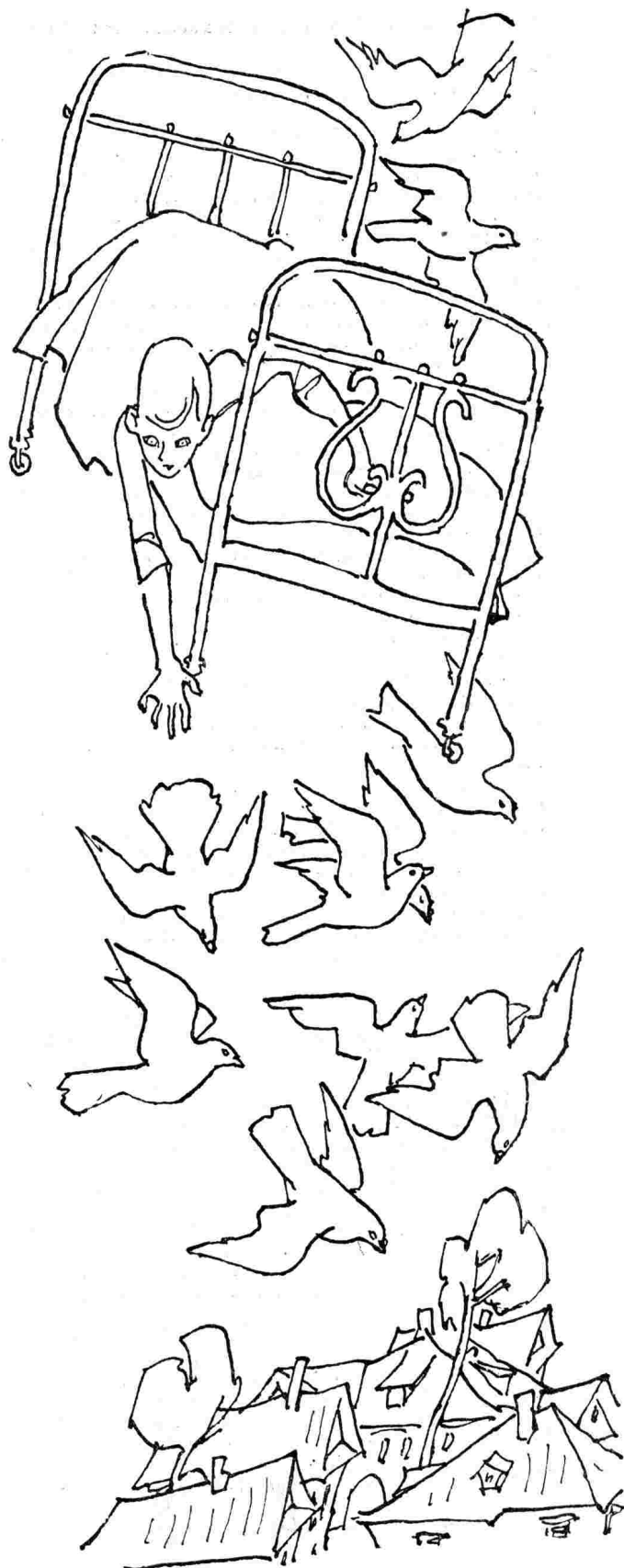
— Нет ничего.

— Гляди лучше. Шишка должна быть. Он подошвой ударил. Наверное, нога теперь ходить не будет.

Митя показал пальцем, куда смотреть. Славик опустился на корточки и сказал, не скрывая злорадства:

— Нет. Коленка торчит. А больше ничего нету.

— Всегда так, — вздохнул Митя. — У меня все болячки заплывают. Зимой, помнишь, как он меня на-космырял? Мама хотела на суд подавать. Пока собралась — все прошло. На суде надо, чтобы ты



был убитый насмерть или в крайнем случае потерпевший... А то бы он закалялся — за волосы хватать.

— А у меня будет день рождения, — сказал Славик нараспев.

— Как даст ботинком по косточке.

— А у меня будет день рождения, — повторил Славик. — Мы на пикник поедим... И гости приедут. В прошлом году один папин знакомый коробку привез... Слышу, чего-то гремит. Развязали, а там — заводной паровозик, рельсы, вагончики, а в вагончиках дверцы открываются.

Вспомнив о дне рождения, Славик немного приободрился. Ждать осталось немного. Поспит три ночи — и на него наденут новенькую, твердую матроску с якорем, новенькие, пахнущие магазином туфельки и повезут на извозчике в заречную рощу. Гости станут дарить Славике заводные игрушки, краски на картонной палитре с дырочкой для пальца, пробки для пугача, переводные картинки.

— А когда все приедут, будем играть в волшебный горшок, — сказал Славик. — Видел большой чугун, в котором Нюра варит белье? Мама насыпет туда пшена, а мы будем засовывать руку в пшено и шарить. А туда мама наметит конфеток, шоколадок, кулечков, солдатиков. И каждый возьмет, чего вынет.

— Насовсем? — спросил Митя.

— Конечно насовсем.

— А зачем чугун?

— Как это зачем? А куда пшено сыпать?

— А зачем пшено? Разделили бы мальчишкам солдатиков, девчонкам кулечков — и все. Из пшена надо кашу варить и шамать. С постным маслом.

— Как ты не понимаешь! Во-первых, это волшебный горшок!

Хотя Славик убеждал Митю, но вскоре и ему самому стал казаться смешным и дурацкий чугун с пшеном и мама, которая все это выдумала.

— Чунари они у тебя, — сказал Митя. — И отец чунарь, и мать чунариха. Сами кричат: «Славик, тебя продует! Славик, не сиди на полу!» — а сами в трусах держат. Потому ты такой и дохлый. Мануфактуры, что ли, ей жалко тебе на штаны закупить? Чем богаче, тем скупее.

— Это твоя мать скупее, — защищался Славик. — Она тебе ботинки не дает надевать.

— Потому что лето, потому и не дает... А твоя фасон держит. Выйдет на кухню и давай: «Мой Славик такая душка, такая цыпка... Мерси вам, пожалуйста!» Прохаживается, как на бульваре все равно. — И Митя, вихляя задом, прошелся по кабинету.

И тут совершилось происшествие, о котором впоследствии Славик вспоминал с недоумением. Он коршуном кинулся на Митю, сбил с ног, повалил на пол и обеими руками вцепился в жесткие, рыжие вихры.

Дерзость тщедушного мальчишки настолько ошеломила Митю, что он и не подумал защищаться и покорно позволил врагу раза три стукнуть себя лбом об пол. Впрочем, он быстро опомнился и завопил от боли и гнева.

Плохо пришлось бы Славике, если бы Митин крик не привлек Лию Акимовну. Она в это время припиливала длинными иглами шляпу с тряпочными незабудками и собиралась в Пайторг.

— Боже! Славик, опомнись! Что ты делаешь! Славик! — закричала она, появившись в дверях. — Что случилось?

Славик отпустил Митю и, будто спросонья, оглянулся.

— Что у вас случилось?

— Ничего, — сказал Славик. — Пусть он убирается. Это не его кабинет. Это наш кабинет.

— Как тебе не совестно! Встань с голого пола! Поддай Мите руку и извинись. Миритесь сейчас же! Я что сказала?

Славик упрямо сидел на полу и глядел в сторону.

— Ну хорошо, — сказала Лия Акимовна. — Все будет сказано отцу. Митя, пойдем. А этот скверный мальчишка пусть подумает наедине, как надо себя вести.

В коридоре Митя спросил:

— Посмотрите, Лия Акимовна, у меня под каким-нибудь глазом синяка нету?

Она приподняла его грязную рожицу.

— Ты плакал?

— Нет. — Митя насупился.

— Ничего у тебя нет. Успокойся.

Они вышли на прохладную лестницу.

— А на Славика не сердись и не обижайся. Ты же сам знаешь, какой он нервный. Такой малокровный, бедняжка. Ему прописан кумыс, а он не желает. У несчастных интеллигентов сплошь и рядом рождаются неврастеники. Ничего не поделаешь. Таков наш крест. Десятый год революции, а лифта все не могут починить. И ванна не работает... Называется — великая армия труда. Говорят, в нашем жакте опять растрата. Ты не слышал? Кажется, слава богу, принялись чинить крышу. Уже несколько дней подряд по крыше топают люди... Подождем, может, образуется. «Терпение», — говорил генерал Куропаткин!.. А как воняет у нас на лестнице. Как в помойной яме. Особенно на первом этаже. Черт знает что!.. Говорят, тут ночует какой-то головорез. Ты не видел его? А в газетах пишут — беспризорница ликвидирована... Когда с тобой разговаривают, не крути головой. Это невежливо...

Они вышли на улицу, и Лия Акимовна зашагала, как солдат, по горячей асфальтовой панели.

Митя хотел ударить. Но пока Лия Акимовна говорила, убежать было как-то неловко. А она говорила и говорила без передышки, и Митя читал афиши «Месс-менд», «Прощальный концерт лилипутов», читал знакомые вывески: «Аптека», «Портной Бейлин. Он же для женщин», «Бавария»...

Горсовет недавно приобрел шесть итальянских автобусов. Автобусы водили шоферы в очках-консервах. В первые дни извозчики дико ругались, сыпали на дорогу битое стекло и сапожные гвозди. Но итальянские шины были крепкие — извозчикам пришлось смириться. Завидев машину с лаковыми боками, они хватали пугливых рысаков под уздцы и закрывали им глаза ладонями.

И когда Митя бросился через дорогу на ту сторону, Лия Акимовна ахнула: он чуть не угодил под автобус.

— Чтобы этого больше не было, — сказала она. — Ты чуть не попал под авто... Это буза, Митя!

— Я попу дорогу перебежал, — доложил запыхавшийся и счастливый Митя. — Не любит!

— Хо-хо! — растерянно заметила Лия Акимовна. — Перебежал? Лафа, да?

Она мило улыбнулась, обнажила все зубы, и ее продолговатое лицо чем-то напомнило череп с накрашенными губами.

— Танька велела перебежать, — объяснил Митя. — Увидите, говорит, попа, перебегайте дорогу. Оне, попы, верующие, пускай, говорит, чувят, что бога нету.

— Какая Танька?

— А вы что, не знаете? Наша Танька. Вожатая.

Вы тоже перебегайте, Лия Акимовна. Мы вас в безбужники запишем.

— Хо-хо! — сказала Лия Акимовна. — Называть вожатую Танькой — это не лафа. Это совершенно не лафа, Митя. — Она гордилась тем, что умела находить общий язык с мальчишками.

В зеркальном окне аптеки сверкал стеклянный шар, наполненный зеленым лекарством. В шаре виднелась выпуклая улица, выпуклая пивная «Бавария» и по выгнутой панели шагали по одному месту выгнутый Митя и выгнутая Лия Акимовна.

— Кстати, — сказала Лия Акимовна, — через три дня у Славики день рождения. Он тебя пригласил?

— Нет. — Митя тут же решил насолить приятелю. — Он говорит: «На кой, говорит, ты нужен. Все равно ничего не подаришь».

— Не может быть! — Лия Акимовна остановилась. — Так и сказал?

— Гад буду!

— Это невероятно! Ну хорошо, Митенька. Передай папе и маме, что Славик приглашает вас всех. непременно передай.

— А чего ему дарить?

— Какую-нибудь безделку. Пусть ему будет советно. Он тебя оскорбил, а ты ему поднеси подарок. Запомни, Митя: легче всего убить человека благородством.

— У меня только мослы есть. Может, мослы отдать?

— Какие мослы? Бабки?

— Ну да, бабки. Полный кон набрался. И биток есть. Я его оловом залил. Клевый получился биток. — Митя достал из кармана крашеную бабку. — Полфунта тянет — не меньше. Подержите, если не верите. Возьмите, не бойтесь. Я ее мыл. На нее три солдата ушло.

— Каких солдат?

— Оловянных... Сперва надо дырку сверлить, а после оловом заливать. Тогда получается клевый биток. Хотите, я и биток отдам, — добавил он грустно.

— Милый мой мальчуган! — Лия Акимовна прижала его к костлявому боку. — Давай мы с тобой сделаем вот что: пойдём в Пайторг, и ты выберешь ему что-нибудь сам. Хорошо?

Митя насторожился. Слово «Пайторг» напомнило ему об ирисках.

— А деньги кто будет платить?

— О деньгах не беспокойся. Твое дело — выбрать подарок. Книжку какую-нибудь.

— Нет, — сказал Митя замирающим голосом. — Книжка у него уже есть. А можно... можно ирисок купить.

Лия Акимовна рассмеялась.

— Какой ты глупыш! Давай уж тогда раковые шейки возьмем. Он любит раковые шейки.

— Не надо раковые шейки. Ириски надо.

— Но почему именно ириски?

— Потому что они стоят сорок две копейки. — Митя громко сглотнул. — А в коробке пятьдесят штук.

— Как хочешь. В конце концов дело твое. Но ириски ты спрячешь и отдашь Славику через три дня. Ты умеешь хранить секреты?

— Умею! — Митя выбежал на мостовую, крикнул ломовику: — Эй, дядя, гужи съел! — и поскакал, высоко подбрасывая на бегу бабку.

— Вернись сейчас же! Митя! Иначе я отправлюсь домой!

Он, шумно дыша, пошел рядом.

— Когда ты со взрослыми, — сказала Лия Аки-

мовна, — ты должен идти рядом или на два шага впереди. Понял?

— Понял. А клевый биток, Лия Акимовна, правда? Хотите, я этим битком в тумбу попаду? С первого раза.

— Митя! Что за манеры! Не бузи, пожалуйста! Митя!

— Видите? Попал. А хотите, я в кошку попаду? Вон она, кошка...

— Подожди, Митя. Успокойся. Во-первых, запомни раз навсегда, что ни на людей, ни на кошек на улице пальцем показывать нельзя...

— А чем можно?

— Во-вторых, ты все время плюешься, как верблюд. Это неприлично. Что с тобой?

— А я учусь. Мы во дворе все учимся. Кто дальше заплонет. Вон чинарик валяется. Думаете, до чинарика не доплону? — Он остановился. — Глядите.

— Митя! Прекрати сейчас же! Ты понял, что конфеты надо спрятать?

— Понял! Вон куда шмякнула! Дальше чинарика! Я на нашем дворе дальше всех заплонуть могу. У меня, Лия Акимовна, между зубов дырка. Вы и то не доплонете, куда я доплону.

— Митя!

— Потому что надо не харкать, а прыскать скрозь зубы... Я бы еще дальше заплонул, да слюни кончились.

— Слава богу, дошли, — проговорила Лия Акимовна. — Спрячь бабку и дай руку.

Лия Акимовна проверила, не забыла ли паевую книжку, и они вошли в переполненный магазин.

5

Около шести часов вечера у кинематографа «Ам-пир» стоял оловянно-бледный Славик и держал в руке щипчики для сахара.

Перед ним, в коробке, оклеенной кружевным кантиком, лежало шесть ирисок.

Славику было страшно. Он с радостью бросил бы все и удрал домой. Но Таракан объявил: если ребята соберут выкуп, Славик будет прощен. И Славик бормотал: «А ну налетай, ириски покупай!» — и очень боялся, что его кто-нибудь услышит. Он боялся покупателей, боялся милиционера, боялся, что отнимут коробку... Скоро Нюра станет накрывать к чаю, и мама хватится щипчиков...

Было еще светло, а окна кинематографа блистали электричеством. Весь дом был оклеен цветными афишами. Комик с приятной дырочкой на подбородке прикрывал глаз соломенной шляпой и заманивал: «Хоть бы одним глазком взглянуть на Месс-менд!»

В этот день пустили третью серию. У входа, обрамленного глазированными пилястрами, толпился народ.

В толпе мелькал Коська. Главная масса товара хранилась у него в карманах. Кроме того, ему была поручена караульная служба. За Коськой хвостом шлепал Митя. Он отвечал за деньги, охранял Славику, и вдобавок Таракан велел ему следить, чтобы Коська не ел ириски.

С самого начала торговля пошла бестолково.

Сразу, как только Славик установил коробку с ирисками на кирпиче, подошли две старушки. Им было лет по сто, но и теперь можно было заметить, что они двойняшки. Отличались они только тем, что у одной на руке висел бисерный мешочек, а у другой мешочка не было. Они долго смотрели на Сла-

вика, и, наконец, та, у которой висел мешочек, спросила:

— Ты чей, дитя мое?

— Ничей! — сказал Славик. — У меня папы нету.

— А где твой папа?

Славик подумал немного и сказал:

— Утонул. — Он посмотрел на старушек и добавил нерешительно: — А ну налетай, ириски покупай!

Старушки заспорили, стали толкать друг друга острыми локотками.

— А мама? — спросила та, у которой висел мешочек.

— Мама тоже нету.

Старушки загораживали его. Из-за них люди не видели товара.

— Мама тоже утонула, — сказал Славик, чтобы они поскорее ушли...

Старушки повернулись друг к другу носами и стали копаться в мешочке. И та, у которой был мешочек, дала Славiku три копейки.

Он сделал пакетик, подцепил щипчиками одну ириску, потом вторую, потом третью. Но пока он делал пакетик, старушки ушли.

Так, к шести часам в кассе оказалось всего три копейки, да и то ненормальные.

На каланче ударили половину седьмого. Ириски потускнели и запылились.

Возле Славика появился длинношей дяденька, с сахарными петушками на палочках. Он непрерывно жевал и чавкал, и большой, как у холмогорского гуся, кадык поплавок мотался вдоль грязной шеи.

Время шло. Никто не покупал ни петушков, ни ирисок.

— Иди отсюда, — сказал дяденька. — Это мое место.

— А я раньше пришел, — возразил Славик. — Простите.

Дяденька перестал жевать и задумался. Славiku показалось, что он сейчас заплачет. Он придвинулся к Славiku вплотную, нажал на него длинной ногой и попытался выдвинуть из уютной ниши между пилястрами. Славик сопротивлялся изо всех сил. Как на грех, ни Коськи, ни Мити не было. Дяденька, глядя в другую сторону, нажал покрепче. Славик пискнул.

— Ты чего, босьяк, мальчонку обижаешь, — укорила его девица, торговашая книжками Совкино про Дугласа Фербенкса и Гарри Пиля. — Тебе места мало?

— А кто обижает?... Дяденька отступил на шаг и забормотал, озираясь: — Никто не обижает...

— Вы этих петушков сами делаете? — спросил Славик мягко.

— Что?... Я?... Дяденька вздрогнул. Ему было больше двадцати лет, а он боялся людей, как бездомная собака. — Почему сам?... А тебе что? — Он понизил голос и пробормотал, пожевывая: — Ступай, а то поздно будет...

— Ну что вы! Я еще ни одной ириски не продал. Как же я могу уйти. Какой вы странный! Когда продам все ириски, тогда и уйду.

Дяденька внимательно посмотрел на Славика.

— Нет, пацан... — сказал он тихо. — Сию минуту побежишь...

— Зачем мне бежать! Что вы!

Он оглянулся и шепнул:

— Тебе же приспичило.

— Чего приспичило?

— Сам знаешь чего...

Славик открыл треугольный ротик, прислушался к себе.

— А вот и нет. Не приспичило.

— Ты на ногти погляди. Ногти синие

Славик посмотрел. Ногти действительно отдавали синевой.

— Ну и что же, что синие. Во-первых, это потому, что я малокровный.

— А вас что, в школе не учили: когда приспичит, всегда ногти синют. Не знаешь?

— Нет, почему... Я, конечно, знаю... Ну, у меня они не очень синие. И даже совсем...

Славик замолк. Он внезапно почувствовал, что продавец петушков прав. Прошло еще минут пять, и Славiku стало невтерпех. Он попрыгал на одной ножке, потом на другой. Не помогало.

— А я чего говорил? — сказал дяденька полным голосом. — Сейчас лужу напустишь... Тут — иллюзион «Амбир», а тут — лужа. Очень красиво.

Положение становилось критическим. Коськи и Мити не было. Бежать куда-нибудь в переулок было нельзя: продавец петушков займет нишу. Но и оставаться невозможно. У входа в кинематограф толпились люди. Красивая девица продавала книжки и фотографии заграничных актеров. Со всех стен на Славика смотрел симпатичный комик, прикрыв глаза соломённой шляпой.

Через минуту Славик понял, что необходимо бежать, несмотря ни на что, и возможно быстрее. Но как раз в этот момент подошли покупатели: парень и грудастая, как паровоз, слободская красавица с бусами в три яруса. Парень был фасонистый и носил брюки-клеш до земли.

— А на фига нам в садик? — уговаривал он барышню. — Пройдемте в кино. Купим билеты в самый зад. Для меня это ничего не составляет.

— Подумаешь, кино, — капризничала она. — Не видала я кино, что ли... Больно надо, блох набираться.

— Тогда в крайнем случае возьмите ириску. Докажите симпатию.

Славик поджался и умоляюще смотрел на барышню.

— Я не за тем с вами на бульвар вышла, чтобы на каждом углу конфеты жевать. Мы не голодающие.

— Культурно прошу. Докажите симпатию.

— У меня от ирисков под животом пекет.

— Это не от ирисков. Это от вашей вредности у вас пекет... Ну, бери! — потерял терпение кавалер. — Долго около тебя перья распускать?..

— Ах, какие мужчины упорные!.. — вздохнула красавица. — Как что захочет, так хоть задавись. Ладно, шут с вами.

— Пять штук, пацан! — парень кинул медный пятак.

Подпрыгивая на одной ножке, Славик завернул ириски в пакетик, вручил конфеты парню и хотел было уже бежать, как вдруг услышал голос, от которого забыл обо всем на свете: и о продавце петушков, и о синих ногтях, и обо всем остальном.

Возле кинематографа было шумно: папиросники расхваливали товар, пацанва торговала фальшивыми билетами, очередь в кассу ссорилась, — и в смешанном гуле Славик вдруг ясно расслышал голос, который звучал еще вдалеке, но был, так сказать, особенного цвета.

Это был голос отца.

Славик вдавился между пилястрами и замер.

Нельзя сказать, чтобы начальник службы пути инженер Иван Васильевич Русаков был строгим отцом. Он редко бранил Славика, ни разу его не ударил и вообще почти с ним не разговаривал. И тем не менее во всем мире для Славика не было человека страшнее отца.

— Опять репетиция, — слышался его полунасмеш-

ливый, полусерьезный голос.— Ты что же это: две серии — со мной, а третью — с каким-нибудь Володькой...

Ему отвечала женщина. Но что она ответила, Славик не слышал. Он слышал только голос отца.

— Ну и запряглась же ты, — говорил отец. — Пять тарантасов тянешь. Смотри, надорвешься.

Женщина что-то ответила.

— А считай сама, — возразил ей отец: — работа — раз. Рабфак — два. Комсомол — три. Живая газета — четыре. И, наконец, я — пять.

Они подошли ближе, голос женщины стал слышнее.

— Какой же ты тарантас? — сказала она папе ласково, как маленькому. — Ты у меня лаковая пролеточка...

Они остановились возле витрины кинематографа, совсем рядом со Славиком. Но отец не видел его. Он не спускал глаз с женщины.

На ней была глубокая кожаная кепка, какие носят комсомольские активистки и безбожницы. Смелые волосы лежали на гладких, смугло-румяных щеках колечками. В тени длинного козырька блестели узкие, египетские глаза.

— А тебе не подходит играть Варвару, — сказал он. — Какая из тебя Варвара?

Он произносил слова по своему обыкновению полусерьезно, полунасмешливо. Даже мама иногда не понимала, говорит он серьезно или шутит. А Славик полагал, что отец не понимает этого сам.

— Когда у вас премьера? — Слово «премьера» он выговорил с комическим почтением. — В субботу? — В субботу.

— Пойду посмотрю. Чем черт не шутит: выскочишь в какие-нибудь Сары Бернары, — до тебя и не дотянешься.

— Еще чего! — прикрикнула она. — И не выдумывай! Я забоюсь при тебе... Всю роль провалю!..

— Ничего! Мы так устроим, что ты меня и не увидишь.

— Что ты такое говоришь! Я же тебя учую. На рабфаке — ты еще в раздевалке, а я на третьем этаже чую... Ты же обещался не ходить! И незачем вовсе!

— Почему незачем? Я тоже студентом в «Грозе» играл.

— Дикого?

— Нет, Кудряша... Какая ты зубастая, скажи пожалуйста! — И папа молодо, всем лицом улыбнулся. — У меня тоже была искра божья. Такую рожу корчил, что с одной стороны походил на Наполеона, а с другой — на Кутузова...

Славик не мог понять, зачем папа ей улыбается. На ней висели такие же, как у прислуги Нюры, дешевые стеклянные бусы — «борки». Наверное, живет она в Форштадте, в старинной казачьей семье, где считают зазорным есть ржаной хлеб. Она была стройна, тонка в талии и, судя по полосатой футболке, умела кататься на велосипеде.

— Ты не спектакль смотреть хочешь, — сказала она загадочно, — ты власть свою проверить хочешь...

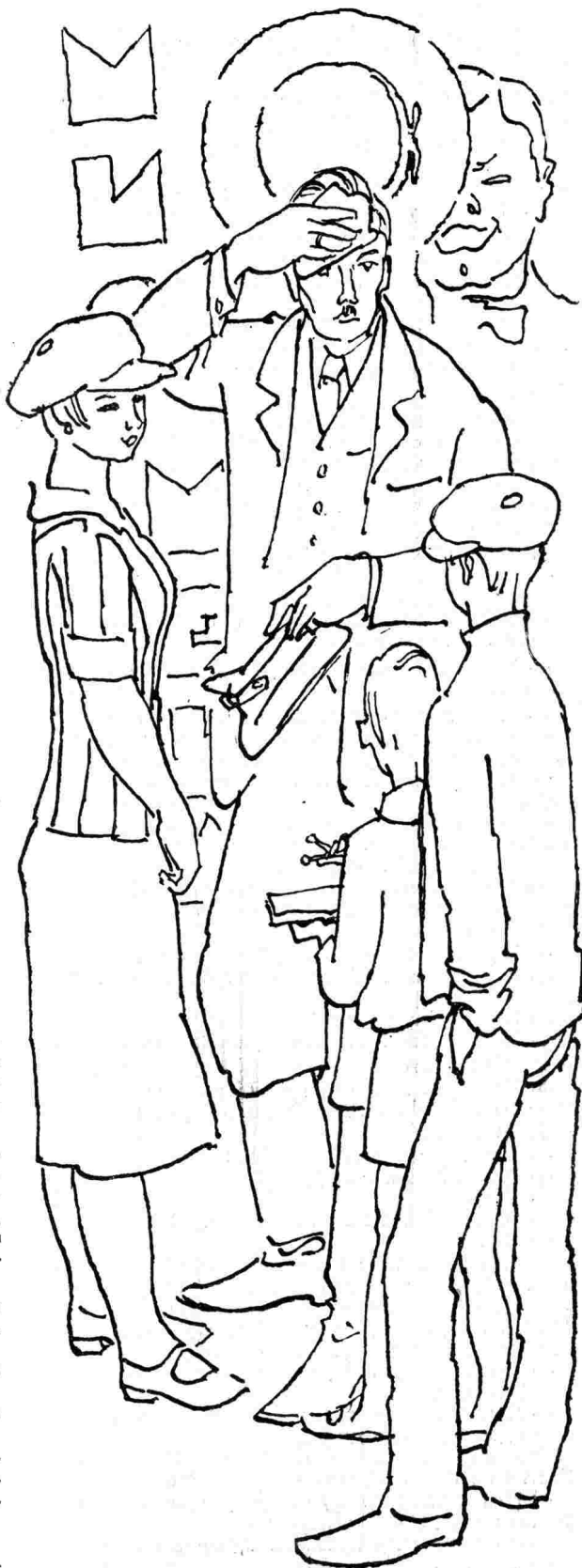
— Чего ты, Олька? — сказал папа. — Какую власть? Ну не дуйся. Хочешь ириску?

— Иди ты со своей ириской! — И она легонько стукнула отца по руке.

Славик ничего не понимал. Если бы папу осмелилась шлепнуть прислуга Нюра, — вышел бы форменный скандал, и мама, ее немедленно бы уволила.

А папа взял Ольку под руку и прижал к себе.

Обыкновенно, когда папа ехал в казенной про-



летке из управления домом, на худощавом лице его оставалось служебное выражение. Это же служебное выражение он сохранял и садясь к своему куверту, нарушая симметрию ожидающего его обеденного стола.

На этот раз отец улыбался. И как Славик ни был напуган, ему показалось, что папа похож на парня в брюках-клеш, который покупал ириски.

— Значит, условились на завтра? — улыбнулся отец Ольке. И взглянул на Славика.

Он взглянул на Славика, узнал его, понял, что его сын у входа в кинематограф торгует ирисками, но от неожиданности и крайнего изумления на лице его все еще держалась улыбка, предназначенная комсомолке по имени Олька.

— Ты что здесь делаешь? — спросил отец, улыбаясь.

Славик молчал. Все, что сегодня происходило, начиная с двух старушек-двойняшек, было похоже на сон. Бесплотной тенью промелькнул Митя...

— Ваня, — спросила Олька. — Кто это?

Улыбка медленно сползала с лица папы. Он снял форменную фуражку со значком «топор и якорь», отер большим носовым платком переслежину на лбу.

— Товарищ Ковальчук, — сказал он отчетливо. — Не забудьте проверить кальки и позвоните мне завтра в три часа дня.

— Какие кальки? — Она посмотрела на него испуганно.

— Кальки надвигки фермы... Какая вы бесполовая... Срочно подберите по номерам и положите в несгораемый шкаф. — Папа ни с того ни с сего рассмеялся и тихо добавил: — Сара Бернара!

— Вот это да! — сказала Олька и быстро пошла в обратную сторону.

Папа обернулся к Славiku.

— Скажите пожалуйста! — сказал он. — Ты что же, решил отцу помогать? Зарабатывать?

Славик молчал.

— И давно ты сюда ходишь?

— Один день только, — сказал Славик. — Я больше не буду.

— И много наторговал?

— Пять копеек. И еще три. Восемь копеек. Я больше не буду.

— Молодец. Мне как раз на пиво не хватает. — Хотя он шутил, но на Славика смотрел виновато. — Пойдем домой.

— Я не могу, папа. Мне рубль надо.

— Рубль? Зачем тебе рубль?

— Надо.

— Тебя никто из знакомых не видел?

— Нет.

— Долго же тебе придется здесь торчать, бедняга. — Папа посмотрел на него сочувственно. — Давай так: я плачу рубль и забираю весь товар. Оптом. Получай рубль и ликвидируй свой синдикат. Я забираю у тебя все ириски.

— Так нельзя, папа, — сказал Славик. — Надо по копейке штука.

— Я же дороже плачу, садовая голова! Ты бы стоял две недели, а тут — рубль сразу.

Славик беспомощно оглянулся. Ни Мити, ни Коськи не было. На углу стояла комсомолка Олька.

— Нет, я так не могу, — твердо сказал Славик. — Тарахан велел — копейка штука.

Мимо промчался Коська и крикнул на ходу:

— Отдавай!

— Это кто? — спросил папа. — Директор?

— Нет. Это с нашего двора. Коська.

— А с ним что за шпингалет? Кажется, Митя? Позови-ка их.

Ребята подошли. Коська сказал: «Пламенный привет!» — и встал за спину Мити. Коська был франт: кепку носил козырьком на ухо и чубчик прилизывал на лоб. Нос у него был в чернилах.

Папа повторил предложение.

— Отдавай, отдавай... — заторопился Митя. — И коробку отдадим вместе с крышкой, если за рубль... Знаете, Иван Васильевич, какие сладкие ириски. Закачаешься! Таких сладких ирисок и нету ни у кого...

Коська стал выгребать конфеты из карманов.

— А зачем вам все-таки рубль? — спросил папа.

— У нас Самсон Зорьку загнал, — сказал Славик.

— Какой Самсон?

— Кривой.

— Какую Зорьку?

— Нашу. Нам деньги на выкуп надо.

— Кому надо?

— Таракану... У нас Зорьку Самсон загнал.

— Давай быстрее, — сказал Коська. — Чем крепше нервы, чем ближе цель!

— Скажите пожалуйста! — удивился папа. — И вы думаете, за рубль Самсон отдаст голубку?

— Таракан говорит, отдаст. Таракан знает.

— Вот вам рубль. — Папа забрал коробку. — Что же доложить маме? Придется соврать, что купил в Пайторге.

— Не надо, — сказал Митя. — Там пять штук не хватает.

— А что делать? Прихожу с коробкой. Мама спрашивает — откуда? Что же мне говорить, что я купил у «Ампира» у собственного сына за целковый? Глупо.

— У ней будет мигрень, — сказал Митя.

— Именно. Представляете: Славик торговал без патента, и к тому же спекулировал. Разве это красиво?

— Некрасиво, — согласился Коська. — Надо эти ириски ликвидировать. Чтобы никто не знал. Давайте разделим их на четыре кучи, сшамуем, и прощайте ласковые взоры.

— Пожалуй, это выход, — сказал папа. — Как думаешь, Славик?

Славик не знал.

— Ну что же. Поощаим Лию Акимовну. Не будем ей ничего говорить. Хорошо?

— Поощаим, — сказал Коська. — Давайте я раздेलю на четыре кучи. Я по-прежнему такой же нежный.

— Давайте, ребята, молчать. Но больше так не поступайте. Я сам водил голубей, но спекулянтom никогда не был. Это некрасиво.

— Некрасиво, — сказал Коська, не спуская глаз с коробки. — Давайте делить на четыре кучи.

— Итак: я вас не видел, и вы меня не видели. А свою долю я отдаю Коське.

— За так? — спросил Коська.

— За так. Обещайте, что этого больше никогда не повторится.

Ребята нестройно пообещали и, ухватившись все трое за коробку, побежали за угол.

А комсомолка, которой папа велел срочно прятать чертежи в несгораемый шкаф, торчала на углу и смотрела на Славика загадочными египетскими глазами.

Коська плюнул в ладонь, пригладил челку и постучал кулаком в калитку.

Из всех ребят только ему посчастливилось бывать у Самсона. Раз два он носил туда узлы с бельем. По причине знакомства ему и было поручено вести переговоры о выкупе Зорьки. Но пошли к знаменитому голубятнику все.

Калитка была врезана в громадные ворота с накрывкой. В калитке было отверстие, вроде бубнового туза, прикрытое изнутри заслонкой.

Самсон не открывал.

— Может, его дома нет? — спросил Митя.

— Он всегда дома, — возразил Таракан. — Стучи шибче.

Коська повернулся задом к воротам и постучал пяткой.

Заслонка отодвинулась. Мокрый Самсонов глаз оглядел всех по очереди: Коську, Таракана, Митю и Славика.

— Пламенный привет! — сказал Коська.

Самсон молча продемонстрировал через квадратный смотровик сперва бороду, потом широкий нос с бутылочными дырками.

— Отворяй давай, — сказал Коська. — Не бойся.

Я по-прежнему такой же нежный...

— Тебе чего? — спросил Самсон.

— Голубя выкупать.

— Когда упустил?

— Вчерась.

— Деньги при тебе?

— При мне.

— Предъяви.

Коська побрякал монетами.

— А эти кто? — спросил Самсон.

— С нашего двора. Отворяй.

Самсон задумался. Мысли у него в голове поворачивались медленно.

— У нас еще деньги есть, — соврал Митя на всякий случай.

Самсон думал.

— Тебя пушу, — решил он наконец. — Остальных нет.

— А если нет, то почему? — спросил Коська.

— Потому, — ответил Самсон.

На счастье ребят, в это время подошел маленький старичок в котелке, с морщинистой, как у черепахи, шеей. Старичок был не то в пиджаке, не то в сюртуке, и длинные локоны его лежали на бархатном воротнике змейками.

— Отворяй, отворяй, греховодник, — заговорил старичок, приятно припевая. — Детушки пришли, наше светлое будущее, а ты рычишь, ровно вепрь в чашобе. Уж и детки его не радуют.

Самсон открыл калитку. Старичок сперва пропустил ребят и только тогда переступил во двор сам.

— Сказано, — припевал он, — пустите детей, не препятствуйте, ибо таковых есть царствие небесное.

— Ладно двенадцать-то евангелиев читать. Тут не церква, — ворчал Самсон, хлопая живым глазом.

Другой глаз он потерял, как сам говорит, за свободу. Был он плотный, приземистый, в разукрашенной обойными цветочками жилетке поверх лазоревой косоворотки и в штанах со споротым лампасом.

— Живешь ты, Самсонушко, возле голубков, а злющий, как барбос, прости господи, — весело припевал старичок. — Семирамида, матушка, царица

вавилонская, хуже тебя была грешница, а и та к твоим-то годам в голубку оборотилась. Голубка — символ веры, дух святой, помни!

Что он рассказывал дальше, Славик не слышал. Он как вошел, так и застыл на месте. Вдоль всех трех заплотов, кроме наружного, по просторному двору тянулись зеленые голубиные домики. Все они были затянуты оцинкованной сеткой и выбелены изнутри известкой. А за сетками, как цветы разноцветные, пестрыми букетами красовались сотни, а может, и тысячи отборных, белых, зеленых, сизых, черных голубей.

— Идем, — сказал он Мите шепотом. — Идем Зорьку искать.

И они пошли по голубиной улице.

Кого здесь только не было. И турманы, и дутыши, и аспидно-лиловые зобатики, и мохнатые трубачи, и чернохвостые монахи, и хохлачи, любезничали, шуровались в песочке, прибирались, перечесть перышки. Случайно попавшие в клетки воробы нахальничали, пугали наседок.

— Гляди, в углу какой бородатый. — Митя дернул Славика за рукав. — Вон он, зеленый. Как козел.

— Я такого видал... в садике...

— Нигде ты таких не видал. Такие у нас не водятся. Он из-за границы прилетел. Из Франции. Или из Парижа.

— Что Франция, что Париж, все равно, Митя, — сказал Славик. — Одинаково.

— Ничего ты не петришь! — Митя сплюнул. — Франция дальше Парижа.

Они прошли первую клетку, вторую, третью. Зорьки не было.

— Ничего, — утешал сам себя Славик. — Не огорчайся, Митя. Вон еще сколько домиков.

— Это называются вольеры, а не домики. Голова — два уха.

— А ты Зорьку в лицо помнишь?

— А то нет. Постой, это не Зорька?

— Какая тебе Зорька! Видишь, на ноге бантик.

И правда, на голубиной ножке виднелся крашевый лазоревый бантик из того же материала, что и хозяйская косоворотка. Это для того, чтобы отличить своих, коренных, от чужаков, приставших к табуну во время прогулки. Митя дернул Славика за рукав.

— Гляди, как он вокруг нее на хвосте плывет...

— Ты чего, греховодник, такого херувимчика соблазняешь! — пропел стариковский голос. — Вот и все... И глядеть нечего... Покажи-ка ты мне, Самсонушко, вон того, кучерявого... Вон за сетку уцепился.

Самсон махнул длинной палкой с проволоочной петелькой, и, не успев Славик моргнуть, заграничный голубь бился на конце палки бенгальским огнем, теряя перышки.

За голубя Самсон назначил семьдесят одну копейку.

— Да что он у тебя, брильянт проглотил? — возмутился старичок. — Почему такая дороговизна?

— Потому. Порода.

— Такой безумной цены не бывало от сотворения мира. Самсонушко. У кого хочешь спроси.

— Конечно, дорого, — сказал Митя рассудительно.

— А ты помалкивай, — заметил Самсон, выпутывая голубя из петельки. — Откроешь свою лавочку — назначай хоть гривенник.

— Зачем мне открывать? — возразил Митя. — Я не буржую. Папа говорит, скоро всех торгашей передушат.

— Ишь ты, какой комиссар! — Самсон подал голубя старичку.

— Ты возле него не смейся! — сказал Коська. — У него отец знаешь кто? Секретарь в комячейке. В главных мастерских. Наган носит.

И старичок и Самсон с некоторой опаской поглядели на Митю.

В те времена многие считали, что любой партиец мог приехать в Москву и запросто зайти к Калинин на квартиру побеседовать.

— Отец лично говорил, что передушат? — спросил Самсон.

— Он маме сказал. Не реви, говорит, Клавка. Потерпи. Скоро и кулака придушим и торговаша.

— И у партийных жены плачут? Господи! — удивился старичок.

Митя поглядел, как он ощупывает голубя быстрыми пальчиками, будто обыскивает, и объяснил:

— Она пуховой платок продала и купила папе штиблеты-шимми у частника. Папа обулся, пошел на просветительную работу, а был дождь. И подметка вся как есть размокла. Ровно сгорела. Фальшивая у частника была подметка поставлена, из кардона... А платок хороший, от бабушки остался, такой хороший пуховый платок, через обручальное колечко проходит... Мама заплакала, а папа говорит: не реви, Клавка. Скоро, говорит, они раскаются, скоро, говорит, сами на коленках упрашивать станут, чтобы изъяли ихнее добро.

И взрослые и ребята стояли вокруг Мити и слушали его, как будто это был не он, а его папа.

— А не пояснял тебе батюшка, кто тогда его величеству пролетариату хлебушек будет продавать? — спросил старичок.

— Церабкоп останется, — сказал Митя. — Пайторг.

— И все будет даром, — добавил Коська. — Зашел — взял сосисек и витого с маком, сколько донесешь, — и пламенный привет! Лиловый негр вам подает пальто!

Старичок приподнял голубя, подул на хлупь.

— Не смилуешься? — спросил он.

— Нет. Рубль и двадцать одна копейка, — сказал Самсон.

— Да ты что? — старичок выпучил глаза. — Насмеяешься? Ты семьдесят просил?

— А слышал, что пацан сказывал? — И Самсон взял голубя из рук старичка.

— Да опомнись, Самсонушко! Кому ты веришь? Малым детушкам? Что ты! — И старичок взял голубя у Самсона.

— Верь не верь, а наложут налоги, и сдохнешь. Надо деньги запасть. От закона откупаться.

— Нет такого закона, чтобы человека казнить голодом!

— Нет, так будет. Власть что хочешь запишет. На то она и власть.

— Труслив ты стал, Самсонушко! Вон, византийские владыки на золотом престоле восседали, между золотых львов, а во чреве у львов — иерихонские трубы. Как рыкнет — все ниц валится... Это я понимаю — власть! А ты кого боишься? Председатель ЦИКа косит наравне с мужиками, как есаул. Мало ему сена...

— Косит, косит, а потом придет домой, напишет тебе налог, и присядешь на корячки, — объяснил Самсон. — Рубль и двадцать одна копейка.

— Больно дорого, — заметил Митя. — Рубль да еще копейки.

— А ты ступай, скажи своему батюшке, чтобы попусту не распускал язык, — разозлился старичок внешне. — У товарища Ленина, у Владимира Ильича, сказано: нэл укореняется всерьез и надолго! Вот ка-

кой его завет! Пускай твой батюшка в «Капитал» поглядит!

— Эва ты какой стал верноподданный новому режиму, — удивился Самсон. — Сам-то читал «Капитал»?

— Интересовался.

— Ну и как?

— Не понравилось.

— Ну вот, — сказал Самсон. — А говоришь!.. Давай рубль и двадцать одну копейку...

— Да ты что! Где мне взять такие капиталы? В родильный приют ходил крестить, теперь гонят оттуда. Усопших хоронить, и то надумали по красному таинству. Босые девы пойдут за гробом, в белых ризах и зеленых веночках... И девы сии заменят Советской власти и певчих и духовный клир... Хотя бы ради катара немного скинул, бессовестный.

— У меня без запроса. Хочешь — бери, хочешь — иди. Нужен ты мне со своим катаром.

— Грабитель ты, Самсонушко. Трудящий народ грабишь. Куды тебе деньги? Смотри — власть крепка есть. Чего ждешь? Куда копишь?

— А коли власть крепка, чего космы не состригаешь? Или в девы пойдешь наниматься? За красными покойничками ходить? Берешь или нет?

— Что сделаешь! — вздохнул старичок. — Истинно сказано: одна участь и праведному и неправедному.

— Вот она! — послышался голос Славика. — Скорее! Ребята!

Митя метнулся к нему. Зорька, ничуть не смущаясь своих бывших хозяев, целовалась с каким-то мохноногим балбесом.

— Три раза смотрели, а не видали... — бормотал Славик, бестолково хихикая. — Пропустили... А она меня сразу узнала... Честное слово... Гад буду... Ты говорил, спряталась, а она, вот она, никуда не спряталась, а...

Он осекся и открыл треугольный ротик.

Митя посмотрел в направлении его взгляда и увидел: Самсон прижал голубку под мышкой, повернул ей два раза голову, будто свинчивал ржавую гайку. Старичок подставил мешок. Голубка упала на самое дно и забила там.

— Что это? — содрогнулся Славик.

— Наверное, на обед купил, — произнес Митя неуверенно.

Мешок потрепыхался в слабой стариковской руке и замер. Прибежала чумазая кошка, заголосила, стала тереться о стариковское голенище.

— Крем-бруле! — загоготал Коська. — Палочку скрозь гузку, и на угольки. И прощайте, ласковые взоры! Небось, Самсон и сам голубятинку шамает. Вон какую ряжку наел... Хозяин! — заорал он на весь двор. — Нашли!

Внизу мешка проступило мокрое пятно. Подбежала еще одна кошка — рыжая. Обе они, задирая морды, плакали, как младенцы. Ненасытный старичок тыкал пальчиком в сетки, прицелялся, и Самсон таскался за ним с палкой-ловилкой. Впрочем, его единственный глаз примечал все. И когда Таракан отправился проверить, что в мешках — горох или просо, — Самсон крикнул:

— Ты там чего позабыл?

Волшебное голубиное царство рассеялось, как дым на ветру. Глазам Славика открылся мертвый, лысый, без травинки двор, тесно заставленный приземистыми, сбитыми из чего попало клетками, в которых за проволочной сеткой дожидались своей страшной участи голуби и голубки.

Черный ход был единственным путем в хозяйские хоромы. В тяжелой колонне торчал железный косяк, чтобы соскребывать грязь с сапог.

— Нет, Самсонушко,— припевал старичок, возвращая очередного голубка.— Этот не подойдет. Одне косточки. Гуляет, озорник, много... Ты мне барышню излови. Вон ту, монашку черненькую...

— Да ты что! Она на яйцах сидит.

— Господи боже! Супруг догреет.

— Душегуб ты,— сказал Самсон.— Больше ты никто.

Но все-таки достал наседку, и старичок стал ее щупать, заводя глаза в небо.

— Нету в тебе, Самсонушко, истинной доброты,— припевал он мягенько.— Нету в тебе истинного христианского милосердия ни к недужному старцу, ни к малому отроку...

Самсон махнул рукой и пошел к ребятам.

— Которая ваша?— спросил он и протянул ладонь за деньгами.

— Сперва голубку представь,— сказал Таракан.

Самсон молча держал на весу четырехугольную ладонь.

Коська вытащил из кармана деньги. Самсон двигал монеты по буграм ладони до тех пор, пока толстые, каленые пятики не отложились по краям, а се ребро осталось посередине.

— Мало,— сказал он.

Ребята замерли.

— Как это мало?— помрачнел Таракан.— Цена законная. Рубль.

— У тебя рубль, у меня— два. И четырнадцать копеек.

— Ты же вчера еще загнанных хохлачей за рубль отдавал, жила.

— Вчера за рубль. А сегодня за два.

— А если нет, то почему?— спросил Коська.

Самсон снял с него кепи, высыпал туда деньги и посоветовал:

— Еще рубль четырнадцать наворуешь— приходи.

Монеты просыпались на землю. В кепи была дырка.

— Дяденька,— сказал Славик.— Ну, пожалуйста, будьте любезны, отдайте нашу Зорьку. Я вас очень прошу.

— Ты чей?— уставился на него Самсон.

— Я Славик. Я вам за Зорьку заводной паровозик принесу. И вагончики... Хорошие вагончики, дверцы открываются. Через два дня у меня день рождения. Мне паровозик подарят, и я вам сразу принесу... Все принесу, и рельсы, и вагончики... Ну, пожалуйста...

Под бородой Самсона шевельнулась улыбка. Что-то давно позабытое заворочалось у него в голове.

— И дверки, значит, открываются?— спросил он.

В это время раздался пронзительный, девчачий голос Таракана:

— А ну, отдавай трубача добром, живоглот одноглазый!

Хозяин косолопа повернулся.

Таракан стоял шагах в десяти, не сводя с Самсона крапчатых золоченых глаз. В руке у него вздрагивала палка с проволоочной петлей. Сладкое предчувствие битвы одурманивало его.

— Чего вылупился, зевло собачье? Представь трубачиху сию минуту, а то последний глаз выну.

— Так ты что? Грабить меня собрался?— спросил Самсон весело.

— Грабить не грабить, а без турмана не уйду.

— Силком возьмешь?— поинтересовался Самсон.

— Не дашь сам, так силком.

— Вот это да!— Самсон в восторге шлепнул руками по бедрам.— Грабеж среди бела дня, и при свидетелях... А? Во какие атлеты растут! Днем, и при всем народе, а?



— Митька, бери Зорьку! — приказал Таракан.
— А замкнуто! — отозвался Митя.
— Ломай замок!
— Так он железный!
— Выворачивай петли! Коська, подкинь ему метлу!

— И замки ломать будешь? — еще веселей изумился Самсон. — И мильтона не боишься?

— А вот увидишь!

— Во, гляди, — сказал Самсон старичку назидательно, — какое оно нынче царствие небесное. Вот он, пионер, берите взрослые пример... Ну, хватит, — рыкнул он на весь двор. — Поигрался — и давай отсудова!.. А то я тебя...

— Не подходи, курва, убью! — взвизгнул Таракан. От ярости у него сводило губы. Самсон остановился озадаченный. Такие гости к нему еще не навевались.

— Красных в казармах кто резал? — приговаривал Таракан, дергаясь, как петрушка на ниточке. — Большевиков с пятого этажа кто скидал? Думаешь — не знаем? Все знаем, сука кривая... А ну, подойди только...

Голубка вырвалась из рук ошалевшего старичка и взлетела на крышу.

— Давай быстрее! — командовал Таракан. — Где Коська?

— Его не видать! — крикнул Митя.

— Огурец, подай Митьке метлу, — командовал Таракан. — Куда, курва! — закричал он, заметив, что Самсон потихоньку пятится к поленице.

Таракан взмахнул палкой и стал прокрадываться в сторону слепого глаза. На солнце блеснуло «перышко».

— Берегись! — закричал старичок. — У него финка.

Самсон как будто отступал. Если его удастся загнать в дом, будет совсем прекрасно: в придачу к Зорьке можно прихватить с десятка турманов. Таракан крался в обход, чтобы отрезать хозяина от поленицы, а Самсон пятился и поворачивался, не выпуская его из поля зрения.

К поленице Самсон не пошел. Он обогнул крыльцо, миновал кадушку, и только когда без опаски зашел к сараю — все стало ясно.

За сараем лежал комплект городошных палок и рюх. Палки были добротные, тяжеленные, из тех, которыми городошники дают ласкательные имена и названия: «Ковер-самолет» или «Анюта».

Таракан остановился, озираясь, на середине двора. Золоченые глаза его мерцали. Ни камня, ни дружок подручного снаряда не было. Скупой Самсон торговал не только птицей, но и голубиным фосфором и собственноручно подметал каждый день двор.

— Кто бы мне калиточку отворил? — боязливо припевал старичок. — Совсем ослаб, силы нет заслон двинуть...

Самсон с удовольствием вывесил дубину под названием «Чапаев» и прицелился, будто не Таракан, а какая-нибудь «пушка» или «купчиха в окне» стояла посреди двора. И в эту минуту раздался ликующий крик Славика.

Замок подался.

— Двери! — закричал Таракан.

Преждупреждение опоздало. Митя и Славик надеялись друг на друга. Дверь осталась открытой настежь. В голубятне поднялся саром. Птицы металась, билась о ребя, лугили их сильными крыльями. Не только поймать, но и разглядеть Зорьку в бушующем голубином пламени было немисливо. Славик ослеп ст пуха. И в ноздрях у него был пух и во рту. Когда он протер глаза, домик был пуст,

а Самсон, задрав в небеса курчавую бороду, делал по двору бессмысленные круги.

Сначала он пытался приманить голубей голосом, потом, причитая, бросился к вольеру и захлопнул дверь, хотя внутри, кроме одного-единственного глупого воробья, никого не осталось. Потом схватил палку и стал наяривать по ведру. Он совсем сбился с толка.

Голуби дружной стайкой метнулись на закат, и стена соседнего дома заслонила их. Самсон кинул ведро и полез на крышу.

Немного не долетев до собора, стая внезапно повернула обратно и устремилась к цирку.

— Так и есть. На мещеряка пошли... — проговорил Самсон обреченно.

Гошка-мещеряк считался в городе самым хитрым голубятником после Самсона.

— Упустили? — спросил, появившись словно изпод земли, Коська.

Ребята молчали.

— Это же надо! — продолжал Коська, поглядывая на Таракана. — Дома упустили, у Самсона упустили. Называется, голубятники.

Ребята были настолько обескуражены, что забыли поинтересоваться, где он пропадал. А Коська самые острые минуты конфликта пересидел в дальнем углу двора за ящиком, в котором гасили известь. Так никто и не узнал ничего. Только Славик удивился, что штанина у Коськи белая.

На крыше под ноги Самсону попала черная мошашка. Она никуда не хотела лететь. Она хотела в гнездышко.

— Ты еще тут? — Он пнул ее ногой. — Где они?! Где?! — завопил он, потеряв голубей из виду. — А ну, давай сюда, ты, атаман! Давай сюда, тебе говорят!

Таракан забрался на крышу. Голуби шли высоко, растянувшись черной ниточкой.

— Вон сколько рублей улетело, — сказал Самсон. — На Форштадт идут?

— На Форштадт.

— Ну, все. Сейчас их Гошка возьмет, — произнес убито Самсон и сел на железоз.

— Самсонушко! — звал старичок снизу. — Будь такой добрый... Выпусти меня, христа ради.

— Ну чего? — Самсон уставился на Таракана, стараясь на лице его вычитать, что случилось. — Поднял Гошка своих? Гляди туда... Гляди лучше...

— Вроде нет.

— Гляди шибче. Туда гляди...

— Чего я, не знаю, что ли? Туда и гляжу... Что ты за голубятник, что от тебя голуби бегут.

— Никуда они не бегут... Их Дипломат увел... Я его от Гошки сманил. С руки кормил сукинова сына... А он — вишь, к старому хозяину... Сам ушел, табунчик увел. Вот это порода!.. На ногах вторые крылья! Нынче такого товара нету!.. — Он вздрогнул, словно его разбудили. — Не поднял?

— Нет. Дальше пошли. Круги водят.

— Врешь?

— Гад буду.

— Э-ге-ге! — Крыша загремела. Самсон вскочил и проплясал что-то вроде цыганочки. Он вспотел и дышал тяжело. Руки его тряслись. — Чего, Гошка, выкурил? Меньше в пивнухе заседай. Дюжина пива, соленые сухарики! Посмеюся я завтра круг него. Мне бы второй глаз — не осталось бы в городе голубей. Всех бы заманил... — Он опять спохватился и спросил недоверчиво: — Верно говоришь, не поднял?

— Верно. Ушли твои. Вовсе не видать.

Самсон еще больше развеселился, хлопнул Таракана по плечу.

— Слышь, прибежал мещерячок... Отдай, мол, Дипломата, да отдай... На коленки упал. Бабу свою заместо его сулил... А я ему — вот! — Самсон показал Форштадту большущий шиш и умиrotворенно закончил: — Слазь, труба подзорная... Больше глядеть нечего. Сейчас они на собор пойдут — и домой. У них сроду мода такая...

Он слез во двор. За ним спустился Таракан.

— Тебе сколько лет? — спросил Самсон.

— Много.

— Ты чего, припадошный?

— Не знаю.

— А ну, покажи инструмент.

Таракан достал «перышко». Самсон попробовал лезвие на ногте.

— Хороша работа. Где взял?

— Шкет один дал. Беспризорник. У нас под лестницей ночует.

— Спрячь подальше. Финачом не озоруют. Нынче припадошных тоже берут. Пырнешь кого, и прощай, мама дорогая...

Темнело. Словно рождаясь из ничего, из тихого вечернего воздуха один за другим возникали голуби. Посвистывая крыльями, они устало садились на крышу, на землю, на вольеры.

— Вот она, Зорька, — сказал Славик печально.

— Не сердчайте, — утешал ребят Самсон, направляясь к воротам. — Мы с этим мещеряком хотели артель сколотить, «Красный голубь». Не лигистрируют. Мелкая, говорят, буржуазия. А сейчас, что ни день, агенты с портфелями ходят. От каждого приходится откупаться. А покупатели, вот они... — Он подпер плечом заслон и, передвигая его в железных скобах, закончил животом, натужно: — Куреды, — и выпустил злющего старичка.

— Тащите, пацаны, два рубля выкупу, и получите свой товар. Да за замок — двадцать шесть копеек. — Самсон взглянул на Таракана, подумал и сказал: — А про казармы ты зря... Глаз мне господин Барановский в восемнадцатом годе вынул. Никто не верит, а так...

И на зависть ребятам Самсон подал Таракану, как большому, руку.

исчезал на рассвете. Славик в это время спал. А сегодня — еще девяти нет, а Клешня уже здесь. Такого никогда не бывало.

Славик отер о штаны липкие ладони. Экономическая угольная лампочка освещала дырявые обноски, клокасто стриженный беспризорный затылок и пальцы на босых черных ногах. Бандит лежал, как зародыш, уткнувшись носом в колени.

Первой мыслью Славика было пройти домой со двора. Но тогда придется опять хлопать дверью, и Клешня может проснуться. Славик прикусил язык и стал на цыпочках пробираться к лестнице. Не успел он сделать и трех шагов, Клешня вздрогнул и выпучил на него белые глаза.

К удивлению Славика, Клешня оказался совсем не таким, каким появлялся во сне. Ему было лет шестнадцать — не больше. Страшным у него было, пожалуй, только немытое лицо, такое же черное, как и ноги. А если его отмыть, то оно перестанет быть страшным: нос — прямой, правильный, под носом ни разу не бритые усики. Эти нежные, как реснички, усики особенно удивили Славика. И он вспомнил, как во дворе говорили, что Клешня не трогает жильцов дома, и ценили его благородство.

— Хина есть? — спросил Клешня.

— Не знаю, — ответил Славик.

Клешня пошарил внутри зипуна и вытащил пивную бутылку. Славик заметил, что рука у него изуродована. Целыми на ней были всего два пальца.

— Пить охота, спасу нет, — сказал Клешня. — Вынеси водицы.

От него исходила едкая тлетворная вонь.

— Меня ожидает учительница музыки, — сказал Славик. — И потом... меня к вам не выпустит мама.

— На колонку сбегай. Нацеди.

— А сырую воду пить разве можно?

— Можно! Канай!

Бандит запахнул полу зипуна, и на Славика пахнуло потом и жаром воспаленного тела. Клешня дрожал мелкой, собачьей дрожью весь с головы до ног, как будто его везли на телеге.

Славик сбежал к колонке, принес полную бутылку воды. Клешня брезгливо отер горлышко, сделал несколько громких глотков, оторвал от штанины тряпку, скрутил из нее пробку, заткнул бутылку и сунул ее под себя.

— Ступай, играй музыку, — разрешил он.

— А у вас, случайно, рубля нет? — спросил Славик.

— Сегодня нет, — ничуть не удивился Клешня. — А на что?

— Голубку надо выкупить. Самсон за рубль не отдает.

Клешня подумал.

— Клуб Дорпрофсожа знаешь?

— Знаю. Там синяя блуза представляет.

— Ну вот. А под клубом подвал. Окна во двор. В ямах под землей. Под решеткой. Понял? А в подвале бумаги — навалом... Понял? Больше ничего нет. Одни бумаги. Бери — сколько хочешь...

— Мне кажется, Самсон не захочет бумаги, — возразил Славик осторожно.

— А ты на базар снеси. Загони на обертку. Полтора рубля выручишь. А то два.

— А вы сами загоняли?

— Мне зачем? Мне и в форточку не пролезть. А дверь под замком. На блонбах. Понял? А ты пролезешь.

— А если там нет форточки?

— Есть. Я этот подвал с восемнадцатого года знаю. Там моего пахана запороли.

7

С тяжелым сердцем шел домой Славик. Он знал, что его давно дожидается учительница музыки, что мама звонила в милицию, гоняла прислугу Нюру в соборный садик. Он надеялся, что по дороге само собой придумается оправдание, которое умили и маму, и сердитую учительницу, и Нюру, и спохватился только после того, как за ним тяжело хлопнула парадная дверь.

Делать нечего. Придется не торопясь подниматься по лестнице. До третьего этажа можно много чего придумать.

В подъезде его ожидала новая неприятность.

В углу, под каменной лестницей, спал босой оборванец. Это был страшный бандит по прозвищу Клешня. Несколько лет подряд, обыкновенно в июле, он появлялся в городе и до осени располагался под лестницей. Во дворе говорили, что где-то за рекой в роще Клешня зарыл клад и теперь режет людей не с целью грабежа, а просто так, чтобы не разучиться.

До сих пор Славик видел этого бандита только во сне. Наяву им не приходилось сталкиваться. Клешня появлялся в подъезде часам к двенадцати ночи и

— Как заporоли? Кто?
— Беляки. Дутовцы. Насмерть заporоли и повесили... На фонаре. А теперь он в подвале живет.— Клешня забормотал торопливо.— К двери прислонись, слышать... Ходит тама, дышит... Ты чего же? Про мамку неинтересно тебе? Неинтересно?

Славику стало жутковато, и он крикнул:

— Чего вы? Какая мамка?!

— А? Что? — Клешня вздрогнул, открыл глаза, ослабил.— Нарахался? Не бойся... Это я забылся... Бредил, да? Не бойся. Стану забываться, ты меня пни ногой, я и проснусь. Лихоманка бьет! Как бы не загнуться... Он подумал.— Тут, в городе, сперва красные были, а после — дутовцы пришли. Понял? Утром тетка бежит среди улицы. Платочком машет: «Беленькие пришли! Беленькие пришли!» Поймали пахана, ведут. А мы с сестренкой потихоньку за конвойцами. Позырить, куда. Понял? Завели его в этот самый подвал. Я на решетку пузом. Он там разбузавался, шухер развел, чернильницу на них вылил. Они его — давай пороть. А он: «Да здравствует Революция! Мы — живые, вы — покойники!» Я — сестренке: «Стой. Не сходи с места... Побег домой — офицеры с мамкой играют. Усатик-черкес и еще один — пузатый. Раздели ее нагишом и играют. Понял? Пока то да се, побег обратно, — сестренки нет. С тех пор иду. Понял? Мне тогда семь лет было, ей — восемь. А ну подбей. Сколько сейчас?

— Семнадцать, — сказал Славик. — А как ее звать?

— Позабыл, пацан. То-то и дело... Надо было ее сторожить. А я возле мамки канителился. Мамка им не дается, корябается. Они серчают. А я реву возле них. Понял? Этот, черкес, ко мне: «У вас, мальчик, есть молоточек? Принеси мне гвоздочек и молоточек». Думаю — угрожу, они уйдут. Принес. Они завалили мамку на кровать и прибили к стенке.

Клешня сухо засмеялся.

— Кого прибили? — спросил Славик.

— Мамку. Гвоздем. Сквозь ладони. Как бога. Понял? Одну руку приколотили, другая свободная. Прибили — успокоилась. «Уберите, — говорит, — ребенка». Усатик мне — пинкаря... Побег к сестренке. Сколько времени даром ушло. Знал бы, гвоздя бы им не искал бы... Гляжу — эти идут. Которые пороли. Понял? «Папана там?» «Там, там, сынок! Давно тебя дожидается». И нагайкой показывает. А нагайка мокрая. Гляжу — висит на столбе. Черный. И пенсне на носу. Он не носил пенсне; чужую прицепили, для смеха... Дурачки, чего надумали... чужую пенсне прицепить, — он засмеялся. — Была охота... как пацаны, все равно... А пахан, как живой. Висит — поворачивается, висит — поворачивается...

Славик пнул его в бок.

— Ты чего? — удивился Клешня.

— Вы не бредите?

— Нет.

— Простите. Я думал, вы бредите...

— Нет. Он был. И пинжак евоный, и все... — Клешня оживился. — А клифт у меня ничего. А? Маруха добыла... Он распахнул zipун, показал драную подкладку. На темном рифленом теле свисали сопревшие остатки рубашки и штанов. — Клевая у меня была маруха, пацан. Засыпалась. Косушку рыковки не сумела стырить. Понял? Это она мне вчера клифт принесла. На бахче сняла с пугала. Знаешь, зачем на бахчах человечью чучелу ставят, а не корову, не верблюда?

— Не знаю.

— А потому, что любая ворона понимает: человек — самая зловредная чучела на земле... Сестренку найду, я им докажу тогда, гадам... Она придет. Мы уговорились. Я ей велел: «С места не схо-

ди». Как думаешь, смаракует? Может, зимой приходила?

— Не знаю, — сказал Славик.

— Зимой я в Кувандыке обитаю. Там теплей. Овса нажрешься и кимаришь, как верблюд все равно.

— У вас там есть какая-нибудь тетя?

— Какая тетя? Меня украли туда. Понял? Прибег я домой — нет никого. Мамку утащили, прикончили. А сестренка маленькая — должна, думаю, прийти. А дом у нас большой был. Весь этаж наш. День живу один — нету. Второй живу — нету. А шамать охота. На третью ночь, слышу, лезут. Гляжу — чужие. Собрали без света, что попало. Раскрыли меня. Глядят. Главарь ихний, дядя Ваня, говорит. «И пацана забирай». Привезли меня в Кувандык. «Вы кто — белые или красные?» Он скидает папаху. На этой стороне кокарда с орлом. Выворачивает. Там красная звезда. «Ясно?» Ну, шайка. Понял? Научили меня по дырам лазить, шал курить. А чтобы не убежал, накололи картинку. «С этой картинкой без нас тебе хана. Увидят власти — пристрелят». На понт взяли. Понял? Я пацан еще был — труханул. Так и мотался с ними года три, пока не засыпались. Может, за эти три года сестренка и приходила... Может, ждала. Не знаю... А картинка красивая... Гляди, — Клешня налил в пригоршню воду, помыл грудь, и на желтой, покрытой розовой сыпью коже слабо обозначилась волосатая женщина со змеиным хвостом и надпись: «Вот она — погибель моя». Картинка была наколото в два цвета — красным и синим.

— Вы бы помылись с мылом, — сказал Славик. — Было бы лучше видно.

— У меня от мытья шкура слазит. Понял? Как у гадюки все равно. Преет и слазит. Меня мыли. Поймали нас всех на Илецкой защите. Понял? Мы Ару хотели взять. Дядя Ваня сыпняк подцепил — нас и накрыли. Понял? Ему говорят: как хочешь — сперва вылечим, а тогда расстреляем, или сразу? Чего, говорит, лечить. Давайте сразу. Кончили дядю Ваню. А меня давай мыть. С мылом. Вымыли, стали думать, куда меня девать. Спрашивают: «Фамилия?» — «Степанов». «Где отец?» «Дутовцы заporоли», «А мать?» Молчу. Говорит неохота. «Где мать?» Молчу. Смеяться будут. Понял? «Где живешь?» Там и там. Нашелся фраер из нашего города. «Да это, — говорит, — присяжный поверенный. У них свой дом с бельетажем». «Чего ж ты скрыл?» «А я не знал». «Степанов — министр у Колчака не с вашего корня?» «Не знаю. Отец был за красных. И ничего не знаю». «А на что ему красные, если у него дом с бельетажем?» «А я не знаю». «Чем докажешь, что отец красный?» «Дутовцы его заporоли и повесили!» «Кто видал?» «Я видал». «Еще кто?» «Сестренка». «Как звать?» «Позабыл». Смеются. Старшой погладил по головке, повез сдавать куда-то. Далеко завез. Скушно мне стало. Ушел от него. Сел на «максимку» — поехал домой. Сiju на буферах. Шпала гнилая. Мосты скрипят. Разруха. Понял? Сомдел я там, закимарил, рукой за буфер. Три пальца отдавило. Ладно, привязанный был. А то бы под колеса. Доехал кое-как. Доконал до подвала. Лег в дверях дожидаться сестренку. — Клешня вздрогнул, словно его кто-то стукнул изнутри, и снова задрожал мелкой рассыпчатой дрожью. — Вон как колотит... Отойди-ка подальше... Может, лихоманка, а может, тифачок. — Он отлебнул немного водицы. — А тогда в подвал эти самые бумаги свозили. Со всех концов. А я на пороге лежу. И взяли меня — понял? Или в больницу, или сразу в колонию. Не помню. Колония Горького. Писатель такой есть, Горький. Понял? В загра-

нице живет. Вымыли меня там. С мылом, курвы. Стали спрашивать: «Фамилия?» А мне все равно. «Где отец?» А мне все равно. Понял? Воспитательница там у них была. С портфелем. Малохолдная такая, с усами. Все ходила сзади, обедни читала, лярва. «Ах, как ты выражаешься! Как не стыдно! Что за блатные слова: то «клифт», то «пижон». А пижон по-французскому голубь. Очень даже чистое слово. А стырить — обозначает по-французскому тащить. У них там, может быть, сам французский царь говорит «стырить». Меня, когда я с отцом жил, по-французскому учили. Понял? И по-немецкому учитель на дом ходил. А «клифт» разве блатное слово? Клифт по-немецкому — костюм. А лярва — маска... Пояснил я ей — стала она ко мне хуже липнуть. Только забудусь, а она: «Где папочка? Где мамочка?»... Наклад я ей в портфель и ушел... Теперь каждый год сюда езжу. По натуре. Пока сестренку не дождусь, не уйду...

— А дома ее нет? — спросил Славик. — В бельэтаже?

— Там теперь чужие. Шесть семей. В каждом окне — чужой. Сестренки нет... Она издаля приходит. Пахан говорит — приходит. Пахан-то мой там, в подвале, живет. — Клешня забормotal быстрее. — У двери затаишься — слышать, дышит... Подышит, подышит и шепчет: «Приходила, сынок, приходила» — все одно и то же. Ни про мамку, ни про меня не спрашивает, одно только: «Приходила, сынок, приходила»...

Славик собрался стукнуть его, но блок загремел, передняя дверь хлопнула. Роман Гаврилович — Митин папа — возвращался с партийного собрания.

Папа у Мити был молодой, бесстрашный и больше походил на жениха, чем на папу.

Он остановился возле Клешни и, ничуть не испугавшись, сказал:

— А ну вставай! Чеши отсюда.

Клешня подтянул к носу колени и принял утробную позу.

— Подымайся, подымайся! — продолжал Роман Гаврилович. — Кому сказано!

Клешня притаился. Даже дрожь отпустила его.

— Ну как, сами пойдем? — Роман Гаврилович слегка дотронулся до него. — Или за мильтоном сбегать?

— Пускай полежит, — попросил Славик. — Он же беспризорник.

— У нас беспризорность ликвидирована. С беспризорностью вопрос отпал.

— У него, наверное, температура. Он заболел.

— Заболел, в больницу отвезут. А тут нечего сразу разводить. Знаем мы этих стрекулистов. Ташут у трудящихся последнюю копейку.

— Он не вор, Роман Гаврилович. Он по-французскому знает.

Внезапно, как от пружины, Клешня взлетел из своего угла в воздух, и не успел Славик опомниться, что-то просвистело, ударило в стену, и порядочный пласт штукатурки плюхнулся на пол. Клешня стоял, вжавшись в противоположный угол. Верхняя губа его вздергивалась, показывая парное мясо десны и желтые зубы. Жилица нижнего этажа выглянула в щелку и поспешно заперлась.

— Эх ты, француз! — попрекнул Роман Гаврилович, подымая увесистую гирьку. — С одной сажени не попал.

И спрятал фунтик в карман.

— Лихоманка донимает. А то бы залег бы ты тут, сука, вперед копытами, — проворчал Клешня. Скользя спиной вдоль стены, он добрался до выхода и вдруг, как-то непонятно, стоя спиной и отворяя дверь, метнул из-за плеча бутылку.

Роман Гаврилович схватился за поручень. Бутылка упала у него в ногах и разбилась. Клешня с быстрой ящерицы выскользнул на улицу, в темноту.

— Вот это другое дело, — сквозь зубы сказал Роман Гаврилович, прижимая ладонью скулу. — Это по-французски...

И стал подниматься по лестнице.

Больше Клешня не появлялся. Только едкая химическая вонь почти неделю держалась в парадном подъезде.

8

А ома Митя сказал маме:

— Мы у Самсона были. Вот это так да!

Склонившись над кусочком полотна, мама выдергивала по счету ниточки, мастерила салфетку. Чтобы не скучать по папе, она рукодельничала. А папа был партиец, общественник, часто говорил на собраниях. Поэтому вся просторная комната белела вышитыми салфетками. Гипюровая салфеточка лежала углом на швейной машине, купленной, как только папу поставили мастером. Другая салфетка накрывала гору сдобных подушек. И на комод были посланы две салфеточки, и тоже углом.

Волосы у мамы, зачесанные гладко, волосок к волоску, отливали бронзой. Под лампочкой ровно белел славянский пробор. Иногда мама бросала работу, чтобы дать отдых глазам, и задумывалась: откуда-то изнутри на широкое лицо ее проступала улыбка, и было видно, что думы у нее легкие. Вся квартира, инженер Русаков, их прислуга Нюра и даже Славик называли ее Клашей.

Митю она родила, когда ей было шестнадцать лет.

— Царица Серафима превратилась в голубку, — сказал Митя. — И от нее пошли голуби-бухарцы. Их нигде нету — только у Самсона есть.

Это сообщение маму не удивило.

— Ступай, сынок, ноги мыть, — сказала она только.

— У Самсона таких бухарцев штук сто. А может, тыща. Не веришь, спроси Славку.

— Не вымоешь, в кровать не пушу. Так и знай. Постелю на полу.

В комнате было чисто. В блюдечках мокли серые лоскутья мушиной смерти. На подоконнике стоял фанерный детекторный приемник. Мама с ним не дружила. Говорили, что радио притягивает молнию.

В переднем углу, под портретом Ворошилова, хранились Митины богатства. Их никто не смел касаться.

В ящике от старинного секретера стиля «жакоб» с бронзовыми накладками можно было найти самодельный тигель для разливки олова, шесть гнезд крашенных бабок, винтовочные гильзы, оловянные глаза от куклы, сухие эриксоновские батарейки, залитые черным варом. Батарейки еще не совсем умерли: на языке проволоочки отзывались щавелевой кислотой. Был там еще ключик, связанный суровой ниткой с гвоздиком. Если трубку ключа набить спичечными головками, вставить гвоздик и с размаху стукнуть шляпкой по стене, получается самый настоящий выстрел, и неповские барыни подскакивают, как кошки.

Митя прилаживал к оси поломанных ходиков шестеренку. Он убедил себя, что, если переставить колесики как надо, вся машинка придет в движение и станет крутиться сама собой без остановки.

Мама улыбнулась маленькими, точно на иконе прорисованными губами. Вошел папа.

— Папа, — спросил Митя. — Знаешь, была такая царица Серафима? Она превратилась в голубку, и

от нее пошли голуби-бухарцы. Не веришь, спроси Славку.

— Верю, сынок.

Клаша резала хлеб и украдкой поглядывала на мужа. Она знала, что было партийное собрание. Знала, что решали вопрос о сверхурочной работе по изготовлению небывалой платформы на двенадцать осей. Такая платформа понадобилась для перевозки мостовой фермы по железной дороге. Порухенные в гражданскую войну мосты были починены на скорую руку. Особенно ненадежен был мост на 428-й версте, возле станции Чашкан. А на бездействующей железнодорожной ветке стоял новый металлический мост. Этот мост и было решено перевезти на 428-ю версту целиком, без расклевки на части. И для перевозки фермы надо срочно сделать длинную платформу на двенадцать осей, то есть с двадцатью четырьмя колесами.

Пока Клаша накрывала на стол, ей удалось вывести, что собрание было открытым, что беспартийных пришло порядочно, а коммунисты, узнав, что не то, что у нас, а и за границей никогда не перевозили готовых мостов по железной дороге, согласились еще поработать для такого дела.

Собрание вроде бы удалось, и будущую платформу Роман ласково величал «тележкой»... Тем непонятнее была его сумрачная подавленность.

Митя насадил зубчатку на валик, закрепил шпонкой и крутанул. Колесики повернулись и встали.

— Долго же вы высказывались, — заметила мама.

— Если бы не Оля Ковальчук, я бы в семь часов дома был, — сказал папа, придвигая миску со щами.

— Это которая из инструменталки?

— А кто же еще? У нас одна Ковальчук.

Когда он выхлебал половину, Клаша присоединилась к нему и стала есть из той же миски. Папа делал вид, что не одобряет деревенской привычки, — посуды, слава богу, хватало, — но в глубине души гордился, что без него она никогда не ела.

— А что Ковальчук понимает в тележке? — спросила Клаша.

— Она, видишь ты, прицепилась, чтобы перескочить на другую тематику, — пояснил папа, незаметно пододвигая жене вкусный хрящик. — Она Ивана Васильевича захотела на людях похвалить.

— Да что ты! Вот бесстыдница!

— Честное слово! Вот он, мол, какой герой, вот какой красный специалист! Вот что делает слепая любовь! Я ее торможу, а она снова про Ивана Васильевича. У нас, говорит, ученых не уважают и всех стригут под одну гребенку: ученый — значит белая кость, враг, подосланный от Чемберлена, и паразит труда.

— Неужели есть такие дурачки?

— Сколько хочешь. Возьми: хотя бы твой любезный свояк — Скавронов. У кого на фуражке топор с якорем, тот ему недобитая буржуазия. Оля его в пример и привела. Дай, говорит, Скавронову власть — всех спецов истребит... И что он драчевку казенную пропил... Не надо было ей Ивана Васильевича поминать. Каждому подсобнику известно, что инженер Русаков объясняет ей на рабфаке логарифмы, — папа невесело усмехнулся, — и притом персонально.

— Обожди, чайник принесу, — сказала Клаша. — Интересно.

Она сходила на кухню, наколола в кулаке сахар и стала наливать чай. Чай наливался долго. Папина кружка была толстая, расписанная подъемными кра-

нами и зубчатыми колесами, и ручка на ней была, как на двери.

— Ну так вот, — продолжал папа. — Помянула она Скавронова, только села, а он тут как тут. У него, знаешь сама, какой тезис: «Пчел не передавишь — меду не поешь». Вот он на Ольку и накинуся. Из каких соображений она промежуточную прослойку расхваливает? Кто она такая? Надо, говорит, поворотиться лицом к деревне да поглядеть, кто ей оттуда нутряное сало шлет — беднячок или кулачок. Чье она сало жует? Жирок нагуливает, чтобы промежуточной прослойке было за что подержаться...

Клаша показала глазами на Митю.

— Ладно, — махнул рукой Роман, — у него свои дела.

Митя громче застучал по железке. Он давно понял, что речь идет о том, что Иван Васильевич гуляет с Олькой, и эту Ольку они сегодня видели возле «Ампира». Сам факт казался ему малоинтересным, но было любопытно, как относится к этому мама.

— Ну она, ладно, глупа еще. А Иван-то Васильевич что думает? Солидный человек. Чего ему с ней интересно?.. От живой жены... — Клаша покосилась на сына, — логарифмы решать?..

Клаша жалела Лию Акимовну. Она видела: Лия Акимовна не понимает изменчивой жизни и не умеет приладиться к ней. Получку Ивана Васильевича она тратила с места в карьер, покупала, что попадалось, а через неделю шла занимать у Клаши, хотя Клаша служит на почте и вместе с Романом зарабатывает раз в пять меньше инженера Русакова. Клаша никогда не отказывала, мягко советовала шотовить на второе холодец. Однажды она решила подарить Лие Акимовне салфеточку. Достала тонкое полотно и, предвкушая, как чисто будут выделяться узоры на черной лакировке рояля, долго вышивала рассыпчатым гипюром паучки и розетки.

Лия Акимовна приняла подарок с недоумением. А через неделю Клаша увидела свое рукоделие на кухне. Салфеткой, видимо, обтирали примус. Она была вымазана сажей и керосином. С той поры Клаша перестала заводить разговор про холодец и жалела Лию Акимовну молча.

Клаша спохватилась: Роман рассказывал, а она задумалась.

— ...а он сохнет по Ольке, галстук завел, раз по десять на день к ней в инструменталку ныряет — смычку налаживает. Глядеть смешно. А хорошие бы у них детки получились: малый крепкий — ресурсу через весь цех тащит, хоть бы что.

— Кто же это такой?

— Да ты слушаешь или нет? — Он обиженно промолчал. — Гринька. Мотрошилов, ну? Переборщик ресурс из вагонно-колесного. Услышал — Оля Ивана Васильевича славит, хвост трубой! Вскочил на трибуну и давай молотить. По какой причине она Русакова хвалит? Из каких задних соображений? Русаков — явный чуждый элемент, за крупную службу пролетариату, а она — Русаков! Русаков!.. А к нам на собрание пришел представитель Дорпрофсожа. Этаким артист — кашне шелковое, наперед и назад, концы за поясом. Призываю Мотрошилова к регламенту: представителя неловко, понимаешь? Подумают, что у нас тут всегда собачья свадьба, — призываю Мотрошилова к регламенту, а он кричит, что Оля на первом мае с Русаковым на демонстрации под ручку шла. И бессовестная и вообще — из другой колонны... Она ему кричит: «Ты темный человек! Не признаешь женского равноправия!» Он ей кричит: «Это не равноправие — за женатого мужика

цепляться». Вовсе вышел из рамок — стал обижать девуку. Обзывать...

Митя фыркнул.

— Ты пойдешь ноги мыть? — спросила Клаша спокойнo.

Он застучал молотком.

— Тебе что сказано? — нахмурился папа.

Митя пошел на кухню.

— Полегше, Роман, — сказала Клаша. — Он все понимает.

— А если понимает, так чего же?.. Гляжу, Олька белая, как платок. Налил я Гриньке воды в стакан, подаю, как человеку, а он: «Ты мне душу водой не заливай. Ты секретарь ячейки, не имеешь права за-тыкать рот рабочему классу».

— Да ты что!

— А ты слушай. Дальше еще хуже. Уже и резолюция готова и высказались в основном за, а Моторшилов — против. Инженера, говорит, что хочешь придумают, а ишачить все равно рабочему классу. Я, говорит, против... И никто, согласно колдоговору, меня не заставит. Видишь ты: закладывать фундамент коммунизма — это для него ишачить!.. А мы думали: проявит себя — можно в партию принимать... А за ним и свояк туда же. Скавронов. Тоже против. Мне, говорит, получку на сахар не хватает, а тут — сверхурочные, два часа!.. Встал я, а представитель кладет мне ладошку на руку: спокойней, мол, не волнуйтесь... Не разжигайте страсти... Разрешите, я внесу ясность. Ну, думаю, в такой обстановке и, правда, пожалуй, постороннему человеку ловчей выступить... Вот он и выступил. Внес ясность. Гадюка. Как думаешь, Клаша, есть у меня классовое чутье?

— Это как понять?

— Могу я своего от чужака отличить.

— А как же! Конечно, можешь! На то тебя партийным секретарем выбрали. Рабочие зря не выберут. Народ чуткий.

— Да и я так думаю. А что получилось? Ну, Гринька, чего бы ни городил, свой парень, он весь тут. Любовь его грызет — ничего не сделаешь. Скавронов — тоже свой, хотя и с задуром. Иван Васильевичу я бы, не сморгнув, рекомендацию написал. А этого, приезжего, не раскусил. Понимаешь? Болтает черт-те что, а я уши распустил, размагнитился. Засек он, что Скавронову, видишь ты, сахарку маловато, и рассказал для смеху, будто на сахарном заводе из сахара отливают скульптурные портреты. Вот он прицепился к этому сахару, а мы, дураки, слушаем.

Вернулся Митя.

— Это называется — вымыл? — упрекнула его мама.

— Вымыл.

— А не видать.

— Лучше не отмыть. Вода в тазу грязная.

Переспорить ее было легко. Она стояла у комода, закручивала на ночь волосы, и рот у нее был набит шпильками. А папе было все равно.

— Прицепился он — и пошел травить. За сахаром, мол, хвосты, а они из сахара скульптуру лепят! Верно, говорит, отметил предыдущий оратор — это свояк Скавронов, — холуи и бюрократы обнялись с энпом и кулачем, захватили власть, оттеснили пролетариат на задворки. Кулака балуют, а рабочему второй год зарплату режут... А Скавронов ничего этого, к твоему сведению, не отмечал...

Папа разволновался, вышел на кухню покурить. А мама повесила покрывало на спинки венских стульев, отгородилась от Митиной кровати, стала



раскидывать постель, подушки размесила кулаками, покрутила, пошлепала, пока они не навострили уши.

Отворила дверь, позвала:

— Разбейся, Рома. Ложись.

Папа моментально разделся, и матрас заиграл гитарой под его сильным телом. Мама потушила свет, сняла кофту, забралась под одеяло и, косясь на Митю, разделась до конца...

Некоторое время было тихо, но Митя знал, что никто не спит. Перед сном папа поймал детектором Москву и опустил наушник в граненый стакан. Отражаясь от стекла, радио играло на всю комнату, хотя и тихо. Сегодня по причине дальней грозы потрескивало, и слышно было плохо.

— Начал-то он вроде складно, — внезапно заговорил папа. — Про акулу. Мол, акула капитализма, и так дальше... Войной пострадал. Высоко забрался: «Его величество — рабочий класс! Светлое царство коммунизма!»

Мама тихо засмеялась и обняла его.

— Тебе смешно? — Папа рассердился. — А знаешь, что он сказал, этот представитель? Нельзя, говорит, не согласиться, мастера, говорит, у вас те же самые надсмотрщики, какие высасывали кровь под скипетром царя Миколашки...

— Да что ты! А ребята? Неужели промолчали?

— Ну да! Прогнали его... Договорить не дали.

— Так чего же тебе надо?

— Да как же. Человек из Дорпрофсожа. Кого они посылают? — Голос его дрожал. — Разве я против, чтобы буржуев душить? Разве я против? Пусть только скомандуют... Да я...

— Спи, рыжий ты мой... — зашептала мама. — Выбрали наверху — тани. Чего теперь делать?.. Милый ты мой... Рыжий ты мой... Партийный ты мой... Дурачок ты мой...

Мите не нравилось, что мама называла папу рыжим. Это было ее самое ласковое слово, и незачем было тратить его на папу.

— Папа, — спросил он. — А красивей бухарских голуби бывают?

— Бывают. Спи. — Папа вздохнул. — И когда народ у нас станет смирный и единогласный?

Мама шептала ему, шептала, как маленькому, и папа постепенно задремывал, успокаивался. Мама засыпала позже всех, а утром вставала первая, еще затемно, и двигалась в темноте так бесшумно, что ее можно было почуять только по ветерку от подола.

В крошечной тьме, не отдергивая занавески, она делала что-то, стряпала, уверенно и быстро, как при электричестве, потом подходила к папе и шептала ему тихонько:

— Рома. Светает.

И папа вскакивал, как пожарник, и тогда зажигался свет, и на круглом столе, накрытом филейной накидкой, вкусно пахли свежие пшеничные шаньги, обмазанные сметаной.

Митя закрыл глаза и увидел зеленые клетки с голубями...

По коридору, шлепая пятками, пробежала Нюра отпирать парадную дверь. Русаковы куролесят до двенадцати, а то и до часа. Кто-то пришел. Где-нибудь случилось крушение, и Ивана Васильевича вызывают на линию. Он начальник всей службы пути, большая шишка. Живет в четырех комнатах. А зашибает столько, что на одну получку может купить сто голубей. А то и двести.

В дверь постучали. Оказывается, к ним. Плоскоступный свояк Скавронсв прошел на цыпочках по темной комнате, сбил по пути оба венских стула и сел на постель в ногах.

— Ты что, выпивши? — спросил папа.

— Я к тебе всерьез. От актива. Этот, златоуст профсоюзный, знаешь он кто такой?

— Кто?

— Оппозитор.

— Ну да!

— Вот тебе и да. Отпетый. Мы с активом прижали его к забору — он и раскрылся. Они, суки, думают, помянут рабочего человека копеечкой, он за ним и побежит. А мы все эти приманки при Николашке проходили... Не сердчай. Тележку мы тебе сообразим на страх уклонистам и мировой буржуазии. Против-то я кричал не подумавши. Не сердчай, Рома. Ошибся. Для родной республики надо — сутки буду работать. Я, сам знаешь, столбовой шавровщик. У меня, если после первой шавровки три натира, — я себя не уважаю. Два натира — и только! Я так прикинул, если всем партийцам согласно взяться, мы эту тележку на двенадцать осей к концу месяца сообразим.

— Если бы ты так на собрании выступил...

— Если бы, если бы... Если бы твоя тетя имела бы, ну — для Клашки, скажем — бороду, тогда она была бы не тетей, а дядей.

Митя хмыкнул.

— Спи, сынок! — сказала мама и спросила тихо: — Полегчало тебе?

— Маленько, — ответил папа и сказал Скавронсу: — Давно бы так. А то накинусь на Русакова...

— Э, нет! Тележка — пожалуйста, а Русаков — другая статья. Тут у меня никакой ошибки нету. Все эти спецы умственного труда и прочая мелкая буржуазия — замаскированные гады, и только. Ты меня с марксизма не сбивай. Прослойка — она прослойка и есть. А ты тоже, умная голова. Когда народ собрал?

— А что?

— А сам помаркуй. Третий день получку задерживают. Рабочий класс серчает? Серчает. Жрать надо. И выпить охота. А ты в такой горячий момент собираешь... Ладно, актив крепкий, а то бы было делов.

Митя закрыл глаза и снова увидел зеленые клетки с голубями...

А Скавронсв долго сидел на постели и говорил, что не допустит перекрутить генеральную линию и что только тот может заявлять, что у нас нету дозстижений, у кого на глазах очки.

(Продолжение следует.)



Юрий
Левитанский

Птицы

Когда снега земли и неба
в окне смешались заодно,
я раскрошил краюшку хлеба
и бросил птицам за окно.

Едва во сне, как в черной яме,
рассвет коснулся век моих,
я был разбужен воробьями,
случайной трапезою их.

Они так весело стучали
о подоконник жестяной,
что показалось мне вначале,
что это дождик за стеной.

Потом их стук о подоконник
родил уверенность во мне,
что по дороге скачет конник
морозной ночью при луне.

Что это кто-то, по ошибке
встав среди ночи, второпях
строчит на пишущей машинке
смешной рассказ о воробьях.

А птицы шумно пировали
и, явный чувствуя подъем,
картины эти рисовали
в воображении моем.

Они творили, словно пели,
и, так возвышенно творя,
нарисовали звук капли
среди зимы и января.

И был отчетливый рисунок
в моем рассветном полусне,
как будто капало с сосулек
и дело двигалось к весне.



Завидую, кто быстро пишет
и в благодати своей не слышит,
как рядом кто-нибудь не спит,
как за стеною кто-то ходит

всю ночь и места не находит.
Завидую, кто крепко спит,
без сновидений, и не слышит,
как рядом кто-то трудно дышит,
как не проходит в горле ком,
как валидол под языком
сосулькой мартовскою тает,
а все дыханья не хватает.
Завидую, кто крепко спит,
не видит снов и быстро пишет,
и ничего кругом не слышит,
не видит ничего кругом,
а если видит, если слышит,
то все же пишет о другом,
не думая, а что же значит,
что за стеною кто-то плачет.
Как я завидую ему,
его уму, его отваге,
его перу, его бумаге,
чернильнице, карандашу!
А я так медленно пишу,
как ношу трудную ношу,
как землю черную пашу,
как в стекла зимние дышу —
дышу, дышу — и вдруг
оттаиваю круг.



Эта тряска, эта качка —
ничего в ней нет такого.
Это школьная задачка —
поезд шел из пункта А.

Это маленькая повесть
все о том же: ехал поезд,
ехал поезд, ехал поезд
к пункту Б из пункта А.

Это все куда как просто,
время, скорость, расстояние,
время множится на скорость,
восемь пишем, два в уме.

Дождь и ветер, дым и сажа,
три страницы, два пейзажа,
трубы, церковь, элеватор,
две березки на холме.

Это все куда как просто,
повесть, школьная задачка,
мы свое уже решили,
мы одни уже в купе.

Мы дочитываем повесть,
повесть, школьная задачка,
будка, стрелка, водокачка,
подъезжаем к пункту Б.

Что ж, плати за чай и сахар,
за два ломтика лимона —
вкус лимона, вкус железа,
колеи двойная нить.

Остается напоследок
три-четыре телефона —
три-четыре телефона,
куда можно позвонить.

Воспоминанье о скрипке

Откуда-то из детства
бумажным корабликом,
запахом хвойной ветки,
рядом со словом «полька»
или «фольга»
вдруг выплывает
странное это слово,
шершавое и смолистое,—
канифоль.
Бумажный кораблик,
елочная игрушка,
скрипочка,
скрипка.
Шумные инструменты моего детства —
деревянные ложки,
бутылки,
а также гребенки,
обернутые папиросной бумагой,—
это называлось тогда шумовым оркестром,
и были там свои Рихтеры
и свои Ростроповичи,
извлекавшие из всего этого
звуки,
потрясавшие наши сердца.
Я играл на бутылках,
на деревянных ложках,
я был барабанщиком
в нашем отряде,
но откуда
это воспоминание о скрипке,
это шершавое ощущение смычка,
это воспоминанье
о чем-то,
что не случилось!

Дети

Дети, как жители иностранные
или пришельцы с других планет,
являются в мир, где предметы странные,
вещи, которым названия нет.

Еще им в диковину наши нравы.
И надо выучить все слова.
А эти звери! А эти травы!
Ну, просто кружится голова!

И вот они ходят, пометки делая
и выговаривая с трудом:
— Это что у вас!— Это дерево.
— А это! — Птица.— А это! — Дом.

Но чем продолжительнее их странствие —
они ведь сюда не на пару дней,—
они становятся все пристрастнее,
и нам становится все трудней.

Они ощупывают переборочки.
Они заглянуть стараются за.

А мы их гиды, их переводчики,
и не надо пыль им пускать в глаза.

Пускай они знают, что неподдельно,
а что — только кажется золотым.
— Это что у вас!— Это дерево.
— А это!— Небо.— А это!— Дым.

Сон о забытой роли

Мне снится, что в некоем зале,
где я не бывал никогда,
играют какую-то пьесу.
И я приезжаю туда.
Я знаю, что скоро мой выход.
Я вверх по ступеням бегу.
Но как называется пьеса,
я вспомнить никак не могу.
Меж тем я решительно знаю,
по прихоти сна моего,
что я в этой пьесе играю,
но только не помню кого.
Меж тем я отчетливо помню —
я занят в одной из ролей.
Но я этой пьесы не знаю
и роли не помню своей.
Сейчас я шагну обреченно,
кулисы раздвинув рукой.
Но я не играл этой роли
и пьесы не знаю такой.
Там, кажется, ловят кого-то,
и смута стоит на Руси.
И кто-то взывает:— Марина,
помилуй меня и спаси!
И, кажется, он самозванец.
И кто-то торопит коней.
Но я этой пьесы не знаю
и даже не слышал о ней.
Не знаю, не слышал, не помню.
В глаза никогда не видал.
Ну, разве что в детстве когда-то
подобное что-то читал.
Ну, разве что в давние годы,
когда еще школьником был,
учил я подобное что-то
да вскоре, видать, позабыл.
И должен я выйти на сцену
и весь этот хаос облечь
в поступки, движенья и жесты,
в прямую и ясную речь.
Я должен на миг озариться
и сразу, шагнув за черту,
какую-то длинную фразу
легко подхватить на лету.
И сон мой все время на грани,
на крайнем отрезке пути,
где дальше идти невозможно,
и все-таки надо идти.
Сейчас я шагну обреченно,
кулисы раздвинув рукой.
Но я не играл этой роли
и пьесы не знаю такой.
Я все еще медлю и медлю,
но круглый оранжевый свет
ко мне подступает вплотную,
и мне уже выхода нет.



Иван
Зюзюкин

МАТЬ



Фотografы старых времен умели не хуже нынешних схватить в человеке главное. Лицо Марии Александровны Ульяновой на всех сохранившихся снимках дышит добротой и благородством. Оно будто вылеплено по всем канонам классической скульптуры: чистота, мягкость линий, спокойные соразмерности лба, носа, губ.

Из всех ее детей внешне, пожалуй, только сын Александр немного похож на нее. Остальные дети пошли кто в отца, кто в деда. «Чертами лица Владимир Ильич не походил на мать...» — пишет Мария Ильинична Ульянова в своих воспоминаниях. — Но глаза у Владимира Ильича были глазами матери». На некоторых фотографиях Ленина виден твердо сжатый рот матери, улавливаешь и ее спокойный, величавый взгляд, светящийся из темной глубины глаз пронзительным умом.

Мария Александровна никогда нигде не служила. Выйдя замуж, она представлялась как супруга, а

после смерти Ильи Николаевича — как «вдова действительного статского советника Мария Ульянова».

Но и тогда было и сейчас есть слово, точностью и красотой звучания затмевающее все титулы, — мать. Когда-нибудь, возможно, будет написан научный труд под названием «Матери в истории». Жизнь Марии Александровны Ульяновой могла бы лечь в основу одной из самых ярких глав этого исследования, как жизнь матери, которая через своих детей серьезно повлияла на ход истории...

По свидетельству родных и близких знакомых, Мария Александровна Ульянова, урожденная Бланк, в молодости была красивой, статной девушкой, с приветливым, на редкость ровным характером. Судя по всему, была она также от природы

На снимке — Мария Александровна Ульянова.

очень одаренной личностью. Немка по матери, она быстро научилась говорить не только по-немецки, но и по-английски, по-французски. Ее начитанность, тонкое понимание и исполнение музыки, интеллигентные манеры склоняли окружающих к мысли, что она получила образование в одном из закрытых привилегированных учебных заведений. На самом же деле она получила только домашнее образование.

Став женой и матерью, она без остатка посвятила себя семье. В противоположность многим замужним женщинам своего круга она не находила никакого удовольствия в светском судачении, пышных выездах, нарядах и прочем. В памяти детей и ее немногих, но близких приятельниц она осталась молчаливой и кроткой женщиной, всегда чем-нибудь озабоченной и счастливой тем, что у нее много детей, много забот.

Естественно предположить, что между супругами Ульяновыми иногда возникали какие-то разномыслия. Однако никто из их детей не припомнил ни одного случая, когда бы на их глазах родители из-за чего-то не поладили. Врезалось в память другое: и в поощрениях и в наказаниях детей отец и мать Ульяновы были единодушны, по словам Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой, «дети видели всегда перед собой «единый фронт».

В воспоминаниях детей Ульяновых Мария Александровна является часто и особо. Их любовь и преклонение перед памятью о ней чувствуются не только в строчках, прямо посвященных ей. Любовью и преклонением проникнуты многочисленные, тепло, нежно, восторженно написанные страницы, на которых ее имя не упоминается, но незримо присутствует, потому что это страницы про детство. Оно, по признаниям всех детей Ульяновых, оставивших нам свои воспоминания, было счастливым и радостным.

Илья Николаевич, неистово работавший на своем нелегком поприще, днями и даже неделями бывал в отъездах, инспектируя народные училища в самых отдаленных уездах и селах. Про Марию Александровну мы можем сказать, что она была гением, вдохновителем каждого дня детства своих сыновей и дочерей.

Шестеро детей, не сильно различавшихся в возрасте, не сдерживаемых в своих порывах резкими окриками, бегали по саду, лакомились клубничкой на огородной грядке, играли в «брыкаски» и индейцев, бойцов Гарибальди и Авраама Линкольна, выпускали рукописный журнал... Над их лепетом, смехом, первыми прозрениями стояла величаво спокойная Мария Александровна, справедливый судья их спорных поступков и ссор, первый живой волшебник, фокусник, мудрец, повстречавшийся им в этом мире. «Могу сказать с уверенностью, что никакой артист в моей последующей жизни не пробудил в моей душе такого восхищения и не дал таких счастливых поэтических минут, как эта бесхитростная игра матери», — вспоминает Анна Ильинична одну из забав детства. Мария Александровна не только наблюдала за играми детей, но и сама увлеченно играла с ними, не давая повода думать, что она это делает только для них.

В их воспоминаниях живет и изумление перед тем, что ей почти никогда не приходилось повторять свои материнские запреты дважды. Видимо, в ней, взрослом человеке, голос, взгляд и жест находились в такой гармонии, что ребенок сразу понимал: нельзя. Из мер наказаний, вспоминают дети Ульяновы, она применяла чаще всего вот эту: сажала непослушного в «черное кресло» рядом с Ильей Николаевичем, обычно глубоко погруженным в работу...

Зато намного шире был набор поощрений. По не-

которым из них тоньше постигаешь ее характер и ее педагогику. «Мать подарила мне большой клубок красной шерсти и крючок для вязания. Я принялась за дело и скоро увидела с удивлением, что из-под шерсти торчат какие-то твердые предметы. Постепенно, по мере того, как я вязала, из клубка появлялись маленькие игрушки, конфеты и т. д.» (М. И. Ульянова). Или радость обязанностей: «Когда решали пить чай в беседке, ...дружно брались все за работу: Саша, бывало, тащит в сад самовар, другие несут, что кому под силу... Обычно было принято прислугу не беспокоить, а все делать самим... По окончании чаепития на всех также хватало работы: девочки помогали матери мыть посуду, мы уносили из беседки все обратно домой» (А. И. Ульянов).

Удалось более или менее точно восстановить внутренний вид дома, в котором проживали Ульяновы. К сожалению, никаким способом нельзя воскресить трепетную материю быта этой семьи. Насколько бы нам сегодня было понятней, как и под влиянием каких примеров, образов складывались характеры и убеждения детей Ульяновых, знаем мы, какие сказки и жизненные истории рассказала им специально и между делом мать, сколько раз и по каким случаям она помогала им улыбнуться, когда они готовы были горько плакать, взгрустнуть и задуматься, когда их подмывало бездумно смеяться... В духовный мир детей Ульяновых вошли те дни, когда они под руководством матери красили и золотили игрушки для новогодней елки, те вечера, когда по дому разносилась тихая игра матери на рояле, мешавшая музыке с первыми сновидениями в сознании засыпающего ребенка... «Всем весело, все смеются. И хорошо чувствуется в этой дружной семье», — такое впечатление вынес один близкий к Ульяновым человек.

В Симбирске Ульяновы несколько лет жили в доме неподалеку от тюрьмы и «Старого венца» — места гуляний горожан. «Здесь стояла лишь пара скамеек над обрывом к Волге, — читаем мы в воспоминаниях А. И. Ульяновой-Елизаровой. — По праздникам звучала гармоника, земля усердно посыпалась скорлупами подсолнечников... немало попадалось голов и хвостов воблы... На пасху сюда выходили катать яйца, и «Старый венец» пестрел яркими платьями и красными рубахами местных обывателей. Водружалась карусель, нестройно, перебивая одна другую, звучали гармоники... И публика веселилась почти непосредственно под завистливыми взорами обитателей тюрьмы. Бледные, обросшие, какие-то дикие лица глядели из-за решеток, слышалось лязганье цепей...»

В этих строчках тоже присутствует мать. Как птица, крылом укрывающая птенцов от непогоды, любовью и вниманием укрывает Мария Александровна подрастающих детей от агрессивного убожества, убивающей напавшей жестокости окружающей среды. Дети Ульяновых запомнят картины и сцены, которые ранили и возмущали их юные души. Но, довольные напившись радостей из чистого родника детства, они покинут дом жизнерадостными, сильными людьми.

Как всякая хорошая мать, она хотела, чтобы дети умом, культурой, положением в обществе превзошли родителей. Долгое время она была домашним учителем своих детей («Чтению и письму нас научила мать». А. И. Ульянова-Елизарова). Все дети Ульяновых успешно, а Владимир и Ольга блестяще учились, были хорошо воспитанными учениками. В характеристике, выданной выпускнику гимназии Владимиру Ульянову, отмечается, что «добрые плоды домашнего воспитания были очевидны в отличном поведении Ульянова». Похвальные листы и золотые медали детей Ульяно-

вых без всяких аллегорий принадлежали и Марии Александровне, просидевшей с каждым из них над учебниками и тетрадями долгие часы, а если сложить все вместе — долгие годы.

Благодаря ей все дети хорошо усваивали иностранные языки, а Владимир Ильич, как известно, некоторыми овладел в совершенстве. Всем без исключения детям она привила горячую любовь к музыке, природе. Как истинная мать, она сумела полностью передать свое духовное наследство каждому из них, никого при этом не обделив.

Чем дальше уходит от нас эпоха, в которую жила под одной крышей эта семья, тем все очевидней становится истина: обстановка в доме Ульяновых была благоприятной для критического восприятия действительности, которое затем переросло в ее революционное неприятие. Разумеется, детей Ульяновых воспитывали не только родители, но и окружающая среда, книги, гимназия. И пусть непосредственно на себе, пока был жив Илья Николаевич, братья и сестры Ульяновы не испытывали экономического гнета или политического произвола, тем не менее они рано стали сознавать, что мир во многом несовершенен, груб, несправедлив. К такому выводу их неизбежно подвигал резкий контраст между чистотой, богатством отточенных в семье и той тоскливой бездуховностью, в какой пребывал чиновничий Симбирск, между неподкупной честностью отца и матери и беззастенчивым лихонимством некоторых чиновников.

На первый взгляд никак не вяжется миролюбивая атмосфера в доме Ульяновых с тем фактом, что один из членов этой семьи, Александр Ильич Ульянов, с полным сознанием ответственности и смертельного риска для себя готовился убить царя. Другой член семьи, Владимир Ильич Ульянов, за которым, согласно гимназической характеристике, «не было замечено... ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в начальствующих и преподавателях гимназии непохвальное мнение о себе», вопреки такой репутации в первые же месяцы учебы в университете принимает участие в студенческих волнениях, по свидетельству одного очевидца, «в первых рядах, очень возбужденным, чуть ли не со сжатыми кулаками».

Говоря строго, ни одно из следствий по делу братьев и сестер Ульяновых (а они все без исключения встали на путь борьбы с существующим строем) не было доведено до логического конца. Никому из деятелей царской охранки, конечно, в голову не могла прийти мысль, что первые искры мятежного духа в своих детях заронили трудолюбивый директор народных училищ Илья Николаевич Ульянов, пожалованный дворянским званием, и его кроткая, вся погруженная в домашние дела супруга Мария Александровна. А между тем это было так. На воспитание более, чем на что-либо другое, распространяется правило обратной связи. Человек, насытившийся лаской в детстве, сумеет проникнуться сочувствием к страданиям других. Воспитанный в уважении к его собственной личности, он возненавидит произвол любого рода. Здоровье, полноценное детство может пробудить в человеке вызов несправедливости так же, как и униженное, оскорбленное детство. Царская охранка должна была, по идее, искать, вынюхивать смертельных врагов существовавшего строя не только в среде задавленных трудом и нищетой людей, но и в тех домах, где весело смеялись, духовно прозревали счастливые дети. Правило ли это или только предположение — судить не возьмусь. Но вот и Лев Толстой, проживший огражденное от тягот детство, вы-

работался к зрелости во врага своей среды, своего класса. От гармонии детства — к неприятию действительности — логичен и такой путь.

Все же ничто так не изумляет в Марии Александровне, как сила ее воли и жизнестойкость. Все самое горькое в жизни, все непоправимые утраты ей пришлось перенести за срок слишком короткий для одного человека. Почти каждое из несчастий могло свести с ума, разорвать сердце:

1886 год — умирает муж Илья Николаевич,

1887 год, март — арест сына Александра и дочери Анны в Петербурге.

1887 год, май — казнь через повешение сына Александра.

1887 год, декабрь — арест, исключение из университета и высылка сына Владимира.

1891 год — смерть дочери Ольги.

1895 год — арест и в 1897 году ссылка в Сибирь сына Владимира.

Потом пойдут аресты, высылки, ссылки сына Дмитрия, дочери Марии, преследования людей, с которыми дети связывали свою судьбу и которые тоже все как один занимались революционной деятельностью (Н. К. Крупская, М. Т. Елизаров и др.). Даже этот беглый, далеко не полный перечень испытаний, выпавших на долю Марии Александровны, походит на жесточайший заговор судьбы. Мы можем поклониться тени этой женщины уже только за то, что она выдержала эти испытания, не уронив головы и достоинства.

Бледной, спокойной, без слез, без жалоб стоящей у гроба — такой она запомнилась во время похорон Илья Николаевича. «Потрясенной, грустной, но в полном самообладании» видела ее Анна Ильинична во время следствия и суда над Александром Ильичем.

Вероятно, ее поразительная способность держаться на людях, не выказывать своих чувств могла удивить посторонних. Не трудно представить, какое выражение лиц было у судей, когда Мария Александровна, не дослушав до конца страстную и сегодня, как гром, звучащую речь сына, встала и вышла из зала заседания суда.

Анна Ильинична самокритично признается: «...и при этом несчастии, как и при первом, потере отца, мать явилась опорой мне, а не я ей». О казни сына Мария Александровна узнала на улице, когда шла в тюрьму на свидание с дочерью Анной. Не упала, дошла, и хватило сил на то, чтоб не крикнуть — совсем не сказать измученной тревогой дочери о том, что ее старшего брата уже не стало. Такую же удивительную выдержку проявили находившиеся в эти дни в Симбирске Владимир Ильич и Ольга Ильинична. Первыми в городе узнав о том, что брат казнен, они, совсем еще подростки, пришли на занятия в гимназию и вели себя так, что никто по их виду не догадался о свершившемся. Лишь Ольге, не выдержавшей душевного напряжения, на второй день сделалось дурно.

Анна Ильинична, выпущенная после казни брата из тюрьмы, с ужасом узнает, что мать «иногда заговаривается». Из Петербурга в Симбирск Мария Александровна вернулась похуевшей, измотанной горем, но полной достоинства. «Не позвонила, не постучала, тихо вошла через черный ход», — вспоминает ее возвращение няня семьи. — Маленькие дети так и облепили мать. Смотрю, — она поседела вся». Вот так сильная воля, не давая вырваться чувствам наружу, становится огнем, вылизывающим, сжигающим человека изнутри. Мария Александровна долго ни с кем не

могла говорить о погибшем сыне. Лишь много лет спустя, чуть оттаяв, стала рассказывать родным и близким, как благородно и мужественно он вел себя. И скольких сил ей стоило спокойствие и самообладание.

Например, об упомянутом заседании суда передавала так: «Я удивилась, как хорошо говорил Саша: так убедительно, так красноречиво. Я не думала, что он может говорить так. Но мне было так тяжело тяжело слушать его, что я не могла досидеть до конца его речи...»

«Рассказывала она и о своих свиданиях с Сашей, — вспоминает Анна Ильинична. — На первом из них он плакал и обнимал ее колени, прося простить в причиняемом ей горе; он говорил, что, кроме долга перед семьей, у него есть и долг перед родиной. Он рисовал ей бесправное, задавленное положение родных и указывал, что долг каждого честного человека бороться за освобождение ее.

— Да, но эти средства так ужасны, — возразила мать.

— Что же делать, если других нет, мама, — ответил он.

В молодости, хоть и изредка, Мария Александровна все же посещала церковь. Казалось бы, годы и утраты должны были обострить ее религиозные чувства. Она же, наоборот, утратила остатки веры в бога, что тоже говорит о ней как о человеке выдающейся силы воли. Казнь сына высветлила ее голову, а годы — ее великую материнскую печаль. До конца своих дней она не расставалась с двумя фотографиями Александра Ильича, снятого в тюрьме, в профиль и анфас.

Высокое предназначение матери своих детей она безупречно выполняла и после того, как стала вдовой. Дело было не только в том, как содержать большую семью на скромную пенсию. Дети, еще недавно игравшие вместе в саду, переставали быть детьми. Курсистка Анна, человек тонкой, нервной конституции, до основания потрясена смертью отца и не хочет ехать в Петербург, чтобы сдать последние экзамены. Студент Петербургского университета Александр, высоколобый, молчаливый, после смерти отца приезжает домой, ведет уединенный образ жизни, пишет диссертацию и еще о чем-то другом напряженно думает, тревожа материнское чутье. Подросток Владимир, вчера еще такой ласковый и обходительный, вдруг стал отвечать матери резко, временами даже дерзко, за что от брата Александра получал сдержанные, но решительные нахлобучки.

Как мать, Мария Александровна сохраняет ясное понимание того, что происходит в ее детях, какие перемены совершает в них горе и неведомая сила отрочества. Это как бы закреплено в биографии семьи, которая в конце концов оправляется от удара, становится деятельной. Анна Ильинична, ободренная матерью, едет в Петербург. Туда же, закончив диссертацию, уезжает и Александр Ильич, остальные дети продолжают успешно учиться в гимназии... Затем следует новый удар — арест и казнь Александра Ильича. Семья Ульяновых, еще раз осиротевшая, по-прежнему сплочена, не поддается разрушительной тряске судьбы. Главой дома, ее мужским началом, отныне становится семнадцатилетний Владимир Ильич. Возрастная ломка характера, обостренная теперь и мученической смертью старшего брата, завершается в юном Ленине резким, потрясшим родных и близких повзрослением. Несмотря на то, что к этому времени он успел только окончить гимназию и находился на иждивении матери, Мария Александровна уступает ему право решающего слова в общих для всей семьи вопросах и ничего не предпринимает без сове-

та с ним. Этот, казалось бы, чисто семейный факт должен занять свое место в наших размышлениях о формировании личности Ленина.

Как ни странно прозвучит это утверждение, но именно матери труднее всего понять и оправдать те поступки своих детей, которые грозят им тюрьмой или смертью. Она вправе смотреть на детей как на свои живые, неотторжимые ветви. Ей так же, как и им, тревожно, когда их подвергают аресту, фотографируют в профиль и анфас, нестерпимо больно, когда они хватают последние глотки воздуха, всходя на эшафот. Эта боль толкнула ее написать царю отчаянное, состоящее из крика письмо. Она же заставила мать умолять сына подать прошение о помиловании.

Прокурор, присутствовавший в тот момент, когда Мария Александровна обратилась к сыну со своей просьбой, вспоминает, каков был ответ сына.

«— Представь себе, мама, что двое стоят друг против друга на поединке. В то время, как один уже выстрелил в своего противника, он обращается к нему с просьбой не пользоваться в свою очередь оружием. Нет, я не могу поступить так!..» «Я больше не настаивала, не уговаривала, видя, что ему было бы тяжело...» — рассказывала она потом своей подруге. Боль сына оказалась острее, невыносимее собственной.

При всей своей душевной твердости она не считала возможным диктовать свои решения детям, когда они уже вышли на самостоятельный путь. Для нее лишь революционная деятельность Александра оказалась неожиданностью. Остальные дети не скрывали своего пристрастия к нелегальной литературе, а затем и к нелегальной деятельности. В конце концов, устав от бесцеремонных обысков квартиры, ожидавший приговоров то Владимиру, то Анне, то Дмитрию, то Марии, как мать, она, наверное, могла бы настаивать, чтобы кто-то, хотя бы один из них, был всегда рядом с нею, старой женщиной, и вел мирный образ жизни. Однако в воспоминаниях Ульяновых не находится и намек на то, что мать к кому-то из них обращалась с такой просьбой. Лишь один раз, и то вся еще под впечатлением казни старшего сына и первого ареста Владимира, она покупает небольшой хутор с тайной надеждой, что Владимир увлечется сельским хозяйством и таким образом избежит нового ареста. Но Ленин в ту пору уже был весь во власти могучего интеллекта Маркса и к сельским трудам не проявил интереса. А Мария Александровна ни словом, ни видом не показала, что огорчена этим. Как мать, она привыкла считать счастливым тот жребий, какой избрали дети.

Сама она революционной деятельностью в буквальном смысле слова никогда не занималась, ни разу не арестовывалась. Однако пробыла она в ссылках, высылках больше, чем каждый из ее детей. Ведь их было много, а она одна. Но она и одна успевала скрасить скуку и одиночество высылки то младшего сына, то старшей дочери. В этом же смысле она немало времени провела и в домах предварительного заключения и тюрьмах, куда бесконечное множество раз приходила на свидания, носила передачи. Отдавая должное ее мужеству и терпению, Ленин в одном из писем к матери признает, что «мыкаться по разным «присутственным» местам — дело зачастую сугубо неприятное, более неприятное, чем сидеть». В ее эпистолярном наследстве, сохранилось оно полностью, солидную часть составили бы всевозможные прошения на имя «их сиятельств», «их превосходительств» и т. п. Всю жизнь после смерти мужа она за кого-нибудь из детей ходатайствовала, настаивая на лучшем их питании в тюрьме, на более здоровом месте ссылки и т. д.

Со временем Мария Александровна овладела некоторыми приемами конспирации, научилась расшифровывать потаенные просьбы в письмах из тюрем, предупреждала о возможном аресте, прятала нелегальщину, давала детям советы, как выжить, не заболеть во время заключения... «За вязанием не сиди слишком много. Хорошо маршировать по камере. Как велика она, сколько шагов?» «Проси, чтобы разрешили тебе вторую вечернюю прогулку. В последнее свидание я заметила сильную одутловатость на лице твоём». «Ты делаешь хорошо, что пьешь молоко... и обтираешься...» — такую науку, обогащенную опытом отсидок Владимира Ильича, Анны Ильиничны, Дмитрия Ильича, преподает она Марии Ильиничне.

«Нередко... она оставалась совсем одна в чужом городе, так как мы немало кочевали из города в город, а она следовала всегда за нами... Для нее, незнакомой с условиями тюрьмы, заключение представлялось всегда хуже, чем оно было на самом деле... Иногда беспокойство это бывало так сильно, что Мария Александровна, помимо свиданий, которые она имела с нами, когда мы бывали под арестом, приезжала к тюрьме и ходила вокруг нее в надежде, не удастся ли ей случайно повидать близких ей как-нибудь через окно или что-нибудь услышать о них» (М. И. Ульянова).

Реже, чем с кем-либо из детей, после того как они стали взрослыми, она виделась с Владимиром Ильичем. Причиной тому — переезд Ленина на жительство в Петербург, затем его заключение в тюрьму, ссылка в Шушенское и, наконец, эмиграция. Разлука наложила на их отношения печать особой нежности, проглядывающей чаще всего через будничное, приземленное.

Ленин часто писал матери. Это видно по датировке его писем к ней. Причем надо иметь в виду, что некоторые из них исчезли при обысках или пересылках, так что, можно предположить, интервалы между ними были намного короче, чем они обозначены в сохранившейся переписке.

В его письмах к ней можно найти такое, о чем только матери напишешь, и не потому, что другие не поймут, а потому, что она поймет лучше всех на свете. Вот строчки из первого письма, присланного из Петербурга: «Комнату я себе нашел наконец-таки хорошую, как кажется; других жильцов нет, семья небольшая у хозяйки, и дверь из моей комнаты в их залу заклеена, так что слышно глухо...» Безраздельно посвятивший себя революционной деятельности, он при всей своей неприхотливости часто страдает от безденежья, и поэтому в некоторых его письмах содержится просьба, по-сыновьи откровенная, — «прислать деньжонок».

Пожалуй, ни с кем он не был доверителем, как с матерью. В письмах к ней — и это отбрасывает свой свет на личность Марии Александровны — Ленин, не скупясь на строчки, живописует места, где он бывал по своей или не своей воле («На горизонте — Саянские горы или отроги их; некоторые совсем белые, и снег на них едва ли когда-либо стает. Значит,

и по части художественности кое-что есть, и я недаром сочинял еще в Красноярске стихи... «В Шуше, у подножия Саяна...», но дальше первого стиха ничего, к сожалению, не сочинил!», рассказывает, над чем работал последнее время («Кончаю теперь статейку в ответ Струве... Думаю, если не удастся поместить ответ в журнале (хотя бы в виду того, что Туган-Барановский или Булгаков опередят меня своими ответами...), включить его в «рынки...» Конечно, в журнале было бы лучше...»), делится впечатлениями о спектаклях и концертах, на которых удалось побывать («Был на днях в опере, слушал с великим наслаждением «Жидовку»: я слышал ее раз в Казани (когда пел Закржевский) лет, должно быть, 13 тому назад. Музыка и пение хорошие...»), откровенно признается в тоске по дому и родине, какая нападала на него временами в эмиграции («Надоедает слякоть и с удовольствием вспоминаю о настоящей русской зиме, о санном пути, о морозном чистом воздухе...»).

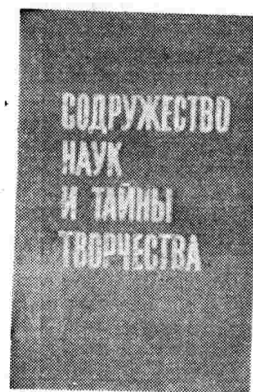
В последнем из сохранившихся к ней писем, poslanном в марте 1916 года из Цюриха, он пишет: «Надеюсь, у вас нет уже больших холодов и ты не зябнешь в холодной квартире? Желаю, чтобы поскорее было тепло и ты отдохнула от зимы... Твой В. У.».

Могла ли она предполагать, что ее второй сын станет еще более известной личностью, чем первый? Догадывалась ли, что его имя будет означать целую эпоху в истории? У матери всегда свой взгляд на детей. Для нее главное, чтобы сын был жив, здоров, удачлив. В тех редких случаях, когда Мария Александровна видела Владимира Ильича в работе, она одновременно гордилась им и тревожилась за него... «...зачем он так сильно напрягается, так громко говорит — это ведь так вредно», — сказала она как-то, послушав его выступление.

Кажется, не было ничего такого, что бы она для него (как, впрочем, и для других детей) могла сделать, но не сделала. Ради него и его успешной учебы в университете она продает дом в Симбирске и переезжает в Казань. Когда его сослали в Сибирь, она хотела поехать к нему и жить рядом с ним, но помешал арест Дмитрия Ильича. Ленин, оказавшись в эмиграции, часто приглашает мать приехать повидаться. И она, невзирая на расстояния, преклонные годы, тающие силы, едет к нему по железной дороге во Францию, по морю — в Швецию...

Вечером одного из апрельских дней 1917 года, вернувшись из эмиграции, Ленин поехал на Волково кладбище — к матери, похороненной рядом с Ольгой Ильиничной. Мы не знаем, плакал ли он у двух дорогих могил или стоял бледным, спокойным, без слез, с внутренним пламенем скорби.

Люди, близко знавшие семью Ульяновых, поражались, с какой нежностью Ленин при встречах и прощаниях целовал руки матери, насколько не стеснялся этой, по тем временам, «барской» привычки. Делая это, он, конечно, следовал не только дворянско-интеллигентскому обычаю. Руки матери дети целуют и тогда, когда понимают, скольких тревог и переживаний они, дети, стоили ей. И уже одно это понимание делает их достойными своих матерей.



Стихотворение С. Наровчатова «Зеленые дворы», давшее название сборнику, воспринимается как стержневое в книге «Библиотека «Огонек», (изд-во «Правда»). И не потому, что его название вынесено на обложку. Глубина, лирическая наполненность строк делают стихотворение емким, точным, задающим определенную тональность остальным стихам книги.

Шумели во дворе
густые липы,
Старинный терем
прятался в листве,
И тихие послышались
мне всхлипы,
И кто-то молил:
«Тяжко на Москве...
Умчишь по государеву
указу,
Намучили меня дурные
сны,
В Орде не вспомнишь
обо мне ни разу,
Мне ждать невмочь до
будущей весны».

Зеленые московские дворы — юность поэта, его мечты и надежды — трижды окружают нас своими густыми липами. Это Россия голосом любимой трижды окликает поэта из распахнутого окна, обращенного в листву, и трижды в голосе ее — тревога и призыв. Он звучит в трудное время, он связует прошлое с настоящим, он весь — горечь разлуки. И трижды повторенная юность поэта проходит по зеленым дворам, словно подтверждая преданность юношеским мечтам. И, отстраненная «юнцом сегодняшнего дня», она с грустью провозглашает его взглядом:

Ему идти зелеными
дворами,
Живой тропой земного
бытия,
Не увидать увиденного
нами,
Увидеть то, что не
увидишь я...

По притягательной силе с этим стихотворением соперничает другое: «Русский посол во Флоренции (XV век)». Пожалуй, только Кедрину до этого удавалось так точно и красочно передать русский дух в далекие средние века. Стихотворение это настолько цельное, что приводит в тексте отдельные строки из него не только трудно, но и жестоко; кажется, что отсекаешь живое от живого же.

В сборник «Зеленые дворы» вошли стихи, написанные в разные годы и разные по тематике («Фронтальная ночь», «Пожар», «Письмо из Мариенбурга», «Кавалер и барышня» и т. д.), но их объединяет личность поэта, которому дана власть над свежестью и глубиной слова.

Татьяна КУЗОВЛЕВА

После появления «Дачной местности» критики, говоря об Андрее Битове, обязательно уточняют, о каком Битове идет речь — «раннем» или «позднем». Уточняю и я: в «Аптекакарском острове» (изд-во «Советский писатель», Ленинград) собраны рассказы «Битова-раннего». Но это не просто по сушекам наметенные, прежде по разным причинам не напечатанные, а теперь, под шумок успеха, выпущенные в свет вещи. Ядро сборника — рассказы «Пенелопе», «Дверь», «Бездельник», «Аптекакарский остров», «Фиг». Это как бы пробные наброски, этюды к повестям «Сад» и «Жизнь в ветреную погоду», как бы первые пробы важных для Битова сюжетных коллизий и характеров, вернее, характера, ибо, как точно подметил один критик, Андрей Битов исследует скорее характер, чем ха-

рактеры. Художественное достоинство этих этюдов не одинаково. «Фиг», на мой взгляд, всего лишь любительская фотография из детского альбома Алексея, героя повести «Сад», не очень удачное воспоминание о том времени, когда он был всего лишь Алешкой — «фигом», о том счастливым времени, когда даже «Декамерон», тот самый «Декамерон», о котором в Алешином классе уже говорят, понижая голос, как о чем-то тайно-запретном, кажется ему, еще свободному от «всего этого», просто «скучной книгой».

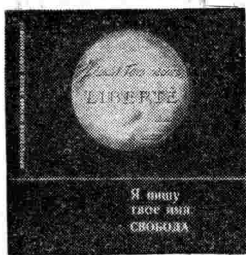
В «Двери» уже намечен, хотя и в самых общих чертах, и характер героя и тип отношений между «мальчиком» и «женщиной», в которую «мальчик» влюблен. Правда, Аси — героини «Сада» — в этой вообще ЖЕНЩИНЕ мы еще не только узнать, но и угадать не можем. Но, по замыслу Битова, так тому и быть надлежит, ибо все, что происходит с героями, происходит хотя и в быту, но с бытом никак не связано и законом его неподвластно. Символическая дверь — ее никак не может открыть герой рассказа «Мальчик» — не открывается только потому, что ОН — Мальчик. А ОНА — Взрослая женщина... Все остальное неважно, все остальное не имеет никакого значения... В «Пенелопе» Битов оспаривает самого себя. Здесь как раз приобретают необычайную, даже преувеличенную важность все те частные предрассудки, все те представления о приличии, которые мешают мужчине видеть в женщине просто женщину... Но мы были бы очень несправедливы к Битову, если бы предположили, что суть рассказа в

осуждении некоего молодого человека, который, разглядев, как странно держится и как нелепо одета его случайная спутница, поспешил отделиться от нее. Одиссей не узнает Пенелопу не потому, что на ней «рубашка», дело не в торчащих бигуди и невозможном туалете! На этот раз «Дверь» не открывается потому, что женщина, предлагающая себя в Пенелопы, — существо не просто из другой среды, но и из другой жизни...

В «Саде» Андрей Битов не только соединяет эти два решения, но и отказывается от их прямолинейности, растворяет формулы в потоке живой жизни. Он понимает: то, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они любят, — меньше всего поддается абстрагированию...

Размер рецензии не позволяет мне даже в самом общем виде обозначить те связи, которые существуют между «Аптекакарским островом» и «Дорогой к другу», «Бездельником» и «Жизнь в ветреную погоду», но даже при поверхностном сопоставлении этих вещей видно, что Андрей Битов все еще смотрит назад, в свое «столь долгое детство», все еще не устает удивляться ни тому, что растет, ни тому, что вместе с ним изменяется и то давно прошедшее, которому надлежит пребывать неизменным.

Из этого ряда, на мой взгляд, выпадает только рассказ «Инфант» (киноповесть «Нарисую — будем жить» я вообще сбрасываю со счетов: в ней так мало «битовского», что она кажется написанной «по мотивам Битова»). В «Инфанте» тоже есть эпизоды, написанные пока еще «с голоса чужо-



го». И все-таки именно этот рассказ, вернее, та дерзость, с какой автор его подошел к человеку, обещает нам еще одного Битова — будущего.

О Битове в последнее время много пишут, о нем спорят, высказывая порой резко противоположные мнения. В маленькой заметке невозможно проанализировать его прозу. Задача рецензии — привлечь читателей «Юности» к раздумьям над интересным творчеством ленинградского писателя.

Алла МАРЧЕНКО

Сборник, выпущенный в свет под интригующим названием «Содружество наук и тайны творчества» (изд-во «Искусство»), объединяет девятнадцать статей, первая из которых — Б. Мейлаха — играет роль организующего вступления. Написаны статьи людьми разных специальностей. Однако литературовед и социолог, писатель и математик, историк, физиолог и кинорежиссер объединены одним желанием: познать природу искусства, объяснить пути его следования к читателю, зрителю, слушателю. Внутреннее содержание книги богато, охватить его в краткой рецензии невозможно, можно указать лишь на две-три характерные черты коллестивного труда.

В чем отличие искусства от науки, где проходит меж ними граница? Этой проблеме посвящена статья Б. Рунина: «...наука познает все, даже человека применительно к мирозданию. Искусство познает все, даже мироздание применительно к человеку». Мир, действительность, стало быть, по-разному «подчиняются» искусству и науке, по-разному

«отдают» им свои тайны.

Другой взгляд на искусство принят в статье М. Нечкиной. Автора занимает проблема участия художественного опыта в историческом процессе. Этот опыт единственный, уникальный, неповторимый. Если представить себе, что он выпал из исторического процесса, то «опыт одного человека ссыхается и суживается до границ его переулков». Никакая другая информация не заменит его. Но вооруженный им читатель деятельно включается в свою эпоху. Тридцать тысяч строевых офицеров, участники восстания 14 декабря 1825 года, — пушкинские читатели. Их мало, но они как бы создают определенную «температуру» своего времени. «Существовал в эпохе властный, негласно принятый критерий оценки поступков. Его превосходно знает Чацкий, это — критерий его поведения». Художник могущественно содействует выработке общественного положительного идеала, даже если создает образы отрицательных героев. «Никто так не боролся с клеветником, как образ Яго, никто так не разоблачал палача-властолюбца и прогнившего лицемера, как Ричард III...»

Не все статьи сборника написаны столь же свежо и ясно, как упомянутые две. Но к ним, несомненно, примыкают работы Г. Гора «Самонаблюдения писателя как материал психологии творчества», Г. Козинцева «Сцена, книга, экран», А. Пунина «Архитектурный образ и тектоника» и ряд других. Раздел четвертый книги, так сказать, особый. Весь он «отдан на откуп» математической мысли — венчает его солидное выступление А. Колмогорова и А. Прохорова «К осно-

вам русской классической метрики». В размышлениях представителей «царицы наук» много интересного, работа их плодотворна, и ее следует продолжать, однако убедительнее всего ее результаты там, где ведется исследование самого конкретного в области формы — например, в стиховедении. Несмотря на множество оговорок, у ряда авторов (например, у Н. Воробьева) прорывается напрасное желание найти некий «тематический критерий художественности», уложить «душу искусства» в понятийные категории и формулы.

Л. АНТОПОЛЬСКИЙ

На черной обложке книги слова Поля Элюара: «Я пишу твое имя, свобода». Не случайно французская поэтическая антология эпохи Сопротивления открывается этим гражданским кредо — не только Элюара, но всех поэтов-борцов, всех людей, призванных творить на земле прекрасное.

Это слово, вернее, мысль, как символ духа и воли народа, проходит через всю книгу, собранную и отлично прокомментированную известным исследователем современной французской литературы С. Великовским. Кстати, выход в свет антологии совпал с появлением первой большой монографии о жизни и творчестве Элюара, также принадлежащей С. Великовскому. «К горизонту всех людей...» — так называется монография. Эти же слова рядом со словами о Свободе можно поставить эпиграфом к поэтическому сборнику. Творчество тридцати восьми поэтов современной Франции представлено в антологии — от Алена Боске до Пьера Юнина. Есть среди них имена, широко известные в нашей стране, такие, как Гильвин, или Робер Деснос, или Жан Марсенак, Леон Муссиак, или Жан Тардьё, не говоря уже о Жаке Превере и Поле Элюаре. Но с большинством авторов сборника наши читатели знакомы слабо. Разумеется, по четырем-пяти стихотворениям каждого из этих поэтов трудно составить представление об их творчестве в целом, тем более что и тематически отбиралось только то, что непосредственно связано с годами Сопротивления. Но стихи взяты составителем так, чтобы и образ мышления, и выразительные средства, и особенности поэтического мира поэта предстали перед читателем ярко и зримо.

...На всех искрящихся формах,
На перезвоне всех красок,
На зримой истине мира
Я пишу твое имя,—
говорит о Свободе Поль Элюар.

Примеры можно продолжить. Антология дает огромную для того возможность. Образ борющейся Франции. Стихи-прокламации. Стихи-памфлеты. Стихи-размышления. Лирические миниатюры. Любовная лирика. Стихи гневные и горькие, полные веры в Свободу, призывающие к борьбе... Они рисуют напряженную, полную трагизма Францию тех лет. Они отрицают растерянность и сломленность человека. Они зовут к простету. И каждое из них — в каком бы жанре и стиле ни было написано — это страница гражданской истории, несомненно человеческого духа. Недаром и печатались они все в нелегальных изданиях, в коммунистических газетах. Распространялись в листовках. И появились многие из них под псевдонимами в двух выпусках знаменитого сборника «Честь поэтов», собранного тогда же, в самый разгул фашизма во Франции, Полем Элюаром.

Многие из них пришли к читателям из тюремных казематов, из концлагерей. Авторы многих из них не увидели конца войны. Например, Робер Деснос. После тюрьмы Френ — Компьенский лагерь, Освенцим, форт Терезия. Освобожденный из Терезии 8 мая 1945 года советскими и чешскими партизанами, поэт через месяц умер от истощения и сыпного тифа. В концлагере Дранси погиб Макс Жакоб, когда-то начинавший в поэзии как мистик, а в дни войны с огромной эмоциональной силой написавший поэтический репортаж «Июнь сорокового».

Тридцать восемь поэтов. Тридцать восемь судеб. О том, как сложились они, неотделимые от судьбы Франции, рассказывают стихи. О том же говорят и лаконичные, но чрезвычайно емкие и образные биографические комментарии.

И силой единого слова
Я вновь возвращаюсь
к жизни.
Я рожден для того,
чтобы знать тебя,
Чтоб тебя называть
Свобода.

Наталья ЛАГИНА



ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ

Корней Чуковский

К 125-летию со дня рождения И. Е. Репина

Жить в Питере мне было не под силу: семья большая, а заработки тощие. Пришлось поселиться в Финляндии, в деревне Кубоккала, неподалеку от русско-финляндской границы. Там и картофель дешевле, и молоко, и дрова. На первых порах я в течение нескольких лет не мог подыскать себе подходящую дачу. Наконец нашелся уютный двухэтажный домишко, стоявший у самого моря.

Домишко считался зимним, но стены у него были предательски тонкие. Ветер с моря проникал во все щели. Мы страдали от лютого холода.

Вдруг как-то раннею весною явились веселые плотники и стали обшивать наш продрогший домишко крупным добротным тесом.

За их работой почти ежедневно приходил наблюдать худощавый, стариковски-красивый, очень подвижной человек невысокого роста, с прищуренным глазом, с рыжеватой бородкой, с большими усами, в черной неказистой шинельке и в вязаных пестрых варежках. Походка у него была легкая, жесты изящные, а когда плотники пытались схалтурить, он неожиданно грудным баритоном уговаривал их работать по совести.

Звали человека Илья Репин.

Домишко стоял близ его знаменитых «Пенатов», на приморской стороне той же улицы. К этому времени я уже успел близко познакомиться с Репиным и всем сердцем привязался к нему. Едва только выдавалось у меня свободное время, я бежал наискосок через дорогу в «Пенаты». Он настолько привык ко мне, что не обращал на меня никакого внимания, если я появлялся в его мастерской, когда он работал над своими холстами. Я был счастлив позировать ему для трех-четырех картин, которые он писал одновременно: для «Черноморской вольницы», для третьей «Дуэли», для «Манифестации 17 октября 1905 года». Позировать для «Дуэли» было не так-то просто: нужно было раздеться до пояса и в качестве раненого лежать на полу со страдальческим выражением лица¹.

В то время громадное дарование Репина уже кло-

нилось к упадку, он чувствовал это и все же не сдавался, работал до изнеможения, до обморока. Взрывчатая пылкость его речей и поступков, его неистовое трудолюбие, его феноменальная скромность, его отзывчивость на чужую беду и нужду — все это привлекало меня к нему навсегда. Особенно после того, как он отнесся ко мне с такой необыкновенной заботливостью: купил на мое имя эту дачу и не только устроил в ней капитальный ремонт, но, как самый усердный прораб, изо дня в день приходил наблюдать за работами.

И главное: позволял мне выплачивать мой долг небольшими частями. Причем по тому удивлению, которое он выражал всякий раз, когда получал от меня новую сумму, было видно, что он никак не надеялся, что затраченные им деньги вернутся к нему².

И еще была для меня привлекательна одна прекрасная черта в его характере: его ненависть к мешанской житейщине. Если обыватели, среди которых ему случалось порой очутиться, начинали свои низменные речи о сплетнях, скандалах, карьерах, деньгах, он вскакивал, словно боясь оскверниться, и, наскоро попрощавшись с хозяевами, убегал от пачкающей душу пошлятины.

Правилось мне в нем даже то, что пламенность его действий и слов странным образом сочеталась в его сложном характере со спокойной уравновешенностью очень здоровой натуры...

Всякое воскресенье, часов в пять или шесть, приходил он ко мне, и духовная атмосфера наших разговоров и мыслей сильно повышалась с его появлением. Когда иссякали интересные темы, я читал под керосиновой лампой (ему и случайным гостям) Гоголя, Лескова, Шевченко, «Калевалу», «Дон Кихота», «Былины». Репин до страсти любил эти вечерние чтения. Слушал всеми порами, впитывал в себя каждое слово — то с бурной любовью, то с ненавистью. Однажды, когда я читал ядовитый памфлет Достоевского «Крокодил, или Пассаж в пассаже», где, по тогдашнему мнению, был высмеян сосланный в Сибирь Чернышевский, Репин вначале бормотал про себя какие-то сердитые слова и вдруг до того воспалился, что приподнял диванчик, на котором сидел (маленький, двухместный, но очень тяжелый) и, в гневе повернув его к стене, стал выкрикивать такие проклятия, что мне пришлось в тот же миг замолчать. В книге своих мемуаров я уже рассказывал об этом, а также о том, с каким бурным и горячим воз-

¹ Лет двенадцать назад на одной репинской выставке (устроенной в Центральном Доме работников искусств) я увидел чью-то знакомую голову, изображенную широкими мазками. Всмотревшись, понял: голова моя. Это подтвердила и табличка, прикрепленная снизу к раме. Но почему у моей головы такие мертвенно-зеленые щеки? Да потому, что это один из этюдов «Дуэли», где по воле художника мое молодое лицо стало лицом умирающего.

² Домишко этот стоит и поныне. За год до моего переезда туда в нем скрывался от полиции Л. Б. Красин, о чем впоследствии поведала мне его жена Л. В. Красина.



Репин и Чуковский. Рисунок В. Маяковского.

буждением он слушал 23-летнего юнца Маяковского, читавшего у нас на террасе только что написанное им «Облако в штанах», и как темпераментно он восхищался рисунками и меткими шаржами молодого поэта.

Наблюдая его в такие минуты, я часто думал, что, если бы не этот его огневой темперамент, ему никогда не создать бы ни «Бурлаков», ни «Крестного хода», ни «Ареста пропагандиста», ни других знаменитых картин, пылающих сочувствием к жертвам бесчеловечного строя и жаркой ненавистью к этому строю.

Во всех его отношениях к врагам и друзьям не было и тени равнодушия. Когда он говорил о врагах, он изливал свою ярость в сильнейших ругательствах, быстро следующих одно за другим.

Вот его типический отзыв о царе Николае II — тотчас же после погибельной русско-японской войны:

«Как хорошо, что при всей своей ГЛУСНОЙ, ЖАДНОЙ, ГРАБИТЕЛЬСКОЙ, РАЗБОЙНИЧЬЕЙ натуре он все-таки настолько ГЛУП, что авось скоро попадет в капкан... Ах, как надоело!.. Скоро ли рухнет эта ВОПИЮЩАЯ МЕРЗОСТЬ власти НЕВЕЖЕСТВА?»

«Осел по всю натуру», — писал он мне о другом самодержце.

И вот его отзыв о монархическом строе:

«Какая это НЕВЕЖЕСТВЕННАЯ, опасная и ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ выдумка ДИКОГО человека».

Вообще он не умел быть спокойным. В его письмах множество восклицательных знаков. Его похвалы и хулы были всегда чрезмерны. Та же чрезмерность эмоций во всем его бурнопламенном творчестве.

II

В летнее время Куоккала обычно кишела народом. Актеров, поэтов, музыкантов, художников было в ней хоть отбавляй. Многие из них с утра до вечера толпились на моей маленькой дачке — особенно в воскресные дни. На «средах» у Репина по-

бывали в те годы Горький, Короленко, Куприн, Шалапин, Леонид Андреев, Мейерхольд, Маяковский, Василий Каменский, Щепкина-Куперник, Яворская, Евреинов, Аверченко, Кустодиев, Исаак Бродский, Борис Григорьев, Леонид Пастернак (художник, отец поэта), Сергей Городецкий, скульпторы: Илья Гинцбург, Паоло Трубецкой, Аронсон. Здесь же, в «Пенатах», познакомился я с А. М. Коллонтай, обаятельно красивой и приветливой. Здесь же встречал я не раз гимназистку Ларису Рейснер, приезжавшую сюда со своими родителями. В то время она писала стихи, которые охотно декламировала в репинском саду среди тюльпанов.

Нужно было видеть, как уважительно слушал художник каждого из этих гостей, всматриваясь в каждого с таким любопытством, словно мысленно писал его портрет.

Обычно знаменитые люди любят говорить о себе, о своей работе, о своих достижениях. Но Репин предпочитал, чтобы говорили другие: академик Бехтерев — о гипнотизме, шлиссельбуржец

Морозов — о революционерах семидесятых годов, Мейерхольд — о своих замыслах по обновлению театра.

Репин, ненасытный самоучка, вечно жаждавший новых познаний, преклонявшийся перед величием науки, смиренно внимал именитым гостям. Его с юных лет постоянно тянуло к просвещенным, образованным людям, подальше от тупого и тусклого мещанского быта с его невежеством, пьянством, картежной игрой и распутством.

«Ах, как я люблю ученых! — восклицает он в своих воспоминаниях. — На меня лично в глуши, где нет образованных людей, нападает безнадежная тоска... Тоска по ученым лицам».

Зимой Куоккала из шумного скопища бесчисленных дачников превращалась в снежную пустыню. Поток гостей в «Пенаты» иссякал до весны. Ранние зимние сумерки мешали Репину работать в мастерской. Он приходил к нам значительно раньше, чем летом, и, уступая нашим настоятельным просьбам, стал под той же керосиновой лампой целыми часами рассказывать о ранних годах своей жизни, о чугуевских, петербургских, парижских, лондонских встречах, а также о замечательных людях, которых ему случилось знать, — о Льве Толстом, Менделееве, Тургеневе, Гаршине, Поленове, Сурикове. Рассказывал он беспорядочно, не стесняя себя сюжетными рамками, но всегда занимательно, картинно, эффектно. Каждый вспоминаемый им человек вставал перед нами живьем. Очарованные этой словесною живописью, мы в конце концов стали просить Илью Ефимовича, чтобы он поскорее записал для потомства устные свои импровизации.

Он долго отказывался:

— И кому это надо? И какой я писатель?

И ссылался на газетно-журнальную брань, с которой была встречена книжка его мемуарных записок, вышедшая в старое время. Ему возразили, что та книга была отвратительно издана, со множеством мелких опечаток и ляпсусов, и что вся она зазвучит по-другому.

му, если устранить эти досадные мелочи. Подействовали ли на него наши резоны, не знаю, но когда зимняя тьма окончательно оторвала его от кистей и палитры, он засел у себя в кабинете внизу и стал списывать десятки страниц своим нетерпеливым и порывистым почерком.

Так возникла увлекательная книга мемуарных записок И. Е. Репина, недавно вышедшая седьмым (великолепным) изданием в «Искусстве»¹.

Редактировать эту книгу было иногда трудновато. Репин зачастую бывал очень покладист и охотно соглашался с предлагаемой ему стилистической правкой. Но порою упрямился, запальчиво требовал, чтобы я сохранил ошибочную конструкцию фраз, из-за чего у нас возникали конфликты. Один из этих конфликтов запечатлел в остроумной карикатуре В. В. Маяковский, присутствовавший при нашей работе над книгой: я отстаиваю свой вариант, Репин энергично возражает.

Характерно, что, когда он начал писать эту книгу, он упорно отказывался говорить в ней о себе, о своей биографии. Нужны были настоятельные просьбы — и мои и его близких друзей, — чтобы он согласился наконец написать о своем детстве, о своих скитаниях и мытарствах, об истории и предыстории своих знаменитых картин. Побудить его к этому было тем более трудно, что бывали в его жизни периоды, когда он испытывал мучительное недовольство собой и всеми своими работами.

Он публично заявил об этом еще в девятых годах.

«При встрече со своими картинами на выставках, в музеях, — признался он в одной из тогдашних газет, — я чувствую себя безнадежно несчастным».

Многим почудилась здесь фальшивая поза, рисовка. Но я, наблюдавший его изо дня в день много лет, убеждался опять и опять, что таково было его неприязненное чувство.

Вот характерный отрывок из его письма к одной художнице:

«Приехав, я увидал, что все мое плохое, неудачное еще хуже стало», «Несчастны те, у кого требования выше средств, — нет гармонии, нет счастья», «Кажется, начал бы учиться снова».

В том же письме говорится, что он испытывает у себя в мастерской «разочарование, отчаяние и все те прелести, от которых можно повеситься».

Живописец Я. Д. Минченков, имевший возможность наблюдать Репина каждый год при открытии очередной выставки передвижников, утверждает в своих воспоминаниях о нем, что он «страдал от неудовлетворенности» (своим искусством. — К. Ч.).

«— Не то, не то! — повторял Репин, стоя одиноко перед своей картиной, и лицо его принимало страдальческое выражение».

Щепкина-Куперник вспоминает о том же:

«— Не вышло... не нашел... О... о... о... как же это? Не так надо было», — с отчаянием повторял он, убеждая с той выставки, где появилась его новая картина.

К старым своим картинам он (бывали такие периоды!) относился с тем же неприязненным чувством.

Сопровождая его в Третьяковскую галерею или в

Русский музей, я не раз замечал, как тоскливо и хмуро проходил он мимо своих лучших вещей.

Конечно, далеко не всегда было у него такое враждебное отношение к себе. Нам оставалось терпеливо дожидаться тех дней, когда прилив его бурного недовольства собою отхлынет и снова можно будет приступить к нему с просьбой, чтобы он в своей будущей книге хоть изредка вспоминал о себе.

III

Книга в конце концов вышла, повторяю, отличная. Но с живописью было все хуже и хуже. Чуть только Репин перешагнул через семьдесят лет, он (это было замечено многими) утратил лучшие качества своего дарования. Ни одна из его тогдашних попыток не идет ни в какое сравнение с его более ранней живописью.

Должен откровенно признаться, что с тех давних времен, когда я с благоговением и трепетом входил в мастерскую Репина, вкусы мои сильно изменились.

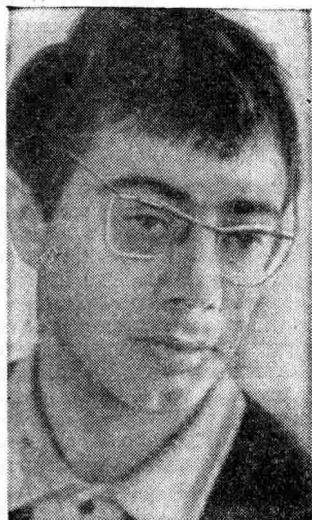
Репин был очень неровный художник, и любить его оглулом невозможно. Неудачи чередовались у него с высочайшими взлетами мастерства и таланта. В его необъятном наследии есть большое количество слабых вещей, но, конечно, судить его нужно по его лучшим вещам. Я никогда не пойму тех ценителей, которые пренебрежительно пожимают плечами перед такими шедеврами Репина, как «Крестный ход», «Не ждали», «Царевна Софья», этюды к «Государственному совету», портреты Дельвига, Мясоедова, Льва Толстого (1893), Фета, Фофанова и многое другое.

Написанный им мой портрет (1910) и по артистизму рисунка, и по гармонии красок, и по благородству своего общего стиля, и по силе психологической характеристики — одно из высших достижений нашей портретной живописи...

Теперь в изобразительном искусстве всего мира наблюдается сильная убыль внимания художников к психике изображаемых лиц. Иные нынешние зрители, особенно среди молодежи, вообще не признают фабульных, сюжетных картин. Между тем первооснова всей репинской живописи — воспроизведение психической жизни людей. Жгучий интерес к человеку, к его мыслям и радостям сближает Репина с гениями нашей словесности — с Толстым, Достоевским, Тургеневым, Чеховым. Но, конечно, при всех своих добрых намерениях его произведения не имели бы ни малейшей цены, если бы не совершенство их формы, виртуозность его кисти...

Впрочем, я, кажется, сбиваюсь на критику? Критиков и без меня предостаточно. Сейчас от меня требуется нечто другое. Так как почти все знавшие Репина уже вымерли один за другим и так как из них изо всех я, чуть ли не единственный, дожил до наших времен, я считаю своим долгом поведать читателям «Юности» то, что сохранила о нем моя память: какой это был человек, какой у него был характер, какие привычки, причуды и вкусы. Мне весело вспоминать его снова и снова, так как человек он был очень хороший, простой, весь во власти благородных порывов, ненавидевший насилие и рабство, и притом изумительный труженик, черпавший все свое счастье — и все свое страдание — в работе.

¹ И. Репин. Далекое-близкое. М. 1964. Издательство «Искусство». Настоятельно рекомендовать читателям эту талантливую и яркую книгу.



Владимир
Соловьев



ЧЕТЫРЕ ДЕБЮТА

Первая книга стихов — день рождения поэта. На одном таком дне рождения мне пришлось присутствовать и даже участвовать в его организации — четыре года назад «Юность» напечатала мою статью о первых книгах пяти ленинградских поэтов. От своего выступления я не отказываюсь, хотя понимаю, что некоторые мои тогдашние оценки звучали скорее как комплименты: те, о ком я писал, заслуживали более сложного разговора, а не только пожелания доброго пути...

Сейчас передо мной новые четыре книжки — первые сборники стихов ленинградских поэтов.

Конечно, этими дебютами не исчерпывается молодая ленинградская поэзия. Во-первых, есть в Ленинграде молодые поэты, у которых уже не одна, а две, три, а то и четыре книги, — Нина Королева, Майя Борисова, Леонид Агеев, Глеб Горбовский, Александр Кушнер, Лев Мочалов, Виктор Соснора и другие. А во-вторых, есть поэты, у которых нет еще ни одной книжки, но читатели их уже знают по публикациям в альманахе «Молодой Ленинград», в «Дне поэзии», в газетах, в журналах (в том числе и в «Юности»).

Но и четыре уже вышедшие первые книжки — достаточный и хороший повод для раздумий о стихах. Ленинград — поэтический город; сейчас, может быть, уже и трудно говорить о «питерской школе», но все же для многих поэтов Ленинград — это не только прописка в паспорте, но еще и верность литературной традиции.

Однако принадлежность к определенной школе, конечно, еще не определяет содержания поэзии. Главное — сам поэт и то, как в его стихах преломляется время. Поэт приходит к читателю не только со своими рифмами и ритмами, образами и традициями, но прежде всего со своим взглядом на мир. Этим он и интересен — или неинтересен — читателю. И какие бы стихи он ни писал — трибунные или интимные, эстрадные или камерные, громкие или тихие, — он всегда в ответе, и не только за свои стихи, но и за своего читателя, который его стихи читает.

БСАДНИК, СКАЧУЩИЙ ПОЗАДИ

Александр Городницкий — «Атланты»! Эта фраза мною заимствована у концертного конференсье. Но нет уже ни сцены, ни гитары, ни зрителей, а есть небольшая книжечка, в которой известная песня об атлантах взята эпиграфом, а ее название — назваием всей книги:

Когда на сердце тяжесть
И холодно в груди,
К ступеням Эрмитажа
Ты в сумерки приди,
Где без питья и хлеба,
Забытые в веках,
Атланты держат небо
На каменных руках.

«Атланты» — удачное это или неудачное название? Во всяком случае, с именем Городницкого оно вяжется; и дело не только в известной его читателям песенке, но еще и в том, что весь приподнято-романтический настрой поэзии Городницкого имеет несколько литературную, а еще точнее, культурно-историческую окраску. Гамлет и Одиссей, Болконский и Гулливер, Багрицкий и Сент-Экзюпери, царевницы и геологи, моряки и поэты — все это романтические атланты, которые держат небо на руках.

Время поэта-романтика — не прошлое, не настоящее и даже не будущее; это не реальное, не объективное, а его личное время, в котором собраны герои всех времен и всех народов. Скажем, Гамлет для Городницкого — мальчишка, который вместо того, чтобы ласкаться на скошенном лугу полнотелых датских девиц, все время ждет беды и кричит: «Быть или не быть?» Этот Гамлет не имеет никакого отношения ни к средневековой легенде, ни к Шекспиру, ни к современности, а только к вымышленному миру Городницкого, в котором Гамлет не герой, а скорее статист, и даже не статист, а костюм.

Не исторические личности и не литературные персонажи, а театральные костюмы преобладают в стихах и песнях Городницкого. Причем его реквизит самый разнообразный — он заимствует одежду отовсюду, чтобы, выйдя на сцену, произвести должный эффект. И даже современные персонажи Городницкого тоже нереальны. Гамлет переодевается в геолога, геолог — в Одиссея, Одиссей — в матроса, а матрос — в поэта. Ведь и поэт для Городницкого — опять-таки романтический костюм, а не профессия, не призвание, не назначение. Городницкого привлекает в современности то же, что и в истории, — герои-романтики, потому и выбор его падает на «эзотические» профессии — геолог, моряк, поэт.

Более полувека назад Илья Эренбург писал:

В одежде гордого сензора
На сцену выхода я ждал,
Но по ошибке режиссера
На пять столетий опоздал.

Городницкий не опоздал — он родился вовремя и дебютировал своими песнями тоже вовремя, чтобы получить и аплодисменты, и признание, и даже любовь... Он в полном и прямом контакте с не очень требовательной аудиторией, причем, минуя чувства, он связан с нею «нервно».

Но, предчувствуя негодование некоторых читателей, желающих защитить от меня Городницкого, я все же хочу высказать несколько мыслей по поводу его песен и романтики.

Дело в том, что песни я люблю — и Булата Окуджавы, и Новеллы Матвеевой, и некоторые песни Александра Городницкого. Но контакт Городницкого с аудиторией возникает на очень двойственной, хотя и прочной основе: Городницкий почти ничего не открывает в своих стихах, он говорит лишь то, что хорошо известно его читателям и слушателям; он говорит не от себя и не за себя, а скорее от них и за них. Он их рупор, «вещатель общих дум», как сказал бы Евгений Баратынский, и в «массовом искусстве», которое он создает, нет места его индивидуальности.

Городницкий вспомнил про боцмана, а уж если боцман, так обязательно рыжий и сыплет «нехитрым матерком»; подумал о женщине — и вот уже она призывно поет, да к тому же на непонятном языке (стихотворение «На корабле матрос как дома...»). В его стихах и песнях не герой, а герои, то есть весь зал; так же — и не автор, а авторы — тоже весь зал. Лысые романтики, воздушные бродяги, геологи и поэты, матросы и пираты — они не живут, не думают, не работают, они только прощаются и здороваются, здороваются и прощаются; они в постоянных разъездах, они тоскуют и грустят, и по ним тоскуют и грустят. Они разгуливают по страницам первой книги Городницкого, слегка любуясь собой и своими чайльд-гарольдовскими плащами-болоньями.

Конфликты поэзии Городницкого я бы назвал доисторическими. Это конфликты себя выдумавшего и собою любующегося человека — с другими, нормальными и реальными:

Друзья, лысеющие заживо,
Друзья, настроившие дач!
Успели потерять когда же вы
Тропу веселых неудач?

Стареют, вырастая, дети
В уюте комнатных неправд.
На этой городской планете
Я как заблудший астронавт.
А юность — с прежнего несхожая,
И жизни хватит на двоих.
И с каждым годом все моложе я
Давнишних сверстников моих.

В чем же причина вечной и неуывающей молодости нашего поэта, который привычным романтическим жестом отвергает и уют комнатных неправд (?) и лысеющих, а потому и бывших, друзей, которые к тому же посмели настроить себе дач, жениться и нарожать детей? Почему они стареют и лысеют, а наш поэт все еще моложав? А потому, что в отличие от них он, оказывается, романтик и бродяга...

А доисторическими я назвал эти конфликты потому, что в стихах Городницкого, думается мне, они попали непосредственно из предыстории — это конфликты между кочевыми и оседлыми племенами. Но, как известно, именно оседлые племена явились носителями прогресса, так что в «доисторических» своих конфликтах А. Городницкий выступает в роли, так сказать, консерватора. Романтические набеги Городницкого на своих бывших друзей, у которых появилась лысина, или дача, или дети — иных обвинений он им не предъявляет, — кажутся мне не просто несправедливыми, а скорее легкомысленными...

Как дома, чувствует себя Городницкий на палубе парусного корабля или в XVIII веке. За это преимущество платит он, правда, слишком дорого: дома, на земле он чувствует себя зато совсем неуверенно, а качку земли — ее тревоги и проблемы — он совсем не переносит. Земное тяготение для него — тягостное бремя, и вся жгучая и нервная романтика стихов Александра Городницкого — это его попытка во что бы то ни стало оторваться от земли.

За кормой ревун кричит во мгле.
Смотрит вахта в сумрачную тень.
Мне бы жизнь прожить на корабле,
В деревянной замкнутой системе,
Чтоб не пачкать строчками тетрадь,
Не судить о правых и неправых,
Солнце на медяшке закигать,
Грохотать по трапам на авралах.
Дальние прощайте города,
К вам любовь — как тягостное бремя,
Подой мой вращается вода,
Надо мной остановилось время.

Поэтому и жизнь является Городницкому в статичных мгновениях — как вечные мальчишеские годы, а сказки и сны кажутся ему как бы пробуждением от прозаической реальности.

Но, как известно, ни корабль — современный или парусный, — ни самолет, ни век минувший, ни век завтрашний стать родиной не могут. Родина — на сегодняшней земле; земля, планета — родной дом, в том числе и для поэта...

В те редкие мгновения, когда Городницкий это понимает, он пишет стихи не «романтические», а нормальные — и часто хорошие. Если в романтической схеме Городницкого все — мещане, а поэт — пророк, и детские эти игры в поэзию увлекают его своей легкостью и успехом у слушателей, то в редкие моменты «реалистических» прозрений поэт Александр Городницкий начинает говорить не для других, а как бы для себя и часто негромко, и, как ни странно, обнаруживается уже не эстрадная, а какая-то иная, более тонкая связь его со своим читателем. Стихи о Треблинке и о довоенном детстве, о бруснике и об акулах, о рыбацких и о соседях по вагону — точные, добрые и честные стихи. Городницкий может быть не только чужим рупором, но и самим собой, и он сам мне куда интереснее, чем его романтизированная и костюмированная фотокопия, подретушированная, подмалеванная и, говоря откровенно, лишенная индивидуальных и поэтических черт.

В некоторых курортных кавказских городах до сих

пор существуют еще экзотические фотоателье, в которых можно сняться, скажем, в средневековых доспехах, скачущим на лошади, на фоне романтических скал. Я понимаю, что Александр Городницкий пообвыкся и с нарисованной кобылой и с романтическими доспехами, но все эти милые ему побрякушки мешают увидеть его настоящее лицо.

Как в цирке, гарцует и пританцовывает его Пегас под звуки гитары и аплодисменты зрителей. И поэзия оказывается на поводу у нетребовательного читателя, в обозе, а не в разведке. А поэт становится похожим на всадника, скачущего позади, — время обгоняет его.

ПОВСЕДНЕВНОЕ И ТАИНСТВЕННОЕ

Городницкий — исключение в поэзии молодых ленинградцев, потому что ленинградская поэтическая школа — антиромантическая, строгая. Сухой стих — ее убежище и дворец.

Александр Кушнер писал:

Еще чего, гитара!
Засученный рукав.
Любезная отравка.
Засунь ее за шкаф.

.....
А мы стиху сухому
Привержены с тобой.
И с честью по-другому
Справляемся с бедой.
Дымок от папиросы
Да ветреный канал,
Чтоб злые наши слезы
Никто не увидал.

Есть поэты, которые, живя в Ленинграде, к этой школе не принадлежат и исходят в своем творчестве из другого поэтического опыта (яркий пример — поэзия Ольги Берггольц). А вот Вадим Халупович — верный ученик этой школы, и, читая его стихи, невольно и часто вспоминаешь его земляков и товарищей по поэтическому цеху.

Поэзия для Вадима Халуповича нераздельно связана с жизнью, со многими ее проявлениями и главным образом с привычными, вошедшими в быт. Стихи для него — продолжение разговора, начатого в поезде или за столом, на улице или на работе. Мир вовлекает его стихи в свой круговорот, в круговорот событий, дел, разговоров.

Мои попутчики вагонные —
Командировочный народ,
И суточные и прогонные
Он в кассах весело берет.

.....
Всю ночь в купе звучат тяжелые
И справедливые слова.
Качаются большие здания,
Как в полночь страшного суда...
Мы утром скажем «До свидания»
И разойдемся навсегда,
И будет день и небо с тучами,
Работа, как лавина с гор...
Спасибо вам, мои попутчики!
Я продолжаю разговор.

Незначительность событий, внезапно ставших темой поэзии, иногда оправдывается душевным углублением или их иронической трактовкой, но то и дело жизненный факт так и остается не включенным

в поэтический строй. Гражданская, нравственная позиция тогда существует как бы помимо поэзии, и не обходимо в стихах даже и не возникает.

Но среди этой несколько педантичной верности бытовым и привычным явлениям жизни возникают наблюдения совсем иного свойства. Скажем, луч солнца над осенними лесами, и жаворонок всходит по лучу... Или неожиданно заметишь, что снег идет не вниз, как ему положено, а вверх, и все становится легким и летучим, и открывается во всех предметах и вещах такая малость, как душа. Правда, в последнем случае вспоминаешь два стихотворения Александра Кушнера — «Снег» и «Два лепета, быть может бормотанья», из которых как бы составлено стихотворение Вадима Халуповича, но это не беда: в конце концов поэзия — одно из проявлений жизни, и можно в стихах исходить из стихов...

Короче говоря, появляются внезапные строчки, в которых и поэтическая точность и душевная тонкость отменяют стенографическую запись быта. Когда человек вспоминает сны, которые проносятся по нему, как черные кони, трубя, или когда замечает, что травма он кажется Гулливером, а соснам — липутом, или когда, как гончая, он начинает чувствовать неутомимый гон весны и ему слышится летящий с крыш звон серебряных монет, или когда он видит, как корабли всходят на краю земли, — во всех этих случаях он мыслит и чувствует поэтически. Стихи возникают не из потребности говорить иначе, чем прозой, а как случайность — человек вдруг обретает иной дар речи:

Прибитый к быту городскому
Гвоздями службы ежедневной,
Вдруг обнаружу птичий гомон
И петушиный выкрик гневный.

Конечно, строка или даже строфа — это еще не все. Тем более, что Вадим Халупович многословен и его поэтические открытия внезапны еще и по контрасту с окружающим их часто вялым, скучным стихом. Но у него есть целые стихи со сквозным развивающимся образом, такие, как «Густой туман по-прежнему безбрежен...», «Порывы ветра гонят облака...», «Сегодня снег пошел не вниз, а вверх...» и ряд других, свидетельствующих о тонком даровании, о медленном и в то же время уверенном овладении поэтическим письмом и о безусловно свойственном ему проникновенном «сказочном» лиризме.

Связь между повседневным и таинственным, между бытом и душой в стихах Вадима Халуповича очевидна. Жизнь души дана в окружении простых примет времени, в знакомой городской обстановке, и тем неожиданней оказываются ее связи с высоким и идеальным. Ее движения, ее порывы, ее взлеты и падения, вся ее таинственная и хрупкая жизнь имеют фоном обыкновенный, привычный городской пейзаж или еще камернее — интерьер современной комнаты на шестом этаже. И нужно обладать хорошим поэтическим зрением, чтобы, не прибегая к музе дальних странствий, не покидая город, рассказать о напряженной душевной жизни человека двадцатого столетия.

Густой туман по-прежнему безбрежен.
Кто скажет мне, а где туман рожден?
Опять декабрь и влажен и беснежен:
Над всей Европой дождь и снег с дождем.
Над всей Европой и над нашей крышей
Который день — ни света, ни звезды.
И самолет, собрат летучей мыши,
Скользит через туман, как через дым.

И эта сопричастность личной жизни человека и глубинным тайнам создания и общей погоде двадцатого столетия придает, казалось бы, камерным и сдержанным по чувству стихам Вадима Халуповича широкий общественный смысл. Время в его стихах присутствует незримо — не уличным шумом, не раскатами взрывов, не громкими декларациями, но очевидной сопредельностью каждого нашего слова, каждого нашего шага, вдоха шуму времени, его ритмам, его событиям, его тревогам.

ЯЩИК ПАНДОРЫ

Из всего своего жизненного опыта Нонна Слепакова отдает предпочтение детству, совпавшему с Отечественной войной. Но собственной биографии ей явно недостаточно, и она с тщательностью вспоминает, пытается восстановить то прошлое, в котором она еще и не существовала. Она копается в семейных альбомах и поражается тому, что, скажем, про те давние годы она знает больше, чем ее отец, запечатленный в то время на групповом фото-снимке:

Или это мне кажется только
оттого, что про эти года
знаю я уж наверное столько,
сколько им и не снилось тогда...

Ей мало перенестись в иные времена, она еще постоянно перевоплощается в другие возрасты, и не только в свой прошлый возраст — в детство, но и в свое будущее — в старость, и ее стихи о стариках и старухах, об оперетте Кальмана, которую смотрят старики и радуются счастливому ее концу, в их судьбе невозможному, о старости, из которой далеко видно, — это, пожалуй, лучшие стихи в первой книге Нонны Слепаковой:

И вот уж ты — на тусклой высоте,
где загудит чердак через минуту,
где напряженно виснет в пустоте
призыв к теплу, союзу и уюту.
Ну, что ж, войди — и прислонись к трубе,
передохни покойно и отрадно...
Отсель взглянуть позволено тебе
и мысленно отправиться обратно,

Ее страсть к перевоплощениям связана и с умением перевоплощаться и с желанием пережить за других их горести, заботы. Она взваливает на себя ящик Пандоры с чужими тревогами, и даже если эти тревоги людьми до конца не прочувствованы, она и это за них сделает. Кажется даже, что в стихах Нонны Слепаковой нет ни ее возраста, ни ее личности. На самом же деле в том и смысле ее возраста, ее личности, чтобы переживать за других. Человеческая позиция становится поэтическим методом, содержание жизни оказывается формой поэзии. Лирические признания Нонны Слепаковой насыщены приметами народной жизни, ее драматического течения.

Страсть к перевоплощениям касается, впрочем, не только времени и возраста, но и природы — она ищет родственных, хоть и двоюродных с ней отношений, и связи с миром для Нонны Слепаковой не дар и не случайность, а чудодейственное приближе-

ние к себе прошлого и будущего, детства и старости, человека и природы.

Порою, правда, интерес к чужой жизни лишается лирического чувства, обывательется, и стихи Нонны Слепаковой обретают умильность или забавность анекдота, становятся замкнутыми и очень напоминают назидательные композиции поздних передвижников. Неудачные стихи у Нонны Слепаковой рождены взглядом извне, удачные — с тонкими наблюдениями и вещными словами — внутренним чувством, совпадением личного и чужого.

Читая первую книгу Нонны Слепаковой, ждешь все-таки еще и других стихов — о самой себе; их Нонна Слепакова минует. Корабль обогнул рифы, но спокойной бухты нет, и рифы тоже остались...

РАЗГОВОР СО ЗВЕЗДАМИ

По контрасту со стихами Нонны Слепаковой вспоминаешь первую книгу Елены Кумпан. Нонна Слепакова живет людскими радостями и тревогами — на себя в ее стихах как бы даже не хватает времени. Елена Кумпан пишет о себе. Ей даже часто не до человеческих перевоплощений — она ищет воплощения в своих стихах, а пока —вольно или невольно — перевоплощается в чужие. Пока чужие стихи она переживает, как свои, а свои переживания «исполняет» на чужом и хорошо знакомом ей языке.

Первое впечатление от Елены Кумпан именно такое: зрелая поэтическая культура с легко угадываемыми учителями и своеобразная замена человеческой души поэзией. Ее поэтические превращения, слишком настойчивое следование литературным традициям вызывают недоверие к ее чувствам. И это недоверие длится довольно долго, пока не почувствуешь, что она учится только приемам, вкладывая в них иное содержание. Чужая речь для нее — мучительное косноязычие, а не испытанный прибор для улавливания душевных движений. Ее душа пробивается сквозь стих, как трава весной сквозь замерзшую землю:

Погода и ненастней и сырее.
Мир заслонен желтеющим листом...
Моя любовь стоит теперь, как дом,
покинутый жильцами, а скорее,
как недостроенный... В лесу ли, над рекой
какой-то незадачливый хозяин
большой участок под фундамент занял,
поставил стены... и махнул рукой.

Борис Пастернак учит ее связям с природой, и весь ход стиха как бы подсказывает ей родство, а природа, в поэзии не искушенная, мстит ей за чужеродство. Елена Кумпан может сколько угодно завидовать судьбе деревьев или желать оказаться в плесну у природы, но судьба ее иная, и рядом с объективной и бездушной картиной воссозданной ею природы — ее собственная личность со своей природой и со своей погодой, — потому что не фенологические наблюдения определяют ее пейзажи, а ее собственные чувства — постоянные и определенные.

Лбом припаду к блаженному теплу...
О, как тиха твоя грудная клетка!
Ты думаешь, стою я на полу?
Я из тебя расту, я — ветка
твоя бессонная... Дыхание твоё
мне раздувает волосы... Часу в девятом
взойдет твоё лицо — и мы вдвоем...
И только сердце бедное мое
стучится одиноким дятлом.

Елена Кумпан рассказывает не о пейзаже, а о своей душе. В карельской природе она попытается найти себе подобие и даже попытается вступить с природой в заговор, но снова природа сама по себе, а поэт сам по себе; в лучшем случае, природа — опора чувствам, их грандиозная рама, тот макрокосм, в котором могут найти отголоски что угодно и кто угодно: камень и дерево, кошка и человек.

Но природа — это только первый круг, в который очерчена не соприкасающаяся с ней душа. За этим кругом следующий — любовь.

Третий круг — семья, дети.

Круг за кругом, а посредине — остров...

Живую воду из морщинок пьешь,
ведь мне Нева — бессмертная аорта!
Мне дали сердце, оказалось — остров,
и ты на этом острове живешь.

Не спираль, а параллельные, не соприкасающиеся друг с другом окружности, но внутри их — не сердце, потому что сердце — это еще один последний круг.

Было бы несправедливо говорить об отсутствии реальных связей у героини поэзии Елены Кумпан с жизнью. Потому что все эти привычные связи есть — и любовь, и работа, и природа, и семья, и дети, но внутреннее, сердечное напряжение таково, что этих связей как бы и недостаточно. Душевный максимализм ими не удовлетворяется, и возникает тема идеального, почти невозможного созвучия.

Но кому нужна эта тяга к неосуществимому, недоступному идеалу отношений? В том-то и дело, что нужна. Ведь те связи, которые есть, которые существуют, которые уже нащупаны и освоены человеком, не предел возможного, они далеки не только от идеала, но и от той физической границы, которая нам просто неизвестна. И где этот предел, никому не известно.

Для того, чтобы прорвать пустое пространство неба, понадобилась не одна жертва. Где здесь предел — сто метров, десять километров, Луна, Марс, другие галактики? Никто не знает, и поэтому человечество рвется к звездам: мы штурмуем не небо, а собственное незнание.

Елена Кумпан — тонкий лирик с очень цельным мироощущением и строгой поэтической системой.

Есть здесь, конечно, драматическое противоречие: у Елены Кумпан бывают стихи, в которых поэтическая культура заменяет ее самое, которые полностью существуют в литературе, рождаются, живут и умирают, как литературные системы. Но во многих ее стихах поэтическая традиция становится органичной ее душевным волнениям. Не сердце — остров, а поэзия, которая стремится к идеальным связям и живет в их далеком и близком провидении и в сердечном сближении реальности с идеалом.



Четыре книги стихов, четыре непохожие друг на друга поэтические и человеческие индивидуальности, для читателя — четыре знакомства...

Один поэт всеми силами своего несомненного таланта пытается увлечь аудиторию, но, читая его стихи, мы часто остаемся к ним равнодушными. Второй исходит в своей поэзии из близлежащего, хорошо знакомого — и неожиданно рассказывает о тайных движениях человеческой души. Третий следит за течением народной жизни, но нам порою не хватает его личных чувств. Четвертый решается говорить только о себе — нас внезапно захватывает лирическое и печальное повествование...

Нет единой нормы поэтического письма, но есть непреложные законы жизни человека в стихах. Главным я полагаю не пророчества и не образы, не рифмы и не остроумные сюжеты, а верность времени и точность. Можно заканчивать каждую строчку восклицательным знаком, а можно и многоточием, можно звать читателя в дорогу, а можно проповедовать домоседство... Все можно. Нельзя только обманывать читателя, ибо обманы в поэзии, как и в любви, кратковременны. Поэт интересен прежде всего своей сопричастностью эпохе, и мы ждем, чтобы он, не кокетничая, рассказал о времени и о себе. И, может быть, его рассказ о самом себе станет рассказом о нас, о его читателях, и будет нам по-тому интересен и увлекателен.

г. Ленинград

Станислав Долецкий,
профессор



Кто нас будет лечить завтра...

Каждое утро в восемь пятнадцать я переступаю порог хирургического корпуса детской больницы. Начинается рабочий день.

Заглядываю в записную книжку. Обычные дела. Утром разобрать сложных легочных больных. Посмотреть прооперированных. Проверить, как подготовлены дети к операции на сегодня. Сделать две операции, поговорить с аспирантом Юрой Б.— у него не ладится с работой. Потом прочитать лекцию. Потом заседание. Консультация в другой больнице. Еще одно заседание. В интервалах проверить, как подготовлены тезисы докладов молодых врачей к предстоящей конференции. Узнать, каковы результаты обсуждения наших дел в министерстве. Вечером домой придут два диссертанта: один — наметить план работы, другой — доложить о результатах исследований. А перед сном еще надо прочитать несколько работ, присланных на рецензию, полистать новый журнал. Записать мысли, родившиеся за день. Поработать над очередной главой в книге.

О чем же все-таки мои главные мысли за день? О том, чтобы как можно лучше лечить детей. Кто этим занимается? Мои товарищи по работе: три профессора, два доцента, ассистенты, заведующие отделениями и много молодых врачей в возрасте от 25 до 28 лет. Их руками выхаживаются дети. И полу-

чается, что успехи и радости, огорчения и несчастья в первую очередь связаны с делами нашей врачебной молодежи.

Когда юноша или девушка оканчивают школу, то, естественно, возникает ощущение преодоления важного рубежа. Надо выбрать себе специальность. Одни сразу же начинают работать. Другие поступают в техникумы или вузы. И здесь вместо предполагаемого качественного скачка, оказывается, что одна парта сменяется на другую. Изучаются новые, более сложные предметы, но психология во многом остается школьной. Лекции, практические занятия, зачеты, экзамены — почти все как в школе, только дисциплина не такая строгая.

Так было со мной и моими товарищами после поступления в вуз. Мы с увлечением слушали лектора, если он обладал ораторским мастерством или педагогическим опытом. Если же лекция преподносилась «скучно» или преподаватель говорил невнятно, скороговоркой, считалось, что его не стоит слушать. Поскольку посещение строго учитывалось, мы читали на занятиях книги, играли в морской бой, писали заметки в стенгазету. И даже играли в шахматы.

Совсем иное получилось, когда нас в сорок первом году выпустили с четвертого курса досрочно, «зуряд-врачами». После работы в качестве хирургов в Москве и на фронте мы вернулись для доучивания в институт, имея стаж да и кое-какой жизненный опыт.

Вот теперь каждая лекция профессора, даже если она читалась по бумажке и с плохой дикцией, была для нас откровением. В чем дело? Возможно, что сознательное восприятие сложного клинического материала только тогда и реально, когда за плечами имеется достаточный практический багаж.

Впрочем, в этом случае речь идет не о вузовской подготовке, а о совершенствовании специалиста. А пока, очевидно, школярское отношение к занятиям в вузе после окончания школы в известной степени останется и в ближайшее время. И оно соответственно будет так или иначе проявляться в психологии, сознании и квалификации молодого специалиста.

Я знаю ребят с отчетливо потребительским взглядом на жизнь. Припоминаю недавно слышанный разговор между двумя выпускниками медицинского института. Так уж у них получилось, что за годы обучения в вузе ни одна из врачебных профессий их не привлекла. «А может, податься в хирурги?» — спросил один. «Вот уж глупость», — ответил второй. «Ночные дежурства, ни днем, ни ночью нет покоя, зарплата та же самая, а какая ответственность?! Уж лучше стать кожником. Назначил мази, отработал свое — и порядок!..»

Я знаю и ребят, отчетливо и раньше всего представляющих себе роль зарплат в жизни человека. Не будем ханжами, вопрос этот немаловажен, но очень худо, когда у представителей самой гуманной профессии он становится доминантой.

Кроме основной, правильно мыслящей группы молодых врачей, я могу выделить еще и такие два противоположных типа. Первый: когда человек сам не знает, чего он хочет. Присматривается. Выжидает. Выбирает. Иногда одно увлечение бездумно меняет на другое. А когда он убеждается, что его товарищи уже получили видимые результаты на избранном ими пути, и сам пытается что-то начать, оказывается, что время упущено. Урок получен, но, увы, поздно. Второй тип встречается в последнее время, к сожалению, не так уж редко. Молодой врач хорошо знает, что аспирантом быть лучше, чем ординатором, а

профессором лучше, чем доцентом. Намечается отчетливо сформулированная цель. На пути к этой цели используются любые средства. Нередко цель достигается, но человек, приучившийся не разбираться в средствах, получается плохой.

Среди моих коллег по работе, среди знакомой мне научной молодежи преобладают врачи, которые стремятся жить по принципу: «Для всех, а поэтому и для меня». Но иногда попадаются такие, которые поражают отчетливо выраженной эгоистической тенденцией. Быстро и хорошо они делают только то, что приносит им личную выгоду. Все, что им непосредственно мешает, даже если это необходимо для коллектива или для общего дела, отвергается всецело и категорически.

2

Итак, поводом для этих размышлений, далеко не исчерпывающих затронутую проблему, а местами, возможно, и спорных, является тот факт, что далеко не всякий наш молодой медик задумывается над сущностью своей жизни и работы, не всегда представляет, к чему следует стремиться. Опыт же свидетельствует, что профессиональная подготовка молодого специалиста зависит не только от вуза, где он учится, от условий учреждения, где он работает, но и от того, насколько своевременно и правильно осознает врач задачи, стоящие перед ним.

Забегая вперед, отмечу, что для врача самая важная задача — воспитание в себе душевных качеств, полярных равнодушию; каждая трудность, ошибка, просчет явятся для такого врача воистину личным несчастьем...

У нас нередко смешивают понятия «образование» и «культура». Предполагается, что, раз человек получил образование, следовательно, он культурен. Образованных людей мы встречаем часто, культурных — реже. Понятие культуры, кроме образования, включает в себя обязательность правильного воспитания — слово, которое от частого употребления несколько утратило свою свежесть и глубокое первоначальное значение.

Медицина в отличие от многих специальностей обладает замечательным свойством: человеку почти с любыми задатками, качествами, заложенными в нем, можно в рамках своей профессии найти применение этим способностям, следовательно, и удовлетворение работой. Последний фактор имеет колоссальное значение: ведь в мире еще так много людей, равнодушных к избранной ими специальности или активно ненавидящих ее. А интересная работа, даже если она порою сопровождается тяжелыми переживаниями, — пожалуй, все-таки самое важное в жизни.

Теперь я попытаюсь сформулировать основную задачу молодого врача-хирурга. В первые годы необходимо, не теряя времени (то есть напряженно работая), практически проверить в рамках избранной специальности главные свои задатки и возможности. Речь пойдет о врачевании, оперировании, исследовательской и литературной работе, преподавании, организаторской деятельности и поведении в обществе.

Я пишу не инструкцию, не учебник и не устав и поэтому льщу себя надеждой, что узкие и вроде бы сугубо специальные аспекты нашей медицинской работы могут в некоторых деталях и обобщениях представить интерес не только для молодых хирургов, а возможно, и не только для медиков вообще. Потому что всегда найдутся психологические и этические за-

коны, объединяющие всякого рода работу. Остается только добавить, что в такой же мере, как ребенку невозможно научиться ходить лежа, так здесь проверить свои возможности и способности в перечисленных видах деятельности можно только упорным, активным стремлением достичь в каждой из них совершенства.

3

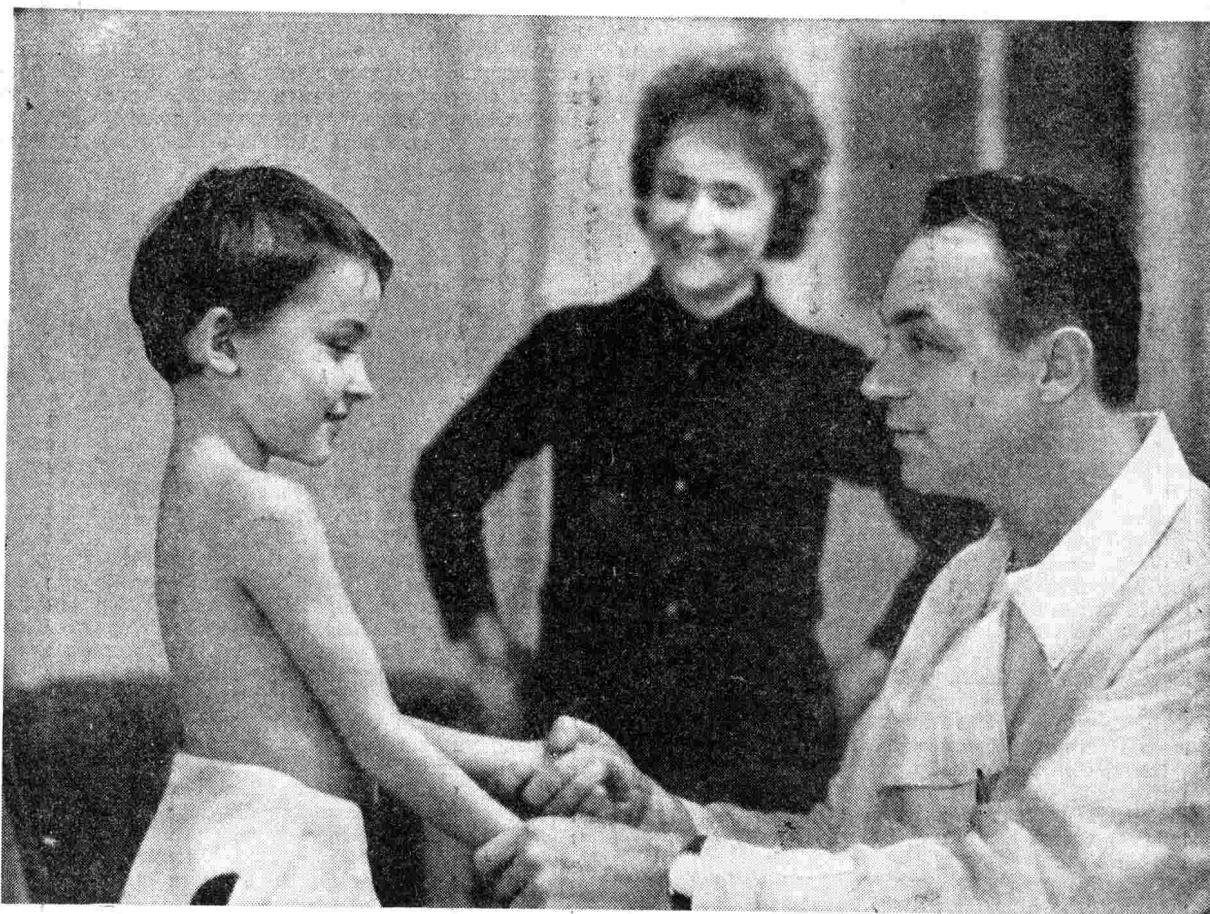
Может быть, стоит напомнить старую истину, что врач должен быть человеком интеллигентным. Неинтеллигентный врач — явление противоестественное, хотя и не очень редкое. А между прочим изначальный смысл латинского слова «интеллигентус» — «понимающий». Стремление понять всю сложность жизни и скромное свое положение члена общества, живущего на благо общества, а не за его счет, является, по-моему, одним из качеств интеллигентного человека.

Как это утверждение ни банально, но каждый врач должен любить людей и обладать высокоразвитым чувством, которое хорошо определяется почти вышедшим ныне из обихода словом «милосердие». Нам, детским хирургам, важно уметь почувствовать все то, что ощущает маленький пациент, оторванный от привычной обстановки, от родителей. Наверное, сильнее всего у него чувство страха. Поэтому обязательно надо уметь представить себе, что вот так, оторванный от тебя, среди чужих людей лежит твой ребенок, испуганный, больной, одинокий. Тогда появится у тебя забота, внимание, ровный и спокойный тон, а главное, приветливая улыбка и ласковое слово — аргументы более веские, нежели припасенный в кармане леденец (впрочем, и он иногда полезен).

Среди важнейших принципов врачевания в детской хирургии — необходимость понять характер ребенка. Это нужно не только для общения, это помогает установить диагноз. Новорожденный и грудной ребенок не в состоянии изложить свои жалобы. Контакт с таким пациентом — дело трудное. «Типичная ветеринария», — сказал один из наших молодых врачей и, в общем, был не так уж далек от истины, хотя звучит это выражение не очень-то деликатно... Дети старшего возраста боятся врача, они склонны сразу согласиться с ним, лишь бы он скорее ушел. («Здесь больно?» — спрашивает врач. «Да-да», — охотно соглашается ребенок, хотя болит совершенно в другом месте.) Ребятишки еще более старшего возраста, не понимая опасности заболевания, но боясь операции или неприятной процедуры, попросту обманывают. Зная, что при аппендиците живот болит справа и что при этом делают операцию, ребята нередко «очень искренне» заявляют: «У меня животик болит вот здесь (слева), а вот здесь (справа) никогда и ничутьки не болит...» Именно в этих случаях важно знать характер маленького человека и войти с ним в хороший деловой контакт.

И еще, из опыта, в том числе и собственного, — никогда не обманывайте доверие ребенка. Дело касается сознательного возраста, начиная с двух-трех лет. Если предстоит неприятная процедура, нельзя говорить ребенку, что ему покажут кино.

До сих пор у меня стоит перед глазами сцена, которая произошла много лет назад на лекции по кожным болезням. Лектор (дама!) демонстративно нам больную девочку. «Повернись-ка спинкой», — сказала лектор, обращаясь к ребенку, — я тебе ничего делать



«...Контакт с таким пациентом — дело трудное».

не буду». А затем быстрым и ловким движением сорвала марлевую салфетку, прилипшую к больной язве, расположенной на спине. На нас будто обрушился — другого слова не подберу — и вид этой отвратительной язвы и громкий крик испуганной девочки. Но я хорошо помню, что острее всего тогда я почувствовал обиду за больную девочку: зачем же ее вот так ни за что обманули?

Иногда мы забываем о психологических принципах врачевания, о необходимости вызывать в больных или их родителях чувство самоуважения, веры в себя. Прекрасно написано у Гиппократов о внешнем облике врача, который должен быть спокоен и приветлив, скромно и хорошо одет. Как легко понять простого человека, немедика, который испытывает сомнение, а порой острое чувство недоверия к чрезмерно молчаливому или чрезмерно болтливому доктору, к врачу, одетому ультрамодно или безвкусно и небрежно. У меня иногда создается впечатление, что, несмотря на прогресс науки и новые мощные лекарственные средства (антибиотики, гормональные препараты и другие), современные медики иногда помогают больному значительно хуже, чем помогали наши предшественники лет 30—50 назад. Внимание к больному, индивидуальная забота, неторопливость — все это внушало доверие к советам врача и мобилизовало все внутренние ресурсы пациента, всю его волю, а поэтому зачастую приводило к значительному успеху в исцелении.

Основное в проблеме врачевания — раз и навсегда обрести ощущение: если ты лечащий врач, то всегда и при всех обстоятельствах, кто бы ни консультировал или оперировал больного, ты один несешь за него полную и единоличную ответственность.

Здесь меньше всего речь идет о юридической ответственности, хотя и она, очевидно, имеет значение. Лечащий врач — главное лицо, определяющее успех лечения. Он понимает и знает больного. Он исследует его, ставит ему диагноз. Он готовит больного к операции, зачастую оперирует и всегда выхаживает. Никакие консилиумы, никакие маститые консультанты не в состоянии заменить собой центральную фигуру — лечащего врача. В тех учреждениях, где дипломированные консультанты в силу тех или иных условий вытесняют лечащего врача, как правило, страдают больные. Именно поэтому врачи сами не любят лечиться в подобных заведениях, предпочитая скромную больницу, где работает врач или коллектив, внушающий доверие.

И еще мне кажется, необходимый путь к мастерству — постоянно читать научную медицинскую литературу. Радио, кино, телевидение и магнитофон все больше вытесняют привычку людей к чтению. Хотя вся наша система усовершенствования врачей построена на лекциях и занятиях, когда курсанты учатся «с голоса», судорожно конспектируя слова преподавателей, я твердо убежден в том, что еще

долгие годы чтение литературы научной и художественной будет условием интеллигентности.

К сожалению, система клинических учреждений такова, что при обслуживании больного существует целая иерархическая лестница — ординатор, старший ординатор, заведующий отделением, ассистент, доцент, профессор, — представители которой направляют лечение больного, иногда входя в противоречие друг с другом.

Здесь возникает опасность утраты инициативы при лечении больного. Польза для дела подчас оказывается минимальной, вред есть всегда. А когда ординатор твердо знает, что он один отвечает за больного, он сам читает литературу, сам планирует обследование и в ходе его готовит больного к операции. Лишь исчерпав собственные возможности, обращается с вопросом к своим старшим коллегам. От этого всегда выигрывает больной и расширяется кругозор лечащего врача (ординатора).

Выживание оперированного больного — очень сложное дело. В детской хирургии бывают случаи, когда легче прооперировать больного, нежели вывести его. Яркий пример — операция трахеотомии (горлосечение) у грудного ребенка, когда судьба ребенка непосредственно зависит от правильности и тщательности послеоперационного ухода.

Знание всех послеоперационных осложнений, умение их предупредить и рано диагностировать, оказать правильную экстренную помощь при возникновении осложнения необходимо самым скрупулезным образом передать дежурным палатным сестрам. Это непосредственно входит в обязанность лечащего врача. Трагические ситуации совершенно стандартно возникают в случаях, когда лечащий врач не считал перечисленные выше обязанности своим личным делом.

Кардинальной проблемой во врачевании является проблема доверия. В каждом коллективе есть врачи, о которых все, начиная с младшего врача и кончая старшим, думают одинаково: «Ему можно верить». Это значит, что всякое дело будет сделано хорошо. О неясном или непонятном он спросит. Запишет аккуратно и именно то, что было на самом деле. И многое другое. К сожалению, бывает и наоборот. Есть врачи, которым не верят или, в лучшем случае, не доверяют. Почему-то прямо о таких людях говорить не принято. А зря.

Мысль о доверии или недоверии из подсознательного отношения к человеку в практической работе часто перерастает в отчетливую и жесткую характеристику, которую коллектив дает врачу, особенно когда дело касается ответственных процедур. «Нет, Сидорову не нужно этого поручать, не потянет». И в этих случаях дело не в том, что Сидоров безграмотен или недостаточно умен. Просто ему не доверяют.

На фронте в нашем госпитале работал доктор Н. — высокий, красивый блондин с коротенькими усиками. Он соглашался выполнить любое распоряжение, сопровождая согласие чем-то вроде «будьделано». Забыв, напутав или допустив ошибку, он смотрел вам прямо в глаза, отгорченно и искренне говорил: «Виноват». У меня было впечатление, что в детстве его очень любила и баловала добрая тетя (хотя, возможно, никакой тети у него и не было).

Почему-то имеется негласное мнение, что с таким человеком ничего не поделаешь и лучше всего просто с ним не связываться. Я убежден, что «психологию троечника» в работе можно и нужно ломать. Один-два раза показать такому человеку, что все без исключения видят и знают его качества безответственного работника, в медицине совершенно недо-

пустимые. И, главное, высказать уверенность, что при некотором желании и старании он в состоянии выполнить свое дело добросовестно. Постоянный контроль и наблюдение за такими людьми, а иногда и подчеркнутое доверие к ним могут способствовать изменению их характера. Понятно, если такое доверие не угрожает здоровью больного...

Врачевание требует отдачи без остатка всех сил человека, и если он не способен на это, то лучше уж ему заняться препаратами, приборами и всем, что также необходимо в медицине, но без непосредственной связи с больным.

4

В понятие «золотые руки» нередко вкладывают некое врожденное свойство, ниспосланное как неожиданный и щедрый дар природы. Действительно, есть хирурги, которые хорошо оперируют, не очень задумываясь над тем, как они этого достигают. Точно так же, как есть люди, которые поют, словно птицы, — свободно, легко и красиво. Но мы твердо убеждены, что если в пении врожденный анатомический субстрат может иметь решающее значение, то в хирургии искусство оперирования рождается столь своеобразными и сложными путями, что стать хорошим хирургом могут многие, любящие свое дело и обдумавшие и работающие над совершенствованием технического мастерства.

Попытаемся расшифровать эту, возможно, спорную мысль. Определенный хирургический стереотип рождается обычно в пору хирургической молодости. Неверный первичный подход к делу накладывает отпечаток на всю дальнейшую деятельность хирурга. Здесь возникает известная аналогия со школьниками. Среди них имеются ребята, лишенные усидчивости или честности, которые, прячась за снобистскую формулу «Стану я зубрить», остаются троечниками. Многие из них, увлеченные интересным делом, меняются и достигают больших успехов в избранной специальности. Другие, привыкшие к небрежности, безответственности, объясняющие свои неудачи объективными причинами, на всю жизнь остаются посредственными работниками, то есть людьми с психологией троечника. Выводом является тривиальная истина: труд рождает характер.

Некоторые молодые хирурги находят возможным «доучиваться» во время операции, на больном, что и безнравственно и порочно. К сожалению, такие случаи бывают.

Вспомним знаменитого французского хирурга Тьерри де Мартеля, который дал слово сделать первую операцию у человека, только когда овладеет хирургической техникой не хуже, чем его квалифицированные коллеги. Слово свое он сдержал. Далось ему это ценой упорной работы в морге, виварии, упражнении с инструментами и т. п. Все это у многих студентов может вызвать досадливое пожимание плечами. У читателя-немедика, на мой взгляд, даже и мысли не должно возникнуть, что может быть как-либо иначе. А тем не менее, увя, бывает и это «иначе». Небезынтересно вспомнить, что де Мартель был патриотом, беззаветно любившим свою родину. Он покончил жизнь самоубийством в 1940 году, в день, когда немцы входили в Париж, будучи не в силах примириться с мыслью, что столица его родины предана продажными правителями его государства.

Мы далеки от мысли считать, что хороший хирург и хороший техник — равнозначные понятия. Но если второе возможно без первого, то первое невозможно

без второго: хороший хирург не может быть плохим техником.

Очень интересны мысли С. С. Юдина о творческой стороне работы хирурга, который, готовясь к операции и выполняя ее, вынужден сочетать в себе качества различных специалистов: портного и столяра, архитектора и слесаря, скульптора и художника. Проведение каждой операции, в особенности современной, требует от хирурга качеств незаурядного организатора. В этом отношении крупную реконструктивную операцию можно сравнить с заключительным актом сборки машины, когда результат является следствием усилий большого коллектива. Точность действий каждого из участников обуславливает качество продукции. Правда, оперирующему хирургу здесь принадлежит своеобразная и индивидуальная роль.

В подготовке к операции, кроме чисто технических задач, большое значение приобретает психологическая сторона. Приведу пример, который моим коллегам может показаться весьма субъективным. Хирург при планировании операции, особенно большой или новой, стремится предусмотреть отклонения, опасности, ошибки или упущения, которые возможны в процессе работы. Перед сложной операцией я обычно мысленно шаг за шагом прохожу все ее этапы. При этом зачастую мне требуется составление схемы, плана хирургического вмешательства, приходится делать зарисовки. В процессе такого обдумывания по принципу «что будет, если...» оказывается, что кое-какие мелочи были забыты, некоторые детали недостаточно ясны. Но мне хорошо известно, что в быстром темпе оперативного вмешательства мелочи и детали способны неожиданно перерасти в острую проблему. А размышлять там уже некогда. Известный летчик-испытатель Марк Галлай отлично описал свои ощущения в полете, во многом сходные с теми, которые испытывает хирург. Особенно в случаях, когда он выполняет данную операцию впервые.

Такой «мозговой» подход может раздражать отдельных многоопытных хирургов, у которых отточенная техника и укоренившийся автоматизм движений в трудный момент срабатывают на пользу больного. И все-таки я глубоко убежден, что наилучший результат получается в тех случаях, когда хирург стремится сочетать сознательно отработанное техническое мастерство с неустанным обдумыванием всех деталей операции.

Тогда рождаются творческие удачи и ценные находки, а операция проходит в наиболее целесообразном для больного варианте. Трудно передать существо этого предварительного обдумывания хода операции, но он значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я сказал бы, что это попытка мыслить не фактами, не картинками, а мышлением действием. Воображение динамического вмешательства в наиболее ярком и красочном, а не в обычном черно-белом мыслительном виде. Когда в воображении сливаются цвета, запахи и движение, — именно тогда хирург в полной мере может себе представить максимум того, что произойдет во время операции.

Боюсь, что описанная методика подготовки к оперативному вмешательству носит очень индивидуальный характер, но мне она неизменно помогает...

Молодому врачу и особенно хирургу свойственно, безотносительно от желания, подражать своему шефу. Чем больше уважение и любовь к шефу, тем подражание сильнее. Этот психологический факт имеет немаловажное значение в стадии ученичества, а затем и в формировании школы. Недаром по «по-

черку» и поведению хирурга иногда можно узнать, чей он ученик.

Это явление скрывает в себе положительную и отрицательную стороны. Положительная — в заимствовании многолетнего опыта и мастерства. Отрицательная — в ограниченности этого мастерства одним индивидуумом — шефом. Отсюда следует очень решительный вывод. Молодой хирург, как, очевидно, и любой другой специалист, должен использовать опыт многих и разных хирургов, заимствуя от каждого то лучшее, что дали ему природа и жизненный опыт. Как трудовая пчела, которая все полезное несет в свой улей, молодой хирург должен счастливые находки и полезные наблюдения отдавать своей клинике. Здесь годится все, крупное и мелкое: организация работы и детали техники, применение современной аппаратуры и способ стерилизации перчаток. Трудно себе представить ведущего хирурга, если только он не страдает самовлюбленностью или глубоким склерозом, который с благодарностью не воспримет любое, пусть неожиданное для него, но полезное для дела предложение.

Понятно, что подражание и заимствование не есть лишь этап в жизни хирурга, — это способность на протяжении всей своей жизни выбирать лучшее и отбрасывать укоренившиеся, хоть и милые сердцу, но недостаточно эффективные приемы и привычки. Именно таким образом создается собственный стиль работы. Рождение собственной манеры оперировать свидетельствует о наступлении зрелости хирурга.

Пришло время сказать главное о хирургическом мастерстве. Наблюдая операции С. С. Юдина совсем молодым хирургом, я не мог для себя сформулировать, в чем их необычайное эстетическое влияние. Лишь позднее, когда кончилась война и С. С. Юдин после долгого перерыва вернулся в Москву, я вновь на одной из операций подумал об этом, и ответ пришел сразу, в очень конкретной форме: совершенная операция — когда хирург не делает ничего лишнего, а только абсолютно необходимое. Если я не ошибаюсь, А. П. Чехову принадлежит определение изящного как отсутствие всего лишнего. Может быть, в области оперативной техники понятию изящного может соответствовать современный термин — лаконизм?

5

Хочу сказать несколько слов о деловой грамотности, или овладении профессиональным языком. К нашему стыду, следует сказать, что в погоне за краткостью изложения, экономией места в научных журналах и книгах редактора издательства довела стиль медицинских работ до предельной сухости. Это обидно. Яркость и метафоричность языка, как, например, показывает опыт французских медиков, нисколько не снижает научной ценности их работ, напротив, делает их более запоминающимися и убедительными.

Каждый вечер мне приходится читать статьи своих товарищей и помощников по работе: статьи, направленные из редакций медицинских журналов; диссертации и книги, присланные для рецензирования. По содержанию эти работы, как правило, бывают интересными, полезными, их надо печатать. Но изложены они зачастую так, что нельзя сразу понять суть дела: важные положения не аргументированы, а примитивные мысли упорно доказываются посредством банальных и ненужных примеров.

Можно только поражаться тому, что специалисты, окончившие среднюю школу и получившие высшее

образование, так плохо владеют пером. Из десяти диссертантов не менее девяти испытывают наибольшие муки на этапе, когда следует изложить законспектированные литературные данные и проанализировать собственные наблюдения, то есть в момент литературного творчества. Очевидно, это происходит потому, что на протяжении многих лет образования слишком мало времени уделяется критическому анализу и изложению собственных мыслей (с пером). Существуют профессии, где творчество обходится почти без применения слов (музыка, математика и др.). Однако большинство специальностей, и в частности медицина, нуждается в умении четко изложить свою мысль, обоснованно отвергнуть чужую идею и логично изложить программу необходимых действий. Это относится не только к научно-исследовательской работе, но и к обычной документации — ведению истории болезни, составлению медицинской отчетности, записи операций.

Следовательно, молодой врач должен работать над совершенствованием своего литературного стиля, для чего существует лишь один путь: писать много, не удовлетворяться написанным, поправлять и дополнять свои работы, как бы это на первых порах ни было мучительно...

6

Наши писатели и особенно журналисты иногда пишут: «Молодой ученый работает над диссертацией». Это не свидетельствует о глубоком понимании существа научной, в частности диссертационной, работы. Над диссертацией может работать каждый — это еще не заслуга. Но только завершив и защитив диссертацию, человек превращается в научного работника; именно в процессе работы над диссертацией в большинстве случаев рождаются качества научного работника. Одним словом, не диссертация есть продукт труда научного работника, а научный работник есть результат работы над диссертацией. Диссертация менее всего цель в науке, но в основном средство, поскольку в процессе работы над диссертацией готовятся кадры научных работников. Поэтому звание кандидата или доктора наук — это не только право на повышение зарплаты. Научные работники обладают методом научного мышления.

Следует быть справедливым и признать, что среди «остепененных» встречаются и такие, которые выполнили работу, дающую формальное право на присвоение звания, а вот основных качеств научного работника так и не приобрели. В этом нет ничего парадоксального: кандидатом наук стал, а научного мышления не обрел... Очевидно, начиная научную работу, целесообразно задуматься, какие качества необходимо в себе выработать (коль скоро тебе они не даны от природы). Сразу отметим, что, бывает, человек рождается на свет, наделенный целым букетом необходимых ученому качеств. Это счастливый, но не очень-то частый вариант. У большинства ученых необходимые качества вырабатываются в результате длительного, упорного труда. Кстати, зачастую это происходит без особых в этом направлении размышлений, а по мере преодоления трудностей или исправления допущенных ошибок. Более эффективно перестройка сознания будущего научного работника произойдет, если он заранее будет знать, какие каче-

ства ему необходимо иметь. Их много. Перечислим из них лишь основные. Привычка к собственной оценке явлений; критическая оценка их; непрестанное размышление; возможно более ранний анализ явления и раннее обобщение; суммарный охват явлений; острое чувство нового...

Не развивая подробно мысли, которые хорошо сформулированы в специальной литературе, посвященной научной работе, отметим лишь, что объективно существуют определенные черты, необходимые научному работнику: любознательность, настойчивость, инициатива, увлеченность, привычка к думанию, склонность к сопоставлению фактов, умение отказать от очевидной и удобной мысли, стремление любую гипотезу подвергать проверке с позитивных и негативных позиций и многое другое. Все эти черты следует в себе культивировать и развивать. Только тогда, в результате упорного труда (опять труд!), выкристаллизовывается основное качество ученого, которое в старину формулировали как «умение в невероятном увидеть вероятное, а в вероятном увидеть невероятное», или, другими словами, воспитать в себе оригинальность мышления.

Далеко не каждый может стать настоящим, оригинально мыслящим ученым; весьма многие могут стать научными работниками и приносить пользу науке; но каждый, без исключения каждый молодой врач должен воспитывать в себе качества научного работника и применять научные методы в своей работе. При этом наибольшая польза будет для больных.

И, наконец, последнее. Порой в медицинских коллективах забывают о важности соблюдения декорума, правильной формы обращения друг с другом. Громкий и резкий разговор, повышенный тон, оскорбительные интонации в корне противоречат режиму работы медицинского учреждения. Младший и средний персонал быстро усваивает подобный стиль обращения: ухудшаются личные отношения — страдает дело, наносится вред больным. Поэтому в любом медицинском (очевидно, и немедицинском) учреждении следует решительно пресекать в разговорах, выступлениях на конференциях и совещаниях всякие иные интонации, кроме спокойных, ровных, деловых, уважительных и доброжелательных.



Я даю от мысли считать, что исчерпал эту чрезвычайно важную тему. Но, как говорили древние: «Молодого ученого не следует уподоблять сосуду, который надо наполнить знаниями. Он факел, который педагог должен зажечь!» Перед глазами каждого врача должен стоять образ ученого и врача мирового масштаба Николая Ивановича Пирогова — хирурга, анатома, экспериментатора, ученого, организатора, литератора и педагога, ибо во многих из молодых врачей скрыты возможные Пироговы. Дело лишь за тем, чтобы им стать...



Каждое утро в восемь пятнадцать я переступаю порог хирургического корпуса детской больницы.

Начинается рабочий день...





Татьяна Копылова

ИДИ СМЕЛЕЕ!

Полтора года назад, одновременно с публикацией в «Юности» очерка «Последняя судимость» — о судьбе самого юного в годы войны партизана Юры Паренькова и обо всех злоключениях, выпавших впоследствии на его долю, и по вине других и по его собственной, — заключенный был досрочно выпущен на свободу.

Во время войны Юра потерял родителей и в одиннадцать лет стал партизаном. С сорока первого по сорок четвертый он был в отряде, потом стал сыном полка и воевал в Германии, участвовал в боях по разгрому японской армии. Награжден, ранен. После войны Паренькова направили на учебу в школу юнг, но медицинская комиссия нашла у него туберкулез. Юру демобилизовали.

Возвращаясь в родной Ленинград, он по трагической случайности лишился всех документов. А там — проверка, суд, колония...

Когда Юрий Иванович написал письмо в журнал, за спиной у него было уже девять судимостей. И хотя первая была признана ошибочной, счет говорил сам за себя.

Бывший командир партизанского отряда майор милиции Григорий Васильевич Тимофеев и журналистка Татьяна Копылова, изучив обстоятельства этой необычной судьбы, начали борьбу за Паренькова. Надо было у заключенного Юрия Паренькова отвоевать героя Юру Паренькова.

Опубликованный полтора года назад очерк заканчивался словами: «В Прокуратуре РСФСР было пересмотрено дело Паренькова. Состоялся суд, первого марта Юрий Иванович Пареньков вышел на свободу».

Судьба эта взволновала многих читателей. «Напишите о Юре Паренькове»; «Расскажите, как живет Юрий Иванович»; «Сообщите о тов. Паренькове» — так кончалось чуть ли не каждое письмо. А было их несколько сотен.

Кабинет начальника колонии (сколько сменилось их за долгую и пеструю биографию Юры!). Люди в военной форме, и среди них человек в тюремной куртке, тяжелых кирзовых сапогах, только брюки (все его гражданское имущество) не по-тюремному легкомысленны и не по-сибирски легки. Но Юрию Ивановичу хоть чем-то хочется отличаться от заключенных, подчеркнуть, что он уже свободен.

Ему вручают деньги на проезд и паспорт.

И ворота и часовые, дотошно проверяющие наши документы, позади. Юра останавливается. Медленно обводит взглядом площадь. Женщина с сумкой перебирается через сугроб около магазина. Двое парнишек выходят из дверей, за спиной ранцы, в руках у одного кулек, они по очереди запускают туда руки за конфетами. Круто разворачивается «газик», колеса идут юзом по накатанной мостовой.

Юра стоит, смотрит, смотрит...

— Пойдем? Не раздумали? — спрашиваю его. Стрелкам на часах осталось сделать один шаг до четырех. Нас ждут. Накануне товарищи из управления внутренних дел облисполкома попросили выступить перед мальчишками, находящимися в следственном изоляторе.

— Нет. Не раздумал. Конечно, не раздумал...

Путь недолгий. Всего несколько десятков метров отделяют ворота колонии от входа в следственный изолятор. Несколько минут свободы — и опять ворота, колючая проволока, проверки, часовые.

Я покосилась на Юрия Ивановича. Как он там? Он, будто угадав вопрос, поспешил сказать:

— Не подумайте чего... Просто сегодня работал в ночную смену — устал немного. Устал — и все.

— Я так и появля. Ну что ж, пришли.

Он поднимает руку к кнопке звонка, чтобы впервые в своей жизни добровольно войти в эти ворота.

Открывается смотровое окошечко.

— Нас ждут! — говорит Юрий Иванович.

— Фамилии?

Называемся, протягиваем документы. Глухо ударяет щеколда.

В клубе уже чинно расселись подростки. Грохнув ботинками и стульями, поднялись при нашем появлении.

— Здравствуйте, садитесь, — говорит им сопровождающий нас лейтенант.

Настороженные глаза. А лица-то совсем детские, трудно даже поверить, что еще вчера, на прошлой неделе, десять дней назад кто-то из этих ребят останавливал прохожих и отбирал деньги и часы, кто-то грабил продовольственный магазин, кто-то уводил со стоянки автомобиль, кто-то... Но это было, потому-то они и здесь, в следственном изоляторе. Ждут суда, ждут решения о сроках и мерах наказания в колониях для несовершеннолетних.

Встречу (как мы договорились) начинать мне. Я рассказываю о войне, о псковских партизанах. О военных подвигах и делах их сверстника — юного партизана Юры Паренькова.

Слушают внимательно. В конце говорю:

— О дальнейшей судьбе Юры расскажет вам Юрий Иванович Пареньков.

Он делает шаг вперед, начинает тихо, слотнув комок волнения:

— Вы думаете, ребята, я вас агитировать пришел? Нет. Я вам о своей жизни, о своих мыслях сказать хочу...

Может быть, он был несколько непоследователен. От примеров из собственной жизни бросался к обращениям. Но ведь так часто бывает в разговорах, когда человек очень хочет убедить в чем-то.

— Смотрю я на вас: молодые ребята. И вот, гляди-ка, куда угораздило. Знаю, почти за каждым из вас взрослый стоит. Знаю, подучивал: «Что нам закон?

Что нам милиция? У нас свои законы, свои правила. Кореша выручи. Своих не выдай...». Тоже мне учитель... Хорошему-то не научил. Учил воровать, грабить, а кое-кто и на мокрое дело вас подбил. Знаю, внушал: «Ничего не страшно — ни суд, ни тюрьма». А вы подумали, что, вы-то здесь, а этот взрослый постарался скрыться?

Он снова окинул взглядом аудиторию. Ребята сосредоточенно молчали.

— Вот вы сидите, такие здоровые, сытые. Я подумал: ну, после войны еще какое-то оправдание было для малолеток, которые шли воровать. Отцы на фронте погибли, матери умерли, крыши над головой нет. Я, конечно, этого не оправдываю и сам не оправдываюсь. Потому что выход-то был: детский дом, ФЗУ, работа. Но, пожалуй, многим военная самостоятельность помешала: я, мол, сам устроюсь, что я, маленький, в детский дом идти? Прокормлюсь и так. Вот и «устраивался». Таких, если и не оправдать, все же как-то понять можно. Ну, а вы? Вам чего не хватало?

И опять помолчал, чтобы вновь заговорить горячо, с болью:

— Ребята, я вот что хочу сказать: вы должны сделать так, чтобы эта ваша первая судимость, что по малолетству, стала последней. Чтобы жизнь себе не сломали. Потому что... Мне вот тридцать семь. Понял я сейчас: за ошибки пришлось расплачиваться самым дорогим, что есть у человека.

Вот так он и вошел в первый день воли.



У Григория Васильевича Тимофеева Юра и его невеста Лида, которая тоже приехала в Москву, гостили несколько дней.

Я представляла ее крупной, дородной — так выглядела она на фотографии, которую прислала. А в комнату вошла, чуть прихрамывая, худенькая, небольшая женщина. Светлые волосы собраны в тяжёлый пучок. А лицо такое, какое бывает у людей, давно ожидавших радость и наконец нашедших ее.

— Устали. — Она опустилась на диван. — Зато побывали в Мавзолее Ленина, на Красной площади. Сфотографировались на память.

— А сколько еще надо успеть! — добавил Юра. — Третьяковская галерея, Бородинская панорама, Ленинские горы, университет... Ведь только читал обо всем этом.

Ему хотелось прочувствовать свободу. Ее первым ощутимым признаком было: пойти туда, куда хочется, сделать то, что задумал сам. Начиная от завтрашнего маршрута по Москве и кончая будущей работой.

— Мы с Лидой прикинули — поедem в колхоз. Там плотники нужны, каменщики.

...Мы провожали их через три дня. В тот день у Тимофеевых былолюдно и даже тесновато в просторной комнате. А добавился всего лишь один новый гость. Прокурор Александр Борисович Каллистов.

Мне вспоминается первая встреча с Каллистовым — прокурором по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел Прокуратуры РСФСР. Из-за стола поднялся высоченный, грузный человек. От его первых слов пахнуло холодом: «Дело в суде решено правильно. Ваш подопечный украл. И тут ничего не поделаешь». Я молчала. Александр Борисович в конце тирады вдруг произнес: «Но давайте подумаем вместе, чем ему помочь. И стоит ли помогать».

Я выложила целый ворох газетных вырезок,



в которых рассказывается о подвиге Юры Паренькова, цитаты из книг, письма от Н. Черномаза и М. Лобановой, сверху положила ходатайство бывшего командира партизанского отряда Тимофеева. Александр Борисович внимательно прочел весь материал, расспросил о впечатлении, которое произвел Пареньков, обсудил все мелочи дела. Еще раз прочитал просьбу о помиловании. Потом отодвинул от себя цухлую папку. «Ваш рассказ и эта просьба убедили меня. Теперь надо составить протест так, чтобы он был пропитан убеждением, силен аргументами». Александр Борисович помолчал немного, потом добавил: «А знаете, я воевал по соседству с Юрой, в 54-м полку «катюш». Можно сказать, почти однополчане».

И сейчас за столом у Григория Васильевича шел военный разговор. Чаще всего звучало: «Юра, а помнишь?»

Вспоминая о боях, о победах, о лишениях и встречах, о трудностях и борьбе, Юра говорил: «наш партизанский отряд», «наши товарищи».

Потом отвлеклись от военной темы. Александр Борисович сказал:

— Юра, имей в виду: много у тебя и у меня есть сторонников в нашем учреждении, но нашлись и такие, что утверждали: «Сколько волка ни корми...». С ними надо не спорить — им нужно доказать.

Юра посерьезнел:

— Понял. Докажу. Ни вам, ни Григорию Васильевичу, ни Татьяне Алексеевне, ни Антонине Алексеевне, ни Лиде, — он перечислил всех, — никому за меня стыдно не будет.



Что поставите вы рядом с понятием «свобода»? Наверное, — легкость, отрешение от груза, тяготы, бремени. Когда прошли первые дни на воле, Пареньков понял: все будет иначе. И будет трудно.

Позже мне довелось прочитать письма Григория Васильевича Тимофеева, которые он писал Юре в село. Обычные письма — с рассказами о семейных новостях, о событиях на службе. Но почти в каждом — упоминание о встречах с кем-нибудь из партизанской бригады, о письме их общего товарища, о задуманном походе по местам боев. Ненавязчиво и как бы исподволь командир говорил своему младшему другу: мы помним тебя, беспокоимся о тебе, любим тебя.

Писал нам Юра часто, как и договорились.

«Узнавал насчет работы. В селе строят магазин. Хочу туда устроиться...»

«С Лидой расписались... Вот уехала на десять дней на сессию, и я здорово скучаю».

«Ходили в гости в соседнее село. Возвращались через перелесок, я там выкопал двенадцать сосенок. Посадил у дома. Привьются ли?»

«Сегодня получил военный билет. Как говорится: готов встать на защиту Родины».

Он не хотел писать о трудностях, но все равно это проскальзывало между строк.

«Многие заходят в наш дом провести Лиду. Чувствую, приглядываются. А однажды услышал, как соседка, уходя, спросила Лиду: «Что ж это ты, лучше заключенного никого не могла найти?» Лида старается всем объяснить. Я ей говорю: «Не надо».

...Да, тяжелый груз принес с собой из колонии Юра. 19 лет провел он в заключении. И люди, естественно, отнóсились настороженно к этому чужаку, пришедшему в их село. Они привыкали к нему, но шло это медленно и нелегко. Вот о чем Юра обмолвился:

«Сегодня понедельник. Но я не работаю. Не думайте, что из лени. После субботы-воскресенья вся бригада не вышла: поддавалась уговорам непохмелившихся пьянчуг. Не пугайтесь: я не пил, отказался, хоть и приглашали. Сейчас сижу один дома, пишу письмо».

Он тянулся к людям, они относились к нему настороженно. Проходил первый момент отчуждения — соседи, товарищи по бригаде принимали его, но принятие это порой выражалось весьма своеобразно. «Ты наш, — говорили любители горького, — давай по этому случаю выпьем».

Как нужно было поступить Паренькову? Стоять в стороне с ярлыком эдакого гордеца и одиночки? Или соглашаться на это чуть ли не ежедневное застолье?

Конечно, мир не замкнулся на этой строительной бригаде, но так или иначе Юрий Иванович еще раз должен был доказать всем и себе: должно «стерпеться», должны сработаться.

Его настоящие друзья, его жена всеми силами старались помочь Юре. Скоро письма стали иными: чувствовалось, что человек обретает уверенность, находит свою позицию.

«Начинаем строить другой объект — Дом культуры. Кроме этого, мы сделали в колхозе красный уголок для доярок, телятник и обложили кирпичом домик под санчасть. Однако все это не доведено до конца. Конечно, за работу мы деньги получили, но все равно как-то неприятно... Говорил об этом с ребятами. Хотим поставить вопрос перед председателем».

«Вызывали недавно в милицию, хотели узнать, как живу. Кроме меня, еще двоих, ранее судимых. Начальник уголовного розыска беседовал. Беседа прошла на «высшем уровне»: одного сразу же отправили в вытрезвитель за плотный завтрак. У меня все хорошо».

«Меня призвали в тракторный отряд. Послезавтра экзамены. Сдать я обязательно сдам. Ну и, конечно, нужно поработать. Здесь на нашу бригаду не хватает 12 человек. И будет большим свинством, если я не стану участвовать в севе».

«Наконец-то у нас пошел проливной дождь. Я, как и все, ждал его, как праздника. Было так сухо, что боялись: урожай погорит. Пожалуй, в приметы можно верить. Мама вечером смотрела, как гонят стадо коров с поля. Стадо пройдет, она говорит: «Опять не будет дождя». «А почему?» Объяснила: «Перед дождем всегда должна впереди идти черная корова, а шли все белые и рыжие». А вчера возвращалось стадо, и впереди шла черная корова, и телка тоже черная. Возможно, это вам неинтересно?.. Я все больше и больше привыкаю к деревенской жизни».



Командировочные мои дела в Харькове кончались в пятницу, и я решила завернуть на субботу и воскресенье к Юре и Лиде. Благо, Белгородская область — соседняя. Ехала без предупреждения, без телеграммы или звонка.

Дома Юры не было. Бригада работала в соседнем селе. Со стройки заметили машину. Вот человек, выкладывающий угол, положил мастерок, наблюдает. Теперь и мне хорошо он виден: невысокий, крепкий мужчина, волосы черные, ежиком, с густой сединой, лицо загорелое. Юра. Такой спокойный.

Все-таки мой приезд был слишком неожидан, и Юра несколько смутился. Не зная, как скрыть растерянность, он нагнулся мыть и без того чистые сапоги. Потом поднял улыбающееся лицо:

— Я... не думал, что... Не знаю, отпустят ли товарищи...

— Иди, иди. Дело святое. В магазин не забудь забежать.

Мы долго разговаривали в тот вечер. Хозяева рассказывали, как устроились («Домик маленький. Как-то вдвоем с мамой хватало... А теперь строиться бы надо»), о планах («Лида вот кончит институт, в школу пойдет работать»), о досуге («Читаю много. Хорошо, что Лида в библиотеке работает»).

Утром Юра показывал мне село. Просторное, широкое. Встречные, как и заведено в селе, здоровались.

— Здравствуйте! — это ко мне. И тотчас: — Здравствуйте, Юра!

Юра мне потом сказал:

— Это после вашего журнала. Раньше-то, знаете, как смотрели: из заключения...

...Он провожал меня на поезд. Нес чемодан и сумку с деревенскими гостинцами: бутылкой душистого подсолнечного масла, которое сам ездил давить на прессе, куском сала — от поросенка, которого сам выкормил, и вареньем из вишен, которые выросли в их саду.

Я же Юре оставляла письма, которые прислали читатели «Юности» в ответ на очерк «Последняя судимость».

О них-то и пойдет дальше речь.

☆

Почти треть писем — от заключенных. Например, от Бориса Овчинникова, отбывающего срок наказания в Свердловской области:

«Меня затронула судьба героя и в то же время своя судьба, которая тревожит меня давно».

Такой переход понятен. Человеку всегда хочется говорить о наблевшем. Борис продолжает:

«Правда, я не воевал на фронте, имею родителей. Но я так же, как и он, не нашел поддержки в жизни, не нашел твердой руки, на которую можно было бы опереться. И результат — вторая судимость в 19 лет. В 1964 году я под влиянием «друзей» совершил преступление. Получил два года. Отбыл 11 месяцев и освобожден. Вскоре женился на студентке пединститута в Тагиле. В 1966 году поступил туда сам. Но пришел из армии «друг», и вновь пошли приключения, в результате — вторая судимость: 3 года усиленного режима. Но душа не на месте, чувствую, что получил не по заслугам...»

Скоро исполнится 1 год и 6 месяцев, как я сижу. Я теряю жену, которую люблю, потерял институт, где хотел учиться, теряю самые хорошие годы. А ведь в детстве я тоже был примерным, ездил в Артек, хорошо танцевал...»

Я специально столь подробно цитирую письмо Бориса Овчинникова: это типичное письмо. В нем обвиняются все окружающие, своих же ошибок автор не видит. Все так просто: появился «друг», совершено вторичное преступление (даже не упоминается, какое, что автора это второстепенная деталь), а вот негодование по поводу судьи — на это Борис не пожалел сил и красок.

Человек не понимает, что не кто-то, а он сам лишил себя свободы, не кто-то, а он сам разрушает свою семью, не кто-то, а он сам прервал свою учебу в институте.

Автор проводит прямую параллель между собой и Юрой Пареньковым, хоть и оговаривается: «Правда, я не воевал». Подобных сопоставлений в письмах много. Этим корреспондентам хочется ответить напрямую: Юра воевал, партизанил с одиннадцати лет, вынес все тяготы военной судьбы, у него погибли родители, после войны он остался больным и одиноким. И тот, кто прочел апрельский номер «Юности» за 1968 год, знает, что вины за парнем не было, когда он впервые попал под суд. Никто не снимает с Юры ответственности за дальнейшие ошибки. Но закрыть глаза на его военное, героическое детство — значит проявить душевную и гражданскую черствость, граничащую с преступлением. Поэтому и вступились за него друзья, поэтому прокурор РСФСР направил протест о снижении меры наказания.

Я вспоминаю письмо Юры Паренькова и еще раз убеждаюсь: он существенно отличался от тех, с кем провел долгие годы в заключении. Прежде всего отличался тем, что признавал свою вину и мучился ею.

Нефедов Николай Александрович отбывает срок наказания в Архангельской области. «20—21 ноября 1964 года судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда приговорила меня на двенадцать лет лишения свободы с отбытием в колонии усиленного режима. В своем приговоре суд определил, что убийство жены я совершил из хулиганских побуждений. Это совершенно не соответствует действительности и является сплошным вымыслом следствия и суда. Приговор жесток, суд не изучил социальной причины содеянного, которое произошло от опьянения алкоголем».

«уж не напоминаю о том, что опьянение не считается смягчающим вину обстоятельством. Напротив, оно усугубляет вину и, на мой взгляд, справедливо. Но вчитайтесь в письмо: опять те же рассуждения. Суд виноват, следствие виновато, а убийца... убийца — невинно пострадавший».

«Я виноват, но виноват не настолько, как решил суд».

Это пишет человек, убивший другого человека. Страшно и горько читать такие письма.

Хочется мне подчеркнуть и еще одну разницу в письмах Юрия Ивановича и его бывших «однокашников». Это разница во взгляде на будущее. У одного — крепкая уверенность, что со старым покончено. У других... «Я почти отбыл срок. Хотя и боюсь будущего. Ведь это может повториться», — многие, очень многие кончают так свои письма.

Может повториться... Что? Проступок, хулиганство? Грабеж, убийство? Человек не уверен в себе, в своей честности, в силе и умении свернуть с привычной для него дороги и все-таки просит, требует, взывает: освободите! Немедленно! Сейчас! Потому что мне плохо! Тоскливо! Жутко!..

А если освободить? Вот такого, неуверенного в себе, нераскаившегося? Тогда плохо и страшно будет тем, кто волею судеб окажется с ним рядом — дома, на работе, на улице.

Но есть и другие письма от заключенных. В. П. Честных пишет, что читали статью коллективом колонии:

«Крупный вор-рецидивист решил окончательно порвать с прошлым. И ему в этом помогли работники колонии, редакция, прежние товарищи, министерство и прокуратура...»

Значит, можно остановиться?»

Надеюсь, что счастливый поворот Юриной судьбы не одному Честных поможет задуматься и окончательно порвать со своим прошлым.

☆

Но большинство писем все же не от заключенных.

«Если Юра Пареньков и пошел не по честному пути, так в этом больше всего виновны жестокие, черствые люди вроде Черномаза... У нас говорят в таких случаях: «Своя рубашка ближе к телу». И сколько еще есть людей, попавших в подобное Юрию положение только по той причине, что лучшие друзья влезли в свою скорлупу, лишь бы их не тронули лишним раз. Для них личная репутация превыше всего... Нет ничего хуже равнодушия», — пишет Галина Волошенюк из Винницы.

Конечно, я не открою ничего нового, если скажу, что большинство наших людей обладает особой чуткостью, отзывчивостью, тонким чувством справедливости. Читаешь отклики на статью — лишним раз убеждаешься в этом.

Вот письмо В. И. Тяпкиной:

«Самого большого гнева и осуждения заслуживает, на мой взгляд, мать Юры. Ведь никто другой не поймет свое дитя, как мать. Никто не поможет в трудную минуту так, как мать. И Юра к ней обратился. Приехал к ней. Но что он получил? Она от него «отвыкла». Как это можно — отвыкнуть от своего ребенка? Как это можно — спокойно жить на белом свете, зная о том, что где-то скитается твой обездоленный сын?.. Я очень надеюсь, что Юру Паренькова не сломали невзгоды и несправедливость».

Во многих письмах тревога за будущее Юры, советы, предложения.

Вот раздумья ленинградки Ольги Н. о трудностях, которые могут встретиться Юрию Ивановичу:

«То, что справедливость восстановлена и Юра вышел на свободу, очень хорошо. Но это еще только первый шаг. Ведь он и раньше освобождался, а столкнувшись с житейскими трудностями, неувязками, с черствостью и формализмом, снова попадал в беду. Сейчас у него начинается самый трудный период. Устроился ли он уже с жильем, с работой? Может быть, ему можно жить в городе или поселке, где есть его прежние товарищи, которые могут помочь на первых порах? Потому что человеку после девяти судимостей, как говорится, могут каждое лыко в строку ставить. А в Паренькове, чувствуется, осталась такая еще детская обиженность, незащищенность».

Коротенькая открытка из Ленинграда: «Юра, тебя, ветерана Великой Отечественной войны, поздравляю с праздником — Днем Победы! Желаю хорошего здоровья, отличной семьи и счастья в жизни. Будь мужествен. Будешь в Ленинграде — обязательно заходи. С товарищеским приветом, бывший юнга 1-й бригады торпедных катеров. Валентин».

И еще письма, поздравления, приглашения в гости. Трудно все перечислить. Но на двух письмах хотелось бы остановиться.

Вот первое — от Надежды Николаевны Пантели, из Крыма. Начинает она сухо и деловито:

«Редактору журнала «Юность» от партизанки-разведчицы. Партизанка с 13 лет. Три года была воспитанницей отряда Кудряша. Один год — в Красной Армии. Дошла с боями до Берлина. В партизанах была ранена в ногу. В Берлине — в голову.

Сейчас я инвалид Отечественной войны второй группы. Мне сорок лет. Награждена орденом Красной Звезды и пятью медалями».

«А ведь я Юру знала, — продолжает без перехода Надежда Николаевна. — Нас вместе взяли в госпиталь на Большую землю. Мы были в Боровичах, а потом меня переправили в Киров, а его, как видно, в Ташкент. Помню, еще в эвакуунке нас в шутку звали: таких «на рубль — пара». Малы мы очень были...»

Нужно, наверное, больше писать о хороших людях, которые помогают человеку, попавшему в беду. Юра вот где-то заметил, что люди стали жестокими. А мне повезло. И я очень плакала, что так сложилась его судьба. Могло бы этого не быть, попал бы на пути человек с большим сердцем.

Мне такие люди встречались. Они забыли о своих делах и заботах, чтобы протянуть руку помощи израненной девочке, оставшейся без родных и знакомых. Я им благодарна на всю жизнь. Надо о них писать...

Передайте привет Лидочке, Григорию Васильевичу. Большое им спасибо от всех нас, детей, переживших кошмары борьбы в тылу врага». И подпись: «Пантели Надежда Николаевна. Мать троих детей. Муж мой — инвалид войны первой группы. Живем хорошо. Я ударник коммунистического труда. Извините, если что не так написано: никогда не писала в журнал».

Сильна дружба, рожденная в боях. Это доказал майор милиции Григорий Васильевич Тимофеев своей борьбой за Юру Паренькова, об этом пишет и Надежда Николаевна. А сколько звонков раздавалось

мне и Григорию Васильевичу! Звонили партизаны, узнавшие из статьи о судьбе их Орленка, спрашивали, какая нужна помощь, что нужно предпринять, как посодействовать, где похлопотать...

И последнее письмо. Получено оно было среди первых.

«Для меня очерк дорог тем, что помог еще раз удостовериться в необходимости и важности одного нашего эксперимента».

В течение многих лет я работал в Пушкинском районе (в Подмоскowie) секретарем горкома партии. Три года назад мы создали при горкоме комиссию. Название у нее несколько громоздкое: комиссия по трудоустройству лиц, вернувшихся из мест заключения. Для меня это была комиссия по возвращению этих лиц в человеческое общество, а иной раз и по возвращению этим лицам человеческого облика.

Многие скептики говорили: «Зря занимаешься. Преступник останется преступником. Все равно вернется туда, где отбывал срок». Но в комиссии подобраны настоящие энтузиасты, оптимисты, а главное — деловые люди. Через них проходили (и проходят) все, вернувшиеся в наш район из заключения. И здесь — может быть, порой даже впервые в их жизни — с ними по-человечески беседуют, по-деловому решают их судьбу, помогают с работой.

Коэффициент полезного действия комиссии весьма велик. Среди бывших заключенных мы обрели много друзей. Главное: абсолютное большинство их (людей с весьма сложными судьбами) — стали настоящими людьми.

Значительно снизился в районе процент хулиганства, воровства и других преступлений. Так что комиссия работает к обоюдной выгоде и общества и людей, ранее изолированных от этого общества.

Читая Ваш материал, я подумал, что случай с Юрием Пареньковым, бесспорно, вызвал к восстановлению справедливости.

Но статья утвердила меня в мнении, что и работа комиссии поможет многим искалеченным людям исправиться, найти дорогу в жизни. И что это один из эффективных методов работы, над которым стоит подумать.

С уважением В. Федотов». Через несколько дней я зашла в обком партии. Разговор с Виктором Павловичем Федотовым был длинным: о работе комиссии, о судьбе Юры. А в заключение Виктор Павлович сказал:

— Вот что подумалось: надо бы Паренькова привлечь к лекционной работе. Разумно и действенно, чтобы он выступал в колониях. Ведь вы говорили, что человек он неглупый, начитанный? Так? Поговорить сможет. Ну, а что касается аргументов, их у него достаточно. Для заключенных такая лекция будет служить наглядным доказательством, что человек — хозяин своей судьбы, что, как бы ни сложна была прежняя жизнь, изменить ее можно. Вас не пугает, что я вот так — по-деловому, утилитарно? Пусть Юрий взвесит это предложение...

А обрыве, участливые письма — как рукопожатия друзей. Я оставила их Юре Паренькову, чтобы он оценил, сколько их, людей, думающих о нем, беспокоящихся о его судьбе, уверенных в твердости его духа.



Феликс Зигель

У ПОРОГА НЕВИДАНЫХ ВСТРЕЧ



Рисунки
Б. Киштымова

«Не видно причин, почему бы, неограниченно развиваясь, разумная жизнь не стала проявлять себя в общегалактическом масштабе».

И. С. Шкловский
(«Вселенная, жизнь, разум»)

«Космическое присутствие разума мы можем не заметить не потому, что его нет, а из-за того, что он ведет себя не так, как мы ожидаем».

С. Лем
(«Сумма технологий»)

Сначала сформулируем проблему так, как это принято в современном естествознании.

Основное направление развития земной цивилизации заключается в том, чтобы постепенно овладеть для нужд человечества все большими количествами вещества и энергии. Сейчас этот технологический прогресс совершается во все нарастающем темпе. Если так будет и впредь, то за весьма короткие в астрономических масштабах сроки (всего за какие-нибудь десятки тысяч лет!) технологическая деятельность человека, по-видимому, распространится не только на всю Солнечную систему, но и на значительную часть Галактики.

Нет никаких оснований думать, что земная цивилизация — единственная в Галактике и тем более во Вселенной. Можно полагать: подобных цивилизаций много, а некоторые из них, вероятно, старше человечества на миллионы, а может быть, и на миллиарды лет. Есть основание думать, что технологический прогресс — неизбежная форма деятельности если не всех, то по крайней мере большинства цивилизаций.

Но тогда непонятно (и в этом суть проблемы!), почему космос не кишит жизнью? Почему разумная деятельность внеземных цивилизаций не проявляет себя в общегалактических масштабах? Почему, нако-

пец, на нашей Земле нет «гостей из космоса» и человечество до сих пор не вступило в контакт с многочисленными «братьями по разуму»? Почему?

Космос выглядит совершенно безжизненным, хотя, судя по всему, он должен быть густо населен. Или цепочка рассуждений, которая приводит нас к выводу о «повсеместной» цивилизации космоса, содержит какие-то непрочные звенья, принципиальные ошибки, или...

Но здесь мы ставим многоточие. А пока поговорим о правомерности наших «почему».

Итак, есть ли ошибка в приведенных рассуждениях?

«ВЕК ЭКСПОНЕНТЫ»

Если в самых общих чертах охарактеризовать творческую деятельность человечества за все время его существования, то действительно, это был процесс овладения веществом и энергией во все возрастающих масштабах. И каменный топор первобытного деятеля и ядерный реактор современного физика — все это технологические средства, преследующие одну и ту же цель: заставить «косное» вещество и естественную, «неуправляемую» энергию работать на человека.

Ныне человечество создало техносферу — преобразованную трудом внешнюю, искусственную «оболочку» Земли. Это не только пашни и каналы, города и дороги, наземный и воздушный транспорт, но и вообще все продукты земной цивилизации, так или иначе преобразующие вещество и энергию.

Общее количество вещества, вовлеченного в техносферу и составляющего ее, так сказать, вещественную основу, сегодня близко к 100 миллиардам тонн.

Напомним, что земной шар весит примерно в 10 миллиардов раз больше. Значит, пока техносфера составляет всего 0,00000001 доли процента веса нашей планеты. Однако «весомость» техносферы, как мы сейчас убедимся, определяется не физическим весом, а главным образом тенденцией к неограниченному прогрессу.

Заметьте — технологические успехи человечества всегда сопровождалась экспансией, расширением сферы деятельности. Человечество постепенно расселилось по всей планете, и сейчас нет ни одного материка (включая Антарктиду), где человек не стремился бы использовать технику для покорения природы.

И еще одна важная деталь — технологический прогресс человечества всегда до сих пор сопровождался ростом его численности. Если в начале нашей эры на всей Земле жило всего около 20 миллионов человек, то ныне ее населяют 3,3 миллиарда, а к концу века население Земли должно удвоиться.

Мы живем в «век экспоненты». Какую бы область человеческой деятельности ни взять, ее численный прогресс происходит по закону «сложных процентов», который графически изображается кривой, называемой экспонентой. Численность населения Земли, количество ученых или научных журналов, мощность предприятий и т. д. и т. п. — все это удваивается ныне за очень короткие сроки, примерно от 10 до 25 лет. Любопытно, что сами темпы роста не остаются неизменными. Они также подчиняются «закону экспоненты», а значит, и сам «период удвоения» постепенно (и очень быстро!) укорачивается. Образно говоря, человечество стремительно, с каждым годом все быстрее и быстрее взлетает на вершины технологического могущества, масштабы которого сегодня даже трудно себе представить. Этот взлет чреват не только блистательными победами человека над стихиями, но и потенциальными, подчас весьма серьезными затруднениями. Иногда это даже начинает угрожать самому существованию земной цивилизации.

Мы хотим обратить внимание читателя на то, что дальнейший технологический прогресс человечества может привести к освоению космоса сначала в масштабах Солнечной системы, а затем, быть может, и всей Галактики.

В самом деле, примем, что годовой прирост во всех сферах человеческой деятельности и впредь останется равным 4%. Это еще самый долгий — 25-летний «период удвоения». Тогда формально получается, что всего за какие-нибудь 2 000 лет человечество способно технологически освоить 10^{45} тонн вещества, что равно массе более десяти миллионов галактик!

А производство энергии? И здесь получаются числа, сокрушающие наше воображение. Всего через 800 лет человечество способно будет вырабатывать столько же энергии, сколько Солнце, а через 1 500 лет — столько, сколько все полтора десятка миллиардов звезд нашей Галактики!

Ясно, что в земных масштабах организовать подобное сверхмощное производство просто невозможно: откуда взять столько вещества и энергии? Значит, очень скоро технологически совершенствоваться человечество сумеет, вероятно, только в космосе. Поэтому современная космонавтика, судя по всему, не временное увлечение, а начало расселения человечества в космосе, зачаток грядущего космического могущества земной цивилизации.

Хватит ли деятелей для решения столь грандиозных задач, хватит ли рабочих рук? На этот счет можно не беспокоиться. Если и впредь человечество будет размножаться, как сегодня, то через тысячу лет на каждом квадратном метре (именно, метре, а не

километре) земной суши придется разместить 23 человека. Спустя же еще тысячу лет общая масса человеческих тел станет равной массе земного шара! Очевидно, что такая «сверхармия» деятелей сможет действовать только в космосе, а на Земле подобные темпы прироста уже в обозримом будущем потребуют какого-то регулирования.

Когда-то Мальтус видел выход из этого устрашающего парадокса в братоубийственных войнах, в периодических массовых «кровапусканиях». Этому человеконенавистническому выводу буржуазного социолога Константина Эдуардовича Циолковского противопоставил оптимистическую идею, идею практически безграничного технологического прогресса человечества, «роящегося» в просторах Млечного Пути.

Хватит ли знаний для космического производства в масштабе Галактики? И здесь нет оснований для беспокойства. Уже сегодня общий объем знаний, то есть объем информации, получаемой человечеством,



удваивается каждые 10 лет. Если так будет и дальше, то через 2 000 лет объем информации возрастет в 10^{80} раз (что, кстати сказать, превысит общее число атомов во всей наблюдаемой части Вселенной!). Такой объем информации, по-видимому, просто нельзя запомнить. Да уже и сейчас мы испытываем серьезные затруднения не от недостатка знаний, а скорее от нашего (будем надеяться, временного!) неумения обуздать лавину обрушивающейся на нас информации. Кто из нас успевает читать все то, что нужно

для его работы, не говоря уже о «развлекательном» чтении? Кто из школьников и студентов не испытывает острой нужды в свободном времени? Кто из преподавателей не жалуется на невозможность «уложиться в срок» при непрерывно распухающих программах? Об этом «информационном взрыве» можно говорить часами, и его преодоление — едва ли не одна из самых главных проблем современного человечества. Будем оптимистами, поверим вслед за Циолковским, что человечество, говоря его словами, «извернется» и здесь. Тогда космическое будущее земной цивилизации вырисовывается в масштабах, трудно поддающихся воображению.

Почти бесчисленная армия человеческих существ сделает своим домом не только Солнечную систему, но и всю Галактику или в крайнем случае некоторую, но существенную ее часть. Человеческая техносфера преодолест рамки земной колыбели и приобретет галактический размах. Как именно, в каких формах преобразует человечество вещество и энергию Галактики, сказать конкретно трудно. Тем не менее я позволю высказать несколько самых общих своих мыслей. Иные из них — отдаю себе в этом отчет — могут вызвать возражения, споры. Ну, что-ж, как известно, споры нередко рождают истину или, во всяком случае, способны приблизить к ней!

Человек не может жить непосредственно в мировом пространстве или в солнечной атмосфере. Для него, как и всякого белкового организма, нужны определенные температурные и иные условия внешней среды. Хотя они достаточно широки, а с прогрессом технологии еще более расширятся, можно думать, что основой человеческих жилищ останутся и впредь твердые (а не жидкие или газообразные) тела. Будут ли это естественные планеты или какие-то исполненные искусственные конструкции (типа, например, знаменитой сферы Дайсона — Циолковского), сказать сейчас трудно — скорее всего и то и другое. Во всяком случае, продуктом деятельности будущего человечества в Галактике, вероятно, будут какие-то твердые тела, а человечество будет заинтересовано в максимальном увеличении (для расселения и других целей) числа таких твердых тел, в частности конструкций. Следовательно, овладеть веществом мы сможем, только увеличивая твердые тела в Галактике, преобразуя газообразные тела в твердые.

Что же касается производства энергии, то какой бы ни была будущая земная цивилизация, она не сможет неограниченно накапливать эту энергию в каком-либо замкнутом объеме пространства. В противном случае температура такой замкнутой системы неограниченно возрастет. Вывод очевиден: хотя бы часть вырабатываемой энергии человечество непременно станет излучать в мировое пространство, скорее всего в форме электромагнитных волн. Но тогда разумно будет использовать это неизбежное излучение как средство связи с другими цивилизациями космоса. Для этого его нужно кодировать, то есть превратить в сигналы (например, меняя мощность излучения). Такое потребует относительно небольших дополнительных затрат энергии. Подсчитано, что, используя только сантиметровый и дециметровый диапазон радиоволн, можно передать (сразу на всех волнах этого диапазона) колоссальное количество информации. Если, например, закодировать в двоичной системе все знания (конкретно книги и статьи), накопленные человечеством за все века его существования, а затем передать эти сведения через названный канал информации, то радиопередача займет всего несколько минут! Такова «емкость» электромагнитного излучения, и таковы возможности космических радиопередач будущего человечества.

По словам Циолковского, это будет и «бездна могущества». Самое поразительное, что человечество, принципиально говоря, сможет достичь такого могущества всего через десять — двадцать веков!

Идет лишь второе десятилетие космической эры, а межпланетные автоматические станции уже успешно исследуют Луну и планеты, совершили посадки на их поверхности — достаточно вспомнить недавнее чудо советской техники, успешный полет двух автоматических «Венер». Вслед за Юрием Гагариным в космос отправились другие космонавты, и их полеты стали почти регулярными. Уже осуществлена первая посадка человека на Луну. И все это менее чем за полтора десятилетия! Какая же «бездна могущества» ожидает человечество через тысячи лет?

ОСТОРОЖНЫЕ ЛИРИКИ

Я знаю людей, недовольных успехами космонавтики. Нет, это не те обыватели, которые после каждого триумфа космонавтов притворно охают о «выброшенных в космос» громадных суммах. Речь идет о людях серьезных, отлично разбирающихся в науке и технике, прекрасно понимающих, что сегодняшние затраты уже в обозримом будущем окупятся сторицей. Тем не менее они отрицательно относятся к бурному технологическому прогрессу современного человечества.

Огромная положительная роль техники в жизни человечества очевидна даже для самых отъявленных скептиков. Есть, однако, и оборотная сторона медали.

Постепенно расширяясь и совершенствуясь, техносфера (чего греха таить) вытесняет биосферу. Редко леса, отступают поля под натиском быстро растущих городов и поселков. Уничтожается (и подчас без необходимого воспроизводства) животный мир. В некотором, отнюдь не отдаленном будущем «единый город скроет шар земной». Черты такого будущего уже сегодня можно усмотреть в стремительном росте городов. Есть «сверхгорода»-мегалополисы — Токио и Осака, Нью-Йорк и Бостон и т. п. Если дело пойдет таким темпом, то в искусственном панцире, который покроет нашу планету, очаги растительной и животной жизни останутся, вероятно, лишь в самых минимальных, необходимых дозах.

Техника отравляет атмосферу (вспомните хотя бы ядовитый смог — бич центров западной цивилизации). Рост транспорта затрудняет уже сегодня движение не только в городах, но даже и на междугородных шоссе. Примеры подобного рода легко умножить. Но самый большой вред противники технологического прогресса видят в отрицательном влиянии техники на душу человека. Все убыстряющийся темп нашей жизни порождает нервозность, суетливость. Нам вечно «некогда», и многие из нас отдыхают душой только тогда, когда в свободный день окажутся в уединении на лоне природы. Но прочно ли это лono и удержится ли человеку в будущем где-либо уединиться на Земле?

Разумеется, в условиях социалистического общества трудности технологического развития могут и должны быть оптимизированы. Именно социалистическое общество — на основе управляемой научно-технической революции — предоставляет своим гражданам все больше благ, возможностей всестороннего развития. Но тем не менее все же кое у кого возникают сомнения в целесообразности всякого дальнейшего технологического прогресса. Не лучше ли, возражают скептики, пока не поздно, ограничить-ся допустимым минимумом населения и все средств-

ва обратить на улучшение жизни здесь, на Земле? А вместо космических программ заняться душой человека, так сказать, гуманитарной стороной его существа? Не в космических полетах, а в музыке, живописи и иных видах искусства находить внутреннее удовлетворение жизнью. А космос оставить в покое — ведь давно уже подмечена та бесспорная истина, что «нельзя объять необъятное».

Такова (конечно, в самых общих чертах) позиция противников технологического прогресса. Просто отмахнуться от нее не удастся. Хотя, разумеется, решение космических задач несколько не отвлекает и не должно отвлечь человечество от проблем разумного устройства всех сторон жизни на Земле. Тем не менее сомнения скептиков можно понять — ведь все мы не только «физики», но и «лирики».

Странная вещь — пишется множество книг о будущем человечества, о ближних и дальних перспективах космонавтики, на наших глазах возникла футурология. Но попробуйте во всей этой литературе отыскать космические программы гуманитариев. Что же, изумительные успехи космонавтики не имеют к ним никакого отношения?

Мне, вероятно, скажут, что уже существует «космическая» живопись Андрея Соколова и Алексея Леонова, что стихи на космические темы составят уже не один сборник, что уже сложены песни о «пыльных тропинках далеких планет» и т. д. и т. п. Но если только в этом заключается «космизация» живописи, литературы и музыки, то, право же, о подобных космических программах не стоит и говорить. Ведь пока «космическое» содержание и в литературе и в искусстве обложено в чисто земные, традиционные формы, не имеющие в себе ничего принципиально нового.

Какой будет музыка через сто лет? Как монументальная скульптура предполагает использовать космическую материю и космические масштабы для своих произведений? Сохранятся ли театр и кино через тысячу лет и будут ли историки писать историю космической эры на манер Нестора или как-нибудь иначе? Если еще К. Маркс призывал формировать «материю также и по законам красоты», то не найдет ли этот призыв наиболее полное воплощение в космосе, в космической архитектуре? Право уже сегодня выделило космическую ветвь — чем займутся юридические науки через сто, двести лет? А философия? А социология — не придется ли ей изучать законы развития обществ разумных существ на многих планетах и не появится ли когда-нибудь «сравнительная космическая социология»? И, наконец, если изменятся технологические средства живописца, то что, как и зачем он будет изображать в космосе?

Я понимаю, что, увеличивая количество вопросов, мы не упрощаем, а усложняем проблему. Возможно, что некоторые из этих вопросов покажутся гуманитариям неожиданными, другие просто нелепыми, но, заранее соглашаясь на любые их реакции, я хотел бы от имени «физиков» сохранить один вопрос: есть ли космическое будущее у гуманитарных наук?

Разумеется, мы имеем в виду условия коммунистического общества, общества единого.

Может показаться, что мы отвлеклись от основной темы этой статьи. Но это не так. Если у гуманитарных наук нет космического будущего, если они прочно «заземлены», то это обстоятельство делает принципиально возможным не технологический,

а гуманитарный путь развития цивилизации в рамках родной планеты.

В самом деле, человек будущего должен быть гармоничен — с этой азбучной истиной все согласны. Но если такая гармония недостижима в космосе, если «физик» и «лирик» могут гармонично сочетаться только в рамках одной планеты, без космического взлета на вершины технологического могущества, тогда подобная «нетехнологическая» цивилизация никак не проявит себя в космосе, и мы о ней ничего не узнаем. Не потому ли и «молчит» космос? Может быть, технологический взлет человечества — уникальное уродство, а остальные цивилизации космоса благо разумно сосредоточились на «самоусовершенствовании», каждая строго в границах своей родной колыбели?

Не знаю, как вам, но мне подобная ситуация кажется крайне маловероятной. Судя по всему, самой природе мыслящего существа глубоко антипатично самовольное, сознательное ограничение разума. Наоборот, и в нас и, надо думать, во всех разумных обитателях космоса заложена самой природой жажда безграничного познания, стремление к ничему не сдерживаемому покорению природы.

Недавно Н. С. Кардашевым, известным молодым советским астрономом, предложено следующее, весьма общее и глубокое по смыслу определение цивилизации: «Цивилизация есть высокоустойчивое состояние вещества, способное собирать, абстрактно анализировать и использовать информацию для получения максимума информации об окружающем и самом себе и для выработки сохраняющих реакций».

Если это так, то технологический путь развития — основной, главный почти для всех цивилизаций космоса. И, несмотря на отсутствие космических программ гуманитариев (а как хотелось бы их иметь!), мы верим, что не только на Земле, но и в космосе возможно всестороннее развитие разумных существ. Более того, совершенная технология облегчит и искусству и культуре их неизбежную «космизацию». Попытки представить себе конкретно, как это совершится, уже предприняты (см., например, книгу С. Лема «Сумма технологий»). Было бы, однако, очень интересно услышать прогнозы в области гуманитарных наук из уст их крупнейших представителей.

Будем считать, что и «физики» и «лирики» найдут в космосе самое совершенное воплощение всех своих заветных стремлений. Но почему же тогда Вселенная является нам такой безжизненной?

ГИПОТЕЗА САМОУБИЙСТВ

Мы можем только гадать о количестве обитаемых планет в нашей Галактике. Существуют различные оценки, подробный анализ которых приведен, в частности, в книге И. С. Шкловского «Вселенная, жизнь, разум». Примем самую оптимальную оценку — несколько десятков миллионов высокоразвитых цивилизаций на каждую из галактик, подобную нашей. Пусть даже эта оценка преувеличена в десятки, сотни, тысячи раз. Но и тогда, стало быть, есть тысячи внеземных цивилизаций, далеко обогнавших в технологическом отношении человечество. Почему же ни одна из них никак заметно себя в космосе не проявила?

Некоторые из зарубежных ученых (С. Хорнер, Р. Брейсуэлл и другие) предлагают крайне пессимистическое решение проблемы. По их мнению, все

разумные сообщества космоса, достигнув стадии развития, близкой к той, которую переживает ныне человечество, неизбежно гибнут, так сказать, на пороге своей космической эры. Причины могут быть разными. В одних случаях это самоуничтожение цивилизации в результате истребительной термоядерной войны, в других — генетическое вырождение под действием повышенных доз радиации. К гибели может привести также и духовное вырождение, космические катастрофы, неожиданное освобождение каких-то неуправляемых смертоносных сил природы и многое другое.

Так или иначе, но, как полагают эти ученые, бесславный конец ждет каждую цивилизацию, и, по словам Р. Брейсулла, «грустно подумать о том, что, потратив так много лет на то, чтобы достигнуть познания окружающей Вселенной и научиться частично управлять ее силами, технологически развитые общества могут исчезать со скоростью одно-два общества в год в различных частях Галактики, так и не узнав своих соседей».

Что можно сказать о таком решении проблемы? Несомненно, в развитии каждой цивилизации, как и каждого организма, есть трудные периоды. Но полагать, что все цивилизации, только вступающие на космический путь развития, совершенно обязательно погибнут, равносильно утверждению, что каждый юноша... обрывает жизнь самоубийством. Исключения такого рода, конечно, возможны, но делать это всеобщим правилом нет никаких оснований.

Технологическое развитие дает цивилизации огромные возможности для успешной борьбы с враждебными силами природы. Уже сегодня на примере человечества справедливость этого тезиса очевидна. Если опасность всеобщей термоядерной войны будет устранена (а все мы в это твердо верим и этого добиваемся), то уже к концу текущего века человечество станет практически полным властелином своей планеты, а может быть, и ее космических окрестностей. Что же тогда помешает дальнейшему прогрессу? Космические катастрофы? Но они крайне редки. Духовное и физическое вырождение? Но нет и следов движения к такому печальному концу — прогресс идет в прямо противоположном направлении.

Видимо, ошибаются пессимисты. Без всяких оснований обреченность буржуазного мира зарубежные ученые психологически преобразуют в ложный тезис о неизбежной гибели любого общества разумных существ.

Еще несколько лет назад академик В. А. Амбарцумян на заседании Президиума Академии наук СССР заявил:

«Сегодня раздаются голоса: поскольку мы не увидели никаких следов других цивилизаций, то, может быть (а такая точка зрения совершенно неправильна), всякая цивилизация кончается самоубийством. Такая неправильная, ни на чем не основанная точка зрения высказывается в печати. Мы должны противопоставить этому взгляду правильную точку зрения».

Эта правильная точка зрения оптимистична. Основываясь на всем опыте человеческой науки, она утверждает, что, хотя «все возникающее достойно гибели» и в мире ничто не вечно, кроме вечно движущейся материи, продолжительность космической эры для очень многих цивилизаций должна измеряться тысячами, миллионами, а может быть, и миллиардами лет.

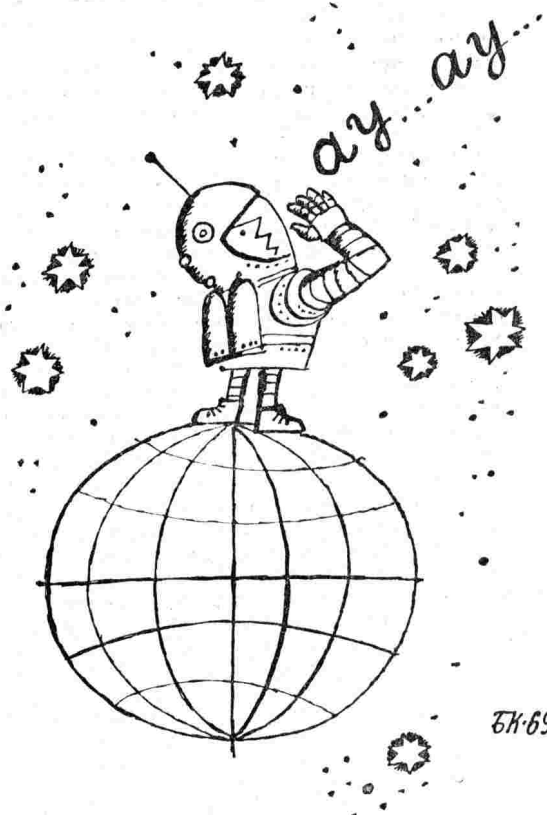
Но — снова и снова — почему же все-таки тогда космос безмолвен?

А логичные рассуждения не привели нас пока к определенному выводу. И тут некоторым читателям может показаться, что мы сознательно усложняем проблему. А на самом деле есть весьма простое, все объясняющее решение: человечество — самая старая цивилизация космоса. Все остальные или уступают ему в возрасте, или, в крайнем случае, являются нашими сверстниками. В этом случае космос «молчит» просто потому, что ни одна цивилизация еще не доросла до «космического» уровня.

Просто? Да. Верно? К сожалению, нет.

Как известно, одна из наиболее характерных особенностей наблюдаемой части космоса — всеобщее расширение системы галактик. Это явление, спектроскопически выражающееся в знаменитом «красном смещении», по-видимому, вызвано каким-то сверхмощным взрывом сверхплотного сгустка первичной материи, заключавшим в себе потенциально всю наблюдаемую нами Вселенную. Событие это произошло не менее 10 миллиардов лет назад, тогда как возраст Солнца и всей нашей планетной системы примерно вдвое меньше. В пользу такого заключения говорит ряд астрофизических данных, в частности физические свойства Солнца как звезды, а также его положение и движение внутри Галактики.

Но если Солнце — звезда второго поколения и есть гораздо более старые звезды, а значит, и другие планетные системы по возрасту почти вдвое старше нашей, то тогда человечество можно считать молодым. Цивилизацией второго поколения. Что же касается



древнейших цивилизаций космоса, то, обогнав в возрасте человечество на миллиарды лет, они должны были уже давно достичь галактических масштабов в своей технологической деятельности.

Здесь мне снова хочется подчеркнуть, что нетехнологический путь развития крайне маловероятен. Согласитесь, что без технологии не было бы и цивилизации. А достигнув уровня, сходного с человеческим, любая внеземная цивилизация вряд ли избежит соблазна и впредь совершенствовать свою технологию.

Мыслимо ли, например, чтобы какое-нибудь из земных государств самостоятельно решило вдруг сократить рождаемость своих сограждан, свернуть производство и предаться созерцательно-лирическому существованию? В действительности наблюдаются прямо противоположные тенденции. Технологический взлет, переживаемый человечеством, во многом есть процесс автономный, самодвижущийся, возносящий нас на вершины технологического могущества.

Но где же живое наше будущее, где все эти сообщества, перекраивающие Галактику на свой манер и вкус? Где они?

И тут мы подошли к неожиданному, парадоксальному решению проблемы. Разум присутствует в космосе, мы видим следы его деятельности, но, не понимая как следует происходящее, приписываем наблюдаемым явлениям естественные причины.

СИГНАЛЫ...

Разрабатывая критерии разумности сигналов внеземных цивилизаций, мы, конечно, остаемся при этом людьми. Мы смотрим на вещи с нашей, земной «колокольни», приписываем инопланетянам нашу психологию, наши мотивы, побуждающие к действиям. Оправдано ли это? Отчасти, по-видимому, да.

Мы и «они» живем в одной Вселенной, подчиненной всюду одним и тем же законам природы, имеющей повсюду один и тот же вещественный, химический состав. Природа никогда ничего не творит в одном экземпляре (хотя, конечно, нет в природе и двух абсолютно тождественных объектов). Надо думать, что и человечество не уникально, и существует еще множество других человекоподобных внеземных цивилизаций. По крайней мере, с такими инопланетянами, вероятно, можно договориться, понять друг друга. Это, разумеется, не исключает существования иных сообществ, непохожих на человечество, быть может, построенных даже на иной химической основе (небелковые формы жизни!). Таких деятелей космоса понять, вероятно, труднее, но есть некоторые общие свойства любого Разума — смотри кардашевское определение цивилизации. Это вселяет надежду на успех даже в самых трудных случаях.

В чем же и как должна проявиться разумная деятельность внеземных цивилизаций? Если они посылают сигналы, то какие они и как разгадать их смысл?

Уже говорилось, что внеземные цивилизации (по крайней мере близкого нам типа), по-видимому, должны создавать твердые тела и излучать энергию (в форме волн или частиц). Стоит подчеркнуть, что при всех преимуществах радиосвязи по сравнению с другими известными формами связи, внеземные цивилизации, принципиально говоря, могут избрать какой-либо иной, недоступный нам пока способ общения (например, с помощью нейтрино). Ведь всего каких-нибудь сто лет назад мы понятия не имели о радиовол-

нах, и надо думать, что будущее преподнесет нам еще большие сюрпризы в области средств связи.

Предположим, однако, что именно радиосвязь есть главная (хотя, может быть, и не единственная) форма связи между космическими цивилизациями. Тогда «разумные» радиосигналы должны иметь вполне определенные характеристики, в частности:

а) так как желательно охватить радиопередачами максимальное число абонентов, радиоизлучение должно быть изотропным, то есть направленным сразу во все стороны («вещание на всех»);

б) межзвездная газовая среда сама излучает естественные, «тепловые» радиоволны, мешающие космической радиосвязи. Значит, учитывая это, радиопередачи должны использовать тот диапазон (сантиметры и дециметры), где эти помехи наименьшие;

в) превратить радиоизлучение в сигнал можно, меняя или его интенсивность, или длину волны, или то и другое одновременно. Здесь есть полная аналогия с музыкой, с игрой на фортепьяно, когда меняются и интенсивность и высота звука. Значит, искусственные радиосигналы должны быть своеобразной «музыкой небесных сфер»;

г) естественно использовать радиопередачи с максимальным коэффициентом полезного действия. Для этого самое лучшее — излучать во всех длинах волн, причем тем сильнее, чем меньше помехи для данной длины волны. Иначе говоря, наиболее содержательные, «информативные» сигналы должны иметь непрерывный «шумовой» радиоспектр. Это, конечно, не исключает, что часть передач может вестись по земному образцу, то есть на отдельных, вполне определенных и неизменных во время передачи длинах волн;

д) хорошо известно, что земные радиостанции передают поляризованное радиоизлучение (то есть колебания в радиоволне происходят в некоторой одной «преимущественной» плоскости). По этой причине антенны телевизоров располагаются не как попало, а вполне определенно по отношению к антенне передающей станции. При ином расположении качество изображения на экране телевизора ухудшается.

По ряду причин и внеземные цивилизации должны передавать поляризованное радиоизлучение. Можно было бы назвать и другие «критерии искусственности», но ограничимся этими, самыми главными.

КВАЗАРЫ, МИСТЕРИУМ И ПУЛЬСАРЫ

В 1963 году были открыты странные объекты, сначала названные сверхзвездами, а затем квазарами. Внешне, при наблюдении в телескоп, похожие на обычные звезды, квазары отличаются от последних прежде всего необычайно мощным радиоизлучением. Судя по спектру, квазары находятся далеко за пределами нашей Галактики. Подобно обычным галактикам, они удаляются от Земли, и среди них есть такие, расстояния до которых измеряются миллиардами световых лет.

Квазары не звезды и не галактики (в обычном понимании этого слова). Они излучают свет гораздо мощнее самых крупных галактик, а значит, и масса их должна быть исключительно велика. В то же время некоторые из них за весьма короткие сроки (иногда недели, дни и даже часы) меняют свою яркость. Из этого следует, что размеры квазаров сравнительно невелики, так как процесс, изменяющий яркость объекта, охватывает этот объект за короткий срок (имея скорость распространения, во всяком случае,

не больше скорости света). Следовательно, квазары не только весьма массивны, но и очень плотны. Все эти факты интересовали бы только астрономов, если бы неожиданно не выяснилось, что радиоизлучение квазаров во многом напоминает искусственное.

В отличие от заведомо естественных источников космического радиоизлучения (так называемых радиогалактик) квазары сильнее всего излучают в сантиметровом и дециметровом диапазоне, то есть там, где помехи минимальны! Их радиоизлучение поляризовано. Но самое замечательное — быстрые перемены «радиояркости» некоторых квазаров. В 1966 году было замечено, что квазар СТА-102 (таково его условное обозначение) периодически меняет свою радиояркость с периодом около 100 дней. Между тем другой квазар, СТА-21, во всем похожий на первый, неизменен. Любопытно, что в настоящее время, по-видимому, прекратил свои колебания и квазар СТА-102. Есть, однако, и другие квазары (например, ЗС-446), заметно меняющие свою радиояркость иногда даже за несколько часов.

Объяснить все эти странные явления известными нам естественными процессами пока не удается. Быстрые перемены радиояркости, по-видимому, возможны лишь при так называемом когерентном («согласованном») радиоизлучении, что характерно только для искусственных радиостанций.

Квазары — одни из самых древних объектов космоса: расстояния до них измеряются миллиардами световых лет. Не есть ли они продукты деятельности цивилизаций первого поколения? Не называем ли мы квазарами древние галактики, преобразованные технологической деятельностью их разумных обитателей?

Совсем недавно земная техника обогатилась открытием квантовых генераторов излучения — лазеров и мазеров. Сейчас это чудо земной техники нашло себе применение в самых разнообразных областях. Представьте же себе изумление астрономов, когда в 1965 году они обнаружили в космосе необычайно мощные действующие лазеры! Оказалось, что внутри некоторых разреженных газовых туманностей есть источники излучения, очень похожие на лазеры (точнее, мазеры), излучающие радиоволны с длиной волны около 18 см. Никаких естественных причин (то есть тел, способных давать такие излучения) в туманностях как будто нет. С другой стороны, это излучение поляризовано и в отдельных случаях заметно меняется изо дня в день. Судя по быстрым изменениям, источники этого радиоизлучения по размерам сравнимы с нашей планетной системой и, разумеется, в отличие от квазаров принадлежат к нашей Галактике (как и те газовые туманности, внутри которых они находятся).

Новая загадка природы получила наименование «проблема мистериума». Нельзя ли считать источники «мистериума» внеземными цивилизациями, освоившими пока что только свою планетную систему?

Сенсация 1968 года — открытие пульсаров. В начале этого года их насчитывали уже около трех десятков. Как и в двух предыдущих случаях, пульсары обратили на себя внимание необычным радиоизлучением. Английские астрономы, открывшие первые пульсары еще в конце 1967 года, несколько месяцев хранили в строжайшей тайне свое открытие. Причина — в удивительном сходстве радиоизлучения пульсаров с искусственными радиопередачами. По их собственному признанию, английские астрономы боялись, что огласка вызовет сенсационную шумиху и даже панику!

Пульсары и на самом деле объекты поразительные. Их радиоизлучение пульсирует (отсюда наименование) с потрясающей ритмичностью. Например, первый из открытых пульсаров меняет свое радиоизлучение с периодом 1,33730113 секунды! Точность от одного периода до другого сохраняется до последней цифры после запятой. Позже открыли пульсары с еще меньшими периодами (до 0,33 секунды), хотя и наибольший из известных периодов (1,96 секунды) также очень мал.

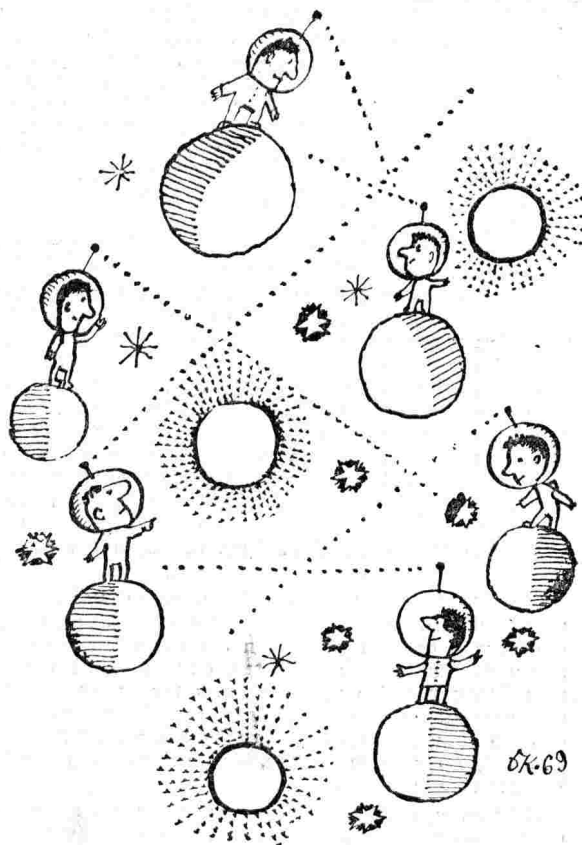
Замечательно, что пульсары «работают» с перерывами, а во время «передачи» меняют длину волны (вспомните аналогию с музыкой). Так, например, у первого пульсара (его условное обозначение СР-1919) на протяжении каждого цикла в течение 0,2 секунды длина излучаемых радиоволн меняется от 3,70 до 3,75 метра. Затем наступает пауза, длящаяся почти 1,1 секунды, а потом начинается новый цикл. А иногда бывает и так, что «передачи» прерываются на несколько минут, чтобы затем возобновиться с прежним периодом! Меняется у пульсаров и мощность радиоизлучения. Советские радиоастрономы, например, подметили, что за несколько месяцев мощность «передачи» некоторых пульсаров возросла в несколько раз.

По ряду причин можно сделать вывод, что известные пока что пульсары находятся от Земли на расстояниях в сотни или тысячи световых лет, то есть, как и источники «мистериума», они принадлежат нашей Галактике. Из чрезвычайной быстроты изменений радиоизлучения пульсаров неизбежно следует, что это объекты очень маленькие (в астрономическом смысле), во всяком случае, они не крупнее Земли. Что же тогда это такое?

«Мысль о сигналах разумных существ приходит первой», — писал вскоре после открытия пульсаров академик Я. Б. Зельдович, — но уверенность в том, что мы имеем дело с цивилизацией, обладающей разумом, должна приходить последней — после того, как исчерпаны и отвергнуты другие объяснения». Рассуждение, бесспорно, справедливое, и оно оправдывает все те попытки, которые сейчас предпринимаются для естественного объяснения загадки пульсаров. Самое убедительное из высказанных объяснений то, которое считает пульсары сверхплотными нейтронными звездами. Этакая звездочка должна иметь очень маленький диаметр (около 10 километров!). Представьте себе, что такая звезда быстро пульсирует, периодически сжимаясь и разжимаясь. Эти пульсации тотчас преобразуются в переменное радиоизлучение.

Если же на поверхности нейтронной звезды есть область, особо сильно излучающая радиоволны (своеобразное «радиопятно»), и к тому же звезда быстро вращается вокруг оси, гипотеза как будто неплохо объясняет наблюдения. Пучок радиоволн, идущий от «радиопятна» из-за вращения звезды, периодически будет нацелен на земного наблюдателя, который только в эти моменты и фиксирует вспышки радиоизлучения. Но одновременно с этим приходят на Землю и «пульсирующие» радиоволны, порожденные пульсацией звезды. Сочетание того и другого объясняет главные свойства пульсаров.

Совсем недавно выяснилось, что некоторые пульсары лежат, по-видимому, внутри газовых туманностей, порожденных взрывами так называемых сверхновых звезд. Более того, один из пульсаров предвзительно отождествлен с ядром знаменитой Крабовидной туманности, тем самым звездобразным ядром, которое еще лет тридцать назад некоторые астрономы считали гипотетической нейтронной звездой.



дой. Все это укрепляет позиции «нейтронной» гипотезы, но отнюдь не решает всех загадок пульсаров.

Чем объяснить странные антракты в «радиопередачах» пульсаров? Почему их радиоизлучение поляризовано, хотя магнитных полей, необходимых для этого, пока не обнаружено? Удивительная ритмика пульсаров требует когерентного радиоизлучения. Но такими будут, по-видимому, обладать лишь искусственные передачи.

Вспоминается изречение одного знаменитого математика: «При достаточно сложной гипотезе можно объяснить любое явление». Не относится ли «нейтронная» гипотеза пульсаров именно к такого рода гипотезам? А с другой стороны, если все непонятное, что мы видим в космосе, объяснять деятельностью внеземных цивилизаций, то не будет ли такой подход недопустимой вульгаризацией проблемы?

ОСТАЕТСЯ... ИССЛЕДОВАТЬ

Как в этом мог убедиться читатель, в современной астрономии сложилась любопытнейшая ситуация: открыты десятки подозрительных, необычных объектов, отвечающих хотя бы некоторым главным критериям искусственности. Таковы квазары, источники «мистериума» и пульсары. Мыслимы два варианта: все эти объекты имеют естественное, хотя пока во многом для нас непонятное происхождение, или по крайней мере некоторые из них — продукт технологической деятельности внеземных цивилизаций.

Если истина соответствует первому варианту, крайне любопытно, что природа естественным образом творит в огромных масштабах такое, что, по нашему разумению, имеет все главные черты искусственности. В этом случае обидный обман со стороны природы оставляет нас в полном недоумении по поводу того, почему же в космосе нет никаких следов деятельности высокоразвитых цивилизаций.

Второй вариант лично мне (думаю, что очень многим) более по душе. Мы уже встретились с космическим Разумом, мы уже видим его проявления. Они не во всем нам понятны? Конечно. Было бы странным, если бы дело обстояло иначе. Недаром Эйнштейн однажды заметил, что «самое непонятное в мире — это то, что он понятен». Задача состоит в том, чтобы понять все, что доступно нашему разуму, в частности, попытаться расшифровать информацию, заложенную, быть может, в радиоизлучении квазаров, источников «мистериума» и пульсаров.

И тот и другой варианты настраивают исследователей на дальнейший поиск. Хочется верить, что он приведет к выводу о густой населенности космоса, о мощи Разума, успешно преобразующего косную космическую материю, о том, что человечеству предстоит практически бесконечный путь творческого прогресса — и материального и духовного.



УЛИЦА ВЕСТЕРБРОГАДЕ, ДОМ № 112

В обширнейшей программе путешествия по Дании, предложенной «Фолькетуристом» нам, группе московских журналистов, было предусмотрено и посещение ресторана на улице Вестерброгаде, одной из центральных улиц Копенгагена. Но отнюдь не своими фешенебельными ресторанами и магазинами влекла нас к себе эта улица.

Около шестидесяти лет назад в столицу Дании приехал Владимир Ильич Ленин. Он поселился на улице тогдашнего рабочего района Вестерброгаде, в доме № 112. И едва очутившись на этой улице, мы вместе с нашим гидом-переводчиком, высокой представительной дамой, отправились смотреть памятное место. День был пасмурный. Прекратившийся было дождь начал накрапывать снова, но мы долго стояли у знаменитого дома.

Нашим путеводителем была книга Геннадия Фиша «Здравствуй, Дания!».

«Во втором этаже пятиэтажного дома-казармы серого цементного цвета есть квартира № 5. В ней две небольшие комнаты и каморка для прислуги. В двух комнатах жил вагонновожатый Петерсен с женой и тремя детьми. Каморку сдавали за десять крон старой швее Марен Енсен. В августе 1910 года, уезжая на дачу, Марен Енсен уступила каморку неизвестному русскому, который должен был за утренний кофе платить пять крон сверх установленной платы. Этот русский был Владимир Ильич Ленин, приехавший на конгресс Социалистического Интернационала. Здесь, в этой каморке, Ленин прожил три недели».

Из биографии Ильича мы знаем, что почти месячное пребывание в Копенгагене было для него заполнено напряженной работой. Он участвовал в заседаниях бюро конгресса II Интернационала и работал в библиотеке над литературой по сельскому хозяйству.

Отсюда Владимир Ильич послал открытку матери, назначая ей свидание в Стокгольме, а в середине сентября совершил туда поездку, где повидался с М. А. Ульяновой и сестрой Марией Ильи-

ничной. На обратном пути из Стокгольма Ленин снова остановился в Копенгагене. Он закончил реферат на тему о международном социалистическом конгрессе, а затем возвратился в Париж.

Прошли годы. Многое изменилось на улице Вестерброгаде. Сейчас здесь сосредоточены конторы и фирмы, рестораны и магазины. В магазинах можно увидеть и продукцию советских предприятий. В салоне по продаже автомобилей выставлены, например, и наши «Москвичи».

Проводив нас до гостиницы, гид нам обещала:

— Теперь я обязательно скажу своему шефу, чтобы в план осмотра Копенгагена он включил и дом, где жил знаменитый Ленин.

Г. ХАЧКОВАНЯН



На снимке — улица Вестерброгаде, дом № 112.

Фото автора.

Саша всегда что-нибудь вычисляет. Ну хотя бы: с какой скоростью он падал бы вон с той колокольни? Он терпеть не может говорить о том, что отличает его от других студентов: то есть как поступал в университет, в каком возрасте впервые извлек квадратный корень и т. д. Репортеров к нему допускают только с разрешения ректора, иначе ему бы не только некогда было учиться, но и в кино сходило.

Мне же он сразу поведал, что вывел, наконец, этот проклятый «закон бутерброда», то есть почему он всегда падает маслом вниз. По словам Саши, этот закон непосредственно вытекает из законов Эйнштейна:

— Когда мы намазываем бутерброд, то всю энергию вкладываем в масло. Значит, масло обладает наибольшей энергией. Эйнштейн сказал: «Масса пропорциональна энергии». Вот он и падает маслом вниз. Энергия увеличивается. А может, все проще: может, хлебом упадет — мы не заметим, а маслом — запомним, потому что масла жалко, а?

Когда с разрешения ректора Киевского университета я знакомился с Сашей, он держал под мышкой пальто — спешил домой после занятий.

— Хочешь, — сказал он, — проводи меня, поговорим по дороге.

Мы ехали в метро, и Саша говорил мне:

— Хочешь, научу, как быстро подсчитать глубину любой станции метрополитена? Будешь удивлять знакомых, смотри: расстояние между фонарями — пять метров. Умножаешь на количество ламп. Все это вместе умножишь на синус угла эскалатора — получишь глубину станции, понятно?

— Ну, более-менее...

— Да? Это же просто...

— А как насчет телепатии? — спрашиваю я небрежно, но втайне надеюсь, что сейчас сам блесну эрудицией.

Он пожимает плечами:

— Что именно?

— Ну, есть она или нет?

— Давно доказано, что есть.

Я провожаю его до самого дома, и мне уже кажется, что ему не интересно со мной разговаривать, и сейчас он уйдет, и я больше к нему не прорвусь... Но он говорит неожиданно:

— Показать тебе Киев?

Идем в Печерскую Лавру. Саша обстоятельно объясняет мне, что Лавра — это попросту пещеры, где хранятся святые мощи, что

РАЗГОВОР С САШЕЙ ДВОРАКОМ

Саша Дворак был не типичным школьником. За год он, как правило, проходил два класса и закончил школу с серебряной медалью. Затем родители привезли Сашу из Горловки в Киев, и одаренный мальчик был принят, несмотря на свои двенадцать лет, на механико-математический факультет Киевского университета. Сейчас он студент второго курса. Саша Пчеляков, который беседует на страницах «Юности» с Сашей Дворак, — ученик 710-й средней московской школы. Поездка в Киев — его первая журналистская командировка.



раньше их показывали сами монахи, а потом вели в трапезную, чтобы показать за деньги, как они, монахи, обедают, но теперь их отсюда выселили, потому что нужно было платить за электричество, а они не платили, что дорога тут теперь только одна, а лабиринт отгорожен и что надписи на стенах делать воспрещается.

И вдруг он исчезает в лабиринте. Я сначала пугаюсь, что он потеряется, но, оказывается, Саша

просто спрятался в пустой нише у выхода и закрылся засовом.

Вытаскиваю его из ниши, и теперь уже он меня спрашивает:

— А у тебя рогатка была когда-нибудь?

Отвечаю, что, конечно, была.

— А какая у меня была! — говорит он мечтательно. — Эх, и была же, ну и была! Я сам ее еле натягивал...

— Почему была? — спрашиваю.

— Отец отобрал. — Он смеется.

Потом мы идем в музей возле Лавры. Экскурсовод объясняет что-то про маятник, подтверждающий вращение Земли. Саша тут же выдает мне собственные суждения по этому поводу, причем столь громко, что экскурсовод умолкает, а Сашу слушает уже вся группа.

Саша извел меня этим маятником, и я говорю ему, что мне вполне достаточно знать, что, раз эта штука отклоняется, значит, Земля вертится, и все в порядке.

— Неужели достаточно? — Он смотрит на меня вопросительно.

— Вот если маятник не отклонится...

Он вертит пальцем у своего виска.

Потом, уже в гостинице, я подвожу итоги. Да, Сашу больше всего интересует наука. И читает прежде всего фантастику, в основном Беляева. В кино смотрит научно-популярные фильмы и детективы. После университета намерен поступать в аспирантуру. Любит играть в футбол и в пинг-понг. Хотел бы прыгнуть с парашютом, но боится.

На следующий день мы встречаемся вновь. Задаю Саше последний вопрос: когда он собирается вступать в комсомол?

— Если не буду баловаться на переменах, сказали, что скоро примут.

— А как ты балуешься?

— Ну, парты сдвигаю, иногда даже переворачиваю...

Он виновато потеревил свой пионерский галстук.

— А ты в каком классе, можно спросить?

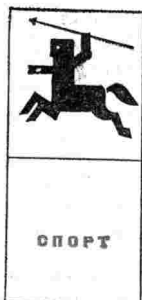
Я ответил, что в девятом, что мне уже шестнадцать лет.

Он сказал задумчиво и очень серьезно:

— Представляешь, а я никогда не учился в девятом классе...

Таков Саша Дворак, которому тринадцать лет — он единственный пионер в Киевском университете и терпеть не может, когда его интервьюируют.

А. ПЧЕЛЯКОВ



Как угодно, только не защи- щайся

Говорит
Зоя Руднова,
чемпионка мира
по настольному теннису

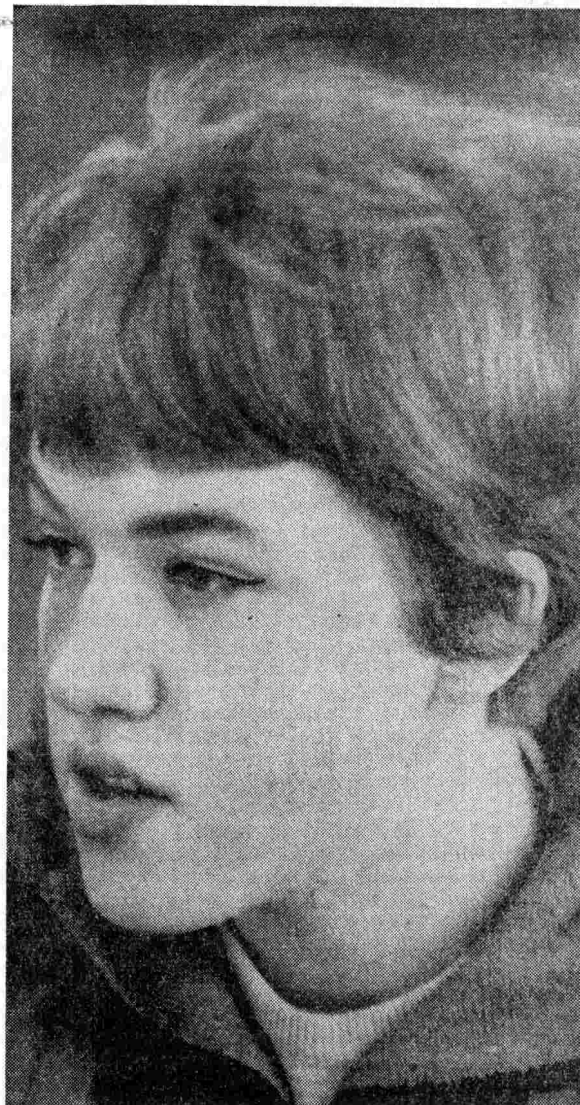
На чемпионате мира по настольному теннису в Мюнхене Зоя Руднова и Светлана Гринберг сначала обеспечили победу своей команде, а затем в личном турнире завоевали право называться сильнейшей женской парой мира.

Наш корреспондент Ю. ЗЕРЧАНИНОВ беседует с чемпионкой мира.

— **З**оя, настольный теннис — это слишком официально. Я буду говорить пинг-понг — так привычнее. Ладно?

— Конечно. Я сама говорю, что играю в пинг-понг. Хотя некоторые наши мастера обижаются, если им скажешь, что они играют в пинг-понг: дескать, в пинг-понг играют на пляжах да в домах отдыха...

— Чемпионкой мира быть, конечно, приятно, но ваш вид спорта менее популярен, чем, допустим, гимнастика или легкая атлетика. Там больше известности, славы...



— В некоторых, притом достаточно популярных видах спорта женщине приходится нынче очень трудно. На тренировках даже работают со штангой. А женщина, я считаю, не для того создана... Вот пинг-понг — это спорт для женщины. Хотя, конечно, нервная нагрузка огромна: за минуту, за полминуты разыгрывается очко. Конечно, все мы немного сутулимся у стола, и надо следить за собой, чтоб не сутулиться в жизни. К тому же мы играем и тренируемся только в залах, а не на лоне природы.

— Да, пинг-понг — игра горожан.

— А я типичная горожанка. Шум и гам меня больше устраивают, чем тишина. Чувствуешь ритм жизни. А захочется — поеду в лес и в лесу больше увижу, чем какой-нибудь лыжник, который гонится за секундами.

— Вы все же самолюбивы.

— У меня просто большое самолюбие. У меня есть друг, который никогда не хвалит меня, никогда не скажет даже после победы: «Ты молодец». Я выигра-

ла, а он: «Ну и что?» Я понимаю, что он себя так ведет специально, чтобы я не зазнавалась, чтобы больше работала, а не только на талант полагалась, а то талант помрет... Но я все равно каждый раз на него обижаюсь. У меня совершенно большое самолюбие.

— Расскажите, как вы занялись спортом.

— Во дворе нашего дома — я живу в центре Москвы, в Обыденском переулке, — стоял стол для пинг-понга. Я, как и все, немного играла, но совсем не думала, что буду играть всерьез. Я тогда в седьмом классе училась и мечтала говорить по-арабски, занималась по самоучителю. Но одна девочка из нашего двора, которая ходила играть в пинг-понг в Институт иностранных языков, где была секция, сказала мне: «Пойдем поиграем в Иняз». Я пошла, проиграла, потом стала тренироваться у студента Иняза Сергея Шпраха — и вот по сей день у него тренируюсь. Он солидный теперь, считается одним из лучших тренеров страны. А после школы я сама поступила в Иняз, изучаю английский язык.

— Многие чемпионы предпочитают Институт физкультуры...

— Я отдаю спорту достаточно много времени — хватит! И тренером, когда кончу играть, не буду, — хочу языком заниматься. В Институте физкультуры мне учиться, конечно, было бы легче, в Инязе надо каждый день языком заниматься, а я весь сезон по соревнованиям разъезжаю. И получается: то занятия пропускаю ради спорта, то, когда нахожусь дома, жертвую тренировками ради института. Но пожертвовать Инязом ради пинг-понга я не могу. Я уверена, кстати, что мало чего добились бы в спорте, если бы свела к нему всю свою жизнь. Когда мне не хочется тренироваться, я не тренируюсь. Важно, чтобы игра не превратилась для тебя в работу. Я на ночь люблю читать и засыпаю позже, чем следовало бы в согласии со спортивным режимом. Но жить по расписанию скучно. Тоска зеленая.

— Вам, очевидно, необходимо иногда забывать о пинг-понге?

— В конце сезона я играю уже без всякого удовольствия. Лишний раз повернуться не хочется. И летом мне действительно необходимо совершенно отвлечься от пинг-понга — не беру в руки ракетку и месяц и два...

— Но первенство мира, которое завершилось для вас столь триумфально, пришлось как раз на конец сезона!

— Мне уже двадцать два, а Светлане Гринберг даже больше. Мы понимали, насколько мы старые, и соответственно понимали, что Мюнхен — наш последний шанс. В нашей стране Светлана мой основной соперник. Помню, как еще в шестьдесят третьем году, когда мы обе считались восходящими «звездами», мы играли очко в очко все пять сетов в финале Спартакиады, и я выиграла решающий сет со счетом 22:20, и мы обе заплакали... Я игрок атакующий, бью и справа и слева. Мой принцип: все время нападать! Светлана играет ровно: что в нападении, что в защите. В паре мы хорошо дополняем друг друга. И в Мюнхене, я уже говорила, нами владело одно настроение: выиграть.

— Расскажите, как вы играли в Мюнхене.

— Предварительные игры командного первенства мы со Светланой расценивали как последнюю тренировку. Мы только пару играли, а одиночные встречи проводили другие девочки. Вышли в финальную группу. Жребий свел нас с командой Че-

хословакии, которую возглавляла чемпионка Европы Воштова. В прошлом году, в финале первенства Европы в Лионе, я проиграла Воштовой, хотя вела в первом сете 14:6. Воштова очень талантлива, у нее отличная реакция, и ей всего лишь шестнадцать лет! Наш тренер считал, что у второй чешки, Грофовой, я наверняка выиграю, а против Воштовой лучше играть Гринберг; если же Светлана проиграет, мы должны выигрывать пару. И он заявил меня не первой, как обычно, а второй. Я действительно выиграла у Грофовой, хотя красивой игры не было — одни нервы. Светлана к тому же победила Воштову. Парная встреча уже не могла повлиять на исход матча, но мы выиграли и пару. Победив в своей группе, мы встретились в финале с румынками. Тут опять наша команда вела тактическую игру во время жеребьевки и опять удачно. Было нежелательно, чтобы Светлана играла против очень сильной румынской защитницы Александру: счет их встреч не в пользу Гринберг. А я подрезок Марии Александру не боялась и победила ее в двух сетах. Мы выиграли у румынок финал со счетом 3:0.

Любопытно, что в финале личного турнира мы со Светланой вновь играли против румынок. Мы были столь уверены в своей победе, что во втором сете я позволила себе расслабиться, а в четвертом что-то плохо попадала Гринберг. Но в решающем сете мы собрались и довольно легко его выиграли. Гораздо труднее далась нам победа в полуфинале над командой Южной Кореи. Обе кореянки, сестры Чой, играли в остро атакующем стиле. Я держу ракетку «пером», как азиатские теннисисты. В стране и в Европе это дает мне определенное преимущество, зато против японок или кореянок, которые держат ракетку так же, мне поначалу играть трудно. А тут еще Гринберг стала отходить от стола, защищаться — и тогда кореянки меня «расстреливали». Я кричу: «Давай, Света, как угодно, только не защищайся». А кореянки уже взяли два сета и в третьем ведут 14:6. Они выигрывают очко и прыгают, орут. Наконец это нас так разозлило, что мы «завелись». Я нападаю сразу с подачи и тут с подачи 5 очков сразу выиграла. Мы разыгрались и сравняли счет сетов. В пятом сете ведем 18:17. Подает Гринберг. Она умеет обмануть противника: стоит, зал осматривает, теперь готовит, кажется, очень сложную подачу... Кореянки, естественно, нервничают, но и я не выдерживаю, говорю ей: «Хватит, подавай». Света трижды так подавала, и трижды кореянки не взяли ее подачу.

И вот мы чемпионки мира. Я думала, буду чувствовать что-то особенное, но вот сошла с пьедестала почета, и все стало на свои места: мир таков, как и прежде. Я подхожу ко всем, спрашиваю: «Боже мой, что же я должна сейчас чувствовать?..» Смешно, правда?

— И все же это был самый счастливый ваш день?..

— Нет. Я еще жду самого счастливого дня.

— А как вы представляете самый счастливый свой день? Если это не секрет, конечно... Это мой последний вопрос, Зоя.

— Я сейчас готовлюсь к истории языкознания. В голове — сплошные архаизмы и неологизмы. И свой самый счастливый день я сейчас представляю, так: лежать на берегу моря и ни о чем не думать. Вас этот ответ не устраивает? Ну, тогда придумайте что-нибудь сами. Я разрешаю.



Борис Ласкин

Привет от Димки

Рисунок В. Стацинского.

Говорят, в каждом человеке есть что-то главное, что выражает его суть. Иногда это главное легко определить совсем коротко. Про одного человека можно сказать — мысль, про другого — доброта, про третьего — мужество. Так вот, если применить эту систему к Димке, то о нем, я заявляю с полной ответственностью, о нем можно сказать — ревность. Смешно, но это именно так.

Если разложить Димкину душевную энергию на сто единиц, то на научную работу, общественную деятельность и разные интеллектуальные взлеты придется сорок единиц, на спорт — пять, на развлечения — пять. Итого половина. Другая же половина горит синим пламенем в топке ревности.

Мы знали, что в Москве живет и здравствует какая-то волшебная девушка по имени Лариса и у Димки с ней давний роман. Когда я из чистого любопытства попытался расспросить о ней, в ответ я услышал, что мне давно уже пора переплавить свое нездоровое любопытство в силу, способную двигать научный прогресс.

Теперь, когда у вас сложилось некоторое представление о Димкином характере, я расскажу вам, что у нас недавно произошло.

Как-то в середине апреля я сказал Димке:

— Старик, я отбываю в командировку.

— Далеко?

— В Москву.

— Надолго?

— На недельку. Если нужно, могу выполнить ряд несложных поручений.

— Что ты имеешь в виду?

— Могу передать привет твоей знакомой. Я готов вручить ей от твоего имени букет цветов...

Димка насторожился. Он посмотрел на меня, как бык на матadora, и холодно сказал:

— Спасибо. Я подумаю... Мне кажется, что это не обязательно.

Вообще говоря, я и не ждал другой реакции с его стороны. Беднягу Димку можно было понять: если к его девушке явится человек с моими внешними данными, скромная процедура вручения цветов может обернуться в бытовую трагедию. Девушка повнимательней глянет на посланца и тут же пошлет пославшему прощальный привет.

Димка продолжал обдумывать сделанное ему предложение, вздохнул и спокойно произнес:

— Хорошо, Женя. Я решу этот вопрос завтра.

— Ладно. Завтра так завтра.

На следующий день у нас с Димкой состоялся довольно интересный разговор.

— Женя,— сказал он,— знай, что превыше всех твоих добродетелей я ценю присущую тебе скромность и порядочность.

Я поклонился и достал платок.

— Старик, не доводи меня до слез.

— Я не шучу. Если б я не был в этом уверен, я не решился бы дать тебе такое поручение. Вот адрес института, где она работает, и деньги на цветы...

— Ты не боишься, что я их ненароком растрочу?

— Нет. Этого я не боюсь.

Так как Димка по неосторожности выделил слово «этого», я понял, что боялся он другого. Того самого, о чем я вам уже говорил.

— Купишь большой букет цветов, приедешь к ней на работу, передашь цветы и уйдешь.

— Сказать, от кого цветы?

— Она догадается, от кого.

— И это все?

Димка молчал. Видно, он хотел сказать мне что-то еще, но почему-то не решился.

Я деликатно ждал. Димка задумчиво смотрел в сторону, потом нервно хрустнул пальцами и сказал:

— Женька... Ты понимаешь... Только тебе я могу доверить эту не то чтобы тайну, но такую... я бы сказал, деталь, или, проще говоря, особенность характера Ларисы...

Димка был взволнован и, по-моему, смущен. Он с трудом подбирал слова. Я молча закурил, наизво полагая, что это может успокоить Димку.

— Ну вот что,— наконец он решился,— я хочу, чтоб только ты один это знал. Ты и никто другой... Дело в том, что у Ларисы небольшие... как бы тебе сказать... странности. В разговоре она не выносит односложности. Она страстно любит разные аллегории и даже нарочито усложненную речь...

— Я не совсем понимаю...

— Как бы тебе объяснить?... Ну, если, к примеру, на вопрос: «Откуда вы приехали?» — ты ей примитивно ответишь: «Из Новосибирска», — Лариса, разумеется, тебя поймет, но она сразу же уйдет в себя и потеряет к тебе интерес. Она будет вежливо молчать. И все.

— А что же я ей должен ответить?

— Женя, ты интеллигентный молодой человек. Не мне тебя учить. Помни одно: чем причудливей будет петлять ход твоей мысли, тем большего успеха ты достигнешь.

— Странно, что ты заботаешься о моем успехе в такой ситуации,— сказал я и пожал плечами. С Димкой что-то случилось, не иначе. Что-то прибавило ему уверенности в себе. В противном случае этот ревнивец ни за что на свете не поручил бы мне передать цветы его девушке в его отсутствие.

Размышляя над тем, что мне поведал Димка, я пришел к выводу: во время свидания с Ларисой

мне следовало переключиться на новую и несвойственную мне манеру излагать свои мысли.

В день приезда в Москву я был загружен до предела. Полдня я провел в Академии, остальное время просидел в Комитете по координации. Только на следующий день мне удалось дозвониться в институт и условиться с Ларисой о встрече. Я примчался туда на такси и угодил в обеденный перерыв. Мы встретились внизу, в холле.

Когда она, стройная, длинноногая и красивая, в белоснежном халате, подошла ко мне, я шагнул вперед и молча протянул ей букет алых тюльпанов.

— Спасибо, — сказала Лариса. — Садитесь, пожалуйста...

— Привет вам из Новосибирска, — со значением произнес я и сел в кресло.

— Какие чудесные цветы! — сказала Лариса, и



тогда, выполняя наставления Димки, я придал своему лицу мечтательное выражение и дал короткую очередь:

— Все растущее, Лариса, все устремленное навстречу солнцу, как ростки самой жизни, преобразованные в зримые знаки красоты, способно радовать душу...

Лариса внимательно выслушала меня.

— Да-да, — кивнула она и при этом почему-то оглянулась, — в цветах, как во всем живом, есть что-то вечно новое, что волнует... И радуется...

Боясь показаться односложным, я дал вторую очередь, подлиннее:

— Все призрачное обретает черты земного в четкости восприятия того, что видится там, где иллюзорность уже не кажется до конца осознанной... Мечты, Лариса, возвращают человека к реальности того, что представляется каждому в хрупкой ясности небытия. Скажите, разве я не прав?..

— Вы правы. Вы совершенно правы, — торопливо сказала Лариса и опять оглянулась. — Все в жизни приходит к хорошему концу... Здоровье возвышает человека... И он шагает бодро и весело...

— Да, — согласился я и подкинул новую порцию отвлекающей речи: — Мечта обретает крылья, как теорема — стройную систему доказательств. И в результате приходит ощущение полета.

— Это верно, — сказала Лариса. — Я с вами со-

вершенно согласна. Я тоже думала об этом... Уже кончается перерыв...

— Да, — добавил я, — и снова вечное движение!..

Она быстро и немного нервно пожала мне руку. И ушла. Почти убежала.

Я посмотрел ей вслед. Красивая и странная. «Бедный Димка, — подумал я, — с ней ему будет очень не просто». Наутро из гостиницы я позвонил ей на работу узнать, не хочет ли она что-нибудь передать Димке.

— Здравствуйте, — сказал я. — С вами говорит тот, кому призрачное видится реальным...

— Я вас узнала, — ответила Лариса. — Дело в том, что у нас сейчас начинается симпозиум. А потому я уезжаю. Через час...

— Куда? — спросил я. — Туда, где линия горизонта кажется натянутой струной?

— Да... Я еду в этот... в Саратов, — ответила Лариса. — Всего хорошего. Будьте здоровы!..

И она положила трубку.

Больше я ее не видел и не говорил с ней.

Вернувшись из Москвы, я, конечно, сразу зашел к Димке. Он лежал на тахте и читал журнал.

— Здравствуй, — сказал я.

— Здорово! — сказал Димка. — С приездом.

— Большой привет тебе от Ларисы, — соврал я. — Она прекрасно выглядит. Она уехала в Саратов.

— Зачем?

— Не знаю. Я даже не успел спросить...

— А почему ты вдруг замолчал? — спросил Димка. Он поднялся с тахты и испытующе заглянул мне в глаза. — Расскажи поподробней о Ларисе.

— Ты понимаешь, Димка, у меня о ней осталось очень бледное впечатление... Я заметил, что она красивая. И милая. Но...

— Что «но»?.. Что?..

— Она действительно очень странная. В глазах тревога, печаль и какая-то непонятная растерянность... Димка, скажи мне, ты, наверно, знаешь, что ее сделало такой?..

Димка ответил не сразу. Он отошел к окну. Ему было трудно, я это видел. Потом он повернулся ко мне и сказал плачущим голосом:

— Ты спрашиваешь, Женя, что ее сделало такой?.. Тебе я могу это доверить. Такой ее сделал один телефонный звонок...

— Какой телефонный звонок?

— Мой. После твоего отъезда в Москву.

С этими словами он рухнул на тахту и уткнулся лицом в подушку. Тогда я еще ничего не понял.

Все я понял позднее, когда Димка всем развонил о своем телефонном разговоре с Ларисой.

Знаете ли вы, что он ей сказал, этот бандит?

Он ей сказал: «Лариса, в Москву выехал мой товарищ, который передаст тебе привет. Я звоню, чтобы тебя предупредить. Это вполне приличный парень, но он не совсем здоров. Он с большими странностями и часто заговаривается. Если он вдруг начнет молоть ерунду, делай вид, что ты этого не замечаешь и постарайся отвечать ему в его ключе. Тогда он успокоится и сразу уйдет».

Теперь вы понимаете, почему с лица этой прекрасной девушки не сходила печаль? Ей было грустно, что я, человек с такими внешними данными, не совсем здоров. А оглядывалась она все время потому, что, наверно, боялась, как бы я чего-нибудь не отчебучил.

Теперь, когда весь академгородок надо мной уже отсмеялся, я вам скажу: если у вас будут подобного рода поручения в Москву, на меня в ближайшее время не рассчитывайте.

С меня пока хватит.

МИНИАТЮРЫ

Р. Баумволь

МАЛЕНЬКИЙ ТРАКТАТ О ЧЕЛОВЕКЕ И ПРИРОДЕ

Человек — завзятый спорщик. Со всем на свете он спорит, но только не с тем, что создано до него и без его помощи. А между тем если бы человек создал, скажем, траву, сколько было бы разговору! Нашлись бы такие, которые говорили бы:

— Цвет хаки — фи, как грубо! Почему бы траве не быть лучше голубой или кремовой?

Другие нашли бы совершенно нецелесообразным то, что плоды круглые. Это так неудобно для погрузки! Сколько места пропадает даром. Не лучше ли, чтобы плоды были четырехугольными, как кирпичи? И грузить удобно, и если упадет яблоко, оно по крайней мере никуда не укатится.

С ветром, если бы человек не застал его, так сказать, готовым, он бы тоже не согласился. Разве что с попутным. А сколько было бы споров по поводу оперения каждой птички, о количестве ног у каждого насекомого! При таком

положении вещей рак, например, ни за что не отхватил бы себе девятнадцать пар конечностей. Раз он пятится назад, человек пожаловал бы ему от силы одну ногу. Мол, не хочешь идти вперед, так знай!

А сколько бы ушло времени и энергии на озвучивание всего зоомира! И, если бы созданный человеком соловей пел так, как он поет сейчас, «озвучивший» его получил бы звание лауреата. Зато автор коровьего мычания был бы признан последним халтурщиком.

Между тем в природе нет такого жанра, который не имел бы права на существование. В короткий промежуток рассвета на одном и том же клочке земли заливается соловей, горланит петух и мычит корова. Яблоко, упав с дерева, катится. И пусть себе катится! Рак пятится назад. И пусть себе пятится!

Зато книги четырехугольны и необыкновенно удобны для погрузки, — это бесспорно.

ПЕТУХ И БУДИЛЬНИК

Петух взлетел на подоконник открытого окна и увидел рядом с собой будильник. Сначала они молча смотрели друг на друга. Петух думал, что звонок у будильника — это такой гребешок. А будильник думал, глядя на гребешок петуха, что это у него такой звонок. Наконец петух первый спросил:

— Что ты за птица?

— Я не птица, я будильник, — был ответ.

— Это я будильник! — гордо сказал петух. — Я кукарекаю на рассвете и бужу людей.

— И я бужу людей, когда меня заводят, — сказал будильник.

— А меня никуда заводить не надо — я сам прихожу под окно...

— Зачем приходить под окно, когда можно ходить по циферблату, — заметил будильник.

— Не понимаю, что такое «циферблат» и как ты ходишь, когда у тебя такие коротенькие ножки! — отозвался петух.

— Каждому известно, что ходят не какие-то там ножки, а стрелки! — возразил будильник.

Потом оба помолчали, продолжая разглядывать друг друга. Но вот петух решил показать себя во всей красе. Он шумно захлопал крыльями и закукарекал.

— Ровно четыре, — заявил равнодушно будильник.

— Нет, три! Три раза прокукарекал я!

И, прыгнув с подоконника, петух пошел прочь, бормоча:

— Четыре... А вот и не четыре!

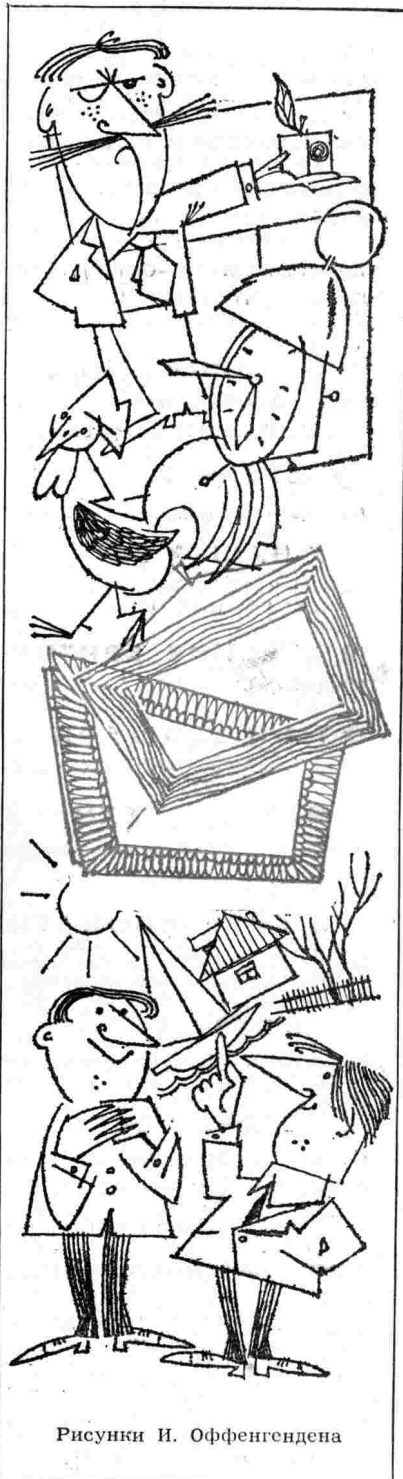
— Одна минута пятого... — сказал будильник.

ВЕТЕР

В картинную галерею через распахнутые окна ворвался ветер. Он сдул с картин дома и деревья, людей и животных. Он сдул также с одежды посетителей нарисованные клеточки и полосы, круги и разводы, завертел все вместе в неистовом вихре.

А когда ветер успокоился, на одеждах оказались изображения домов и деревьев, людей и животных, а на картинах — клеточки, полосы, круги и разводы!

Вот какой это был необыкновенный ветер! Это был ветер моды.



Рисунки И. Оффенгендена

Из новых рисунков
художников
КУКРЫНИКСЫ
к роману Ильи ИЛЬФА
и Евгения ПЕТРОВА
«Золотой теленок».



«Недостаток одежды у
этих граждан с лихвой воз-
мещал джентльмен совер-
шенно иного вида».



Остап Бендер.



«—Паниковский бежит! —
закричал Балаганов.
— Вторая стадия кражи
гуся, — холодно заметил
Остап».



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: А. Г. АЛЕКСИН, В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. И. ВОРОНОВ [зам. главного редактора], В. Н. ГОРЯЕВ,
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ [отв. секретарь], К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Индекс
71120